



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (485)

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Юрий Гудумак. Наследник подзимней империи. <i>Стихи</i>	3
Дмитрий Гаричев. Сказки для мёртвых детей.....	10
Станислав Бельский. Из серии «И ещё». <i>Стихи</i>	27
Николай Фоменко. Компьютерщик и черешня. Внучатый племянник. <i>Рассказы</i>	34
Наталия Черных. На северо-запад. <i>Стихотворения 2019-2020 годов</i>	55
Кусчуй Непома. Статист. <i>Рассказ</i>	62
Иван Чернышов. Здоровье и дисциплина. <i>Рассказ</i>	76
Сергей Миронов. Любовь под абажуром. <i>Рассказ</i>	100
Ганна Шевченко. Русский Босс. <i>Стихи</i>	117
Андрей Резцов. Из цикла «Мои училки». <i>Рассказы</i>	124
Ольга Аникина. Дролери. <i>Стихи</i>	136
Владимир Тучков. Любовь в городе мертвых. <i>Повесть</i>	140
Олег Бабинов. Форточка. <i>Стихи</i>	164
Наталя Кудрякова. Путешествие.....	168

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Самобеглая коляска Леонтия Шамшуренкова.....	173
--	-----

НЕПРОЧИТАННАЯ КНИГА

Дмитрий Бавильский. Переживая чуму <i>О кн.: Бурхан Сёнемез. Стамбул Стамбул</i>	197
--	-----

БИБЛИОМАН

Наталия Черных. 4 + 1

<i>О кн.: Татьяна Данильянц. В объятиях реки; Петр Лодыгин. Аннафилия; Евгений Таран. Распечатка; Ольга Аникина. Кулунда; Константин Кравцов. Заостриться острой смерти</i>	201
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир Коркунов. Там не страшно

<i>О кн.: Сергей Синоптик. Нужно зачеркнуть</i>	206
---	-----

Денис Липатов. Осень на паузе

<i>О кн.: Григорий Медведев. Нож-бабочка</i>	208
--	-----

Герман Власов. Воздушный мост поэзии

<i>О публикации: Игорь Вишневецкий. Видение</i>	213
---	-----

Елена Елина, Александра Раева. Жизнь и биография Исаака Бабеля

<i>О кн.: Е.И. Погорельская, С.Х. Левин. Исаак Бабель. Жизнеописание</i>	215
--	-----

Сергей Боровиков. Весёлые поминки

<i>О кн.: Геннадий Красухин. Мрамор и глина</i>	222
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Голицын. Письмо Толстому как метод самоубийства.....	226
---	-----

НАСЛЕДНИК ПОДЗИМНЕЙ ИМПЕРИИ

Весеннее стихотворение 1971 года

При том что год на год не приходится,
ближайший оборот вокруг солнца предвосхищает,
я вижу, карту, снятую с одного из весенних утр
то ли семьдесят первого, то ли семьдесят второго года.
И хотя голубую раскраску озер можно было бы объяснить
скорее мечтой или сновидением,
чем изменением атмосферы,
пунктирные контуры роц и лесов
кое-где уже выделялись
нежной молочной зеленью.
Все остальное не образовывало
чистого развертывания протяженности,
но, соединенное сложным рисунком горизонталей,
обладало как минимум топологической истинностью:
глинища, кладбища, виноградники, поля, луга
и прочие уголья.
Это были кусочки римановых пространств –
неких матриц для каждого цвета,
который еще придет.

Вид незаконченного грубого наброска
хорош, вероятно, тем, –
ломал голову бессознательно живущий во мне метафизик, –
что будоражит воображение обещанием чего-то еще.
Ощущение, для которого я не находил имени,
потому что его воздействие усиливалось
новым дополнительным моментом.
А именно ожиданием.
Как если бы карта предназначалась

Юрий Гудумак, поэт, географ, исследователь ландшафта, родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор семи поэтических книг, в числе которых «Песнь чибиса» (2008), «Разновидность солнца» (2012), «Дифирамб весне (bis)» (2017). Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в литературных изданиях «TextOnly», «Цирк "Олимп" + TV», «L5», «Воздух», «Волга», «Литература», «Полутон», «Двоеочие», «Артикуляция» и других, в арт-проектах «Prostory», «Солонеба», в ряде поэтических антологий, а также переводились на английский и румынский языки.

для передачи осязаемой длительности,
и у нее это получалось лучше, чем у меня теперь,
чем при попытке линеаризировать ее форму
в текст:

...скорость – не что иное,
как бесконечно убывающая медленность,
в особенности если это скорость прихода весны.

Рассуждать о пространстве как о «вещи в себе»,
определяемой через то, что она не есть, –
привычное дело;
не совсем привычное – рассуждать,
продолжая в подобном духе, по-кантиански,
о времени, о его физическом корреляте;
эта же, что всего страннее, –
имела границы,
обозначенные хитрой неровной линией,
оставленной химическим карандашом на сырой бумаге.

Истина*

(*грубая истина) состояла в том,
что за положенными пределами
(положенными вот так, и никак иначе)
и впрямь простиралась вполне кантианская,
ни в одной из мыслимых точек ничем не выделяющаяся,
не задающая более никаких различий
однородная текстура листа
в разворот страницы
из школьной тетрадки в клетку.
В полустершейся-полувыцветшей разграфке страницы
мерещились бесчисленные фракталы миллиметровки –
что-то от иллюстрации парадокса, согласно которому
мир начинается там,
где кончается смысл.

В семьдесят первом*

(*или в семьдесят втором)
меня посадили в первый* (*или во второй) класс,
и тогда я еще не имел понятия ни о каких азах картографии:
ни о масштабе, ни о территориальной привязке,
ни о маркировке географических направлений.
И однако карта –
по мере того, как теперь я все более безуспешно
пытался линеаризировать ее форму в текст, –
ничего сверх этого,
ибо все остальное «литература», –
карта представлялась мне сокровищем внутренней жизни,
каковая – о, да – не приходит к самовыражению,
не растеряв по пути лучшую часть самой себя.

Я наткнулся на нее совершенно случайно,
перебирая домашний библиотечный хлам,
давно не читанный и забытый.

Развернув листок,
я увидел все тот же родной ландшафт,
все ту же область примеров исчезновения – своего рода свод
тактических моделей поведения и стратегем существования,
предваряющий все предыдущие и последующие
тома поэзии.

...Голубую раскраску озер,
которую можно было бы объяснить
скорее мечтой или сновидением, чем изменением атмосферы,
пунктирные контуры рощ и лесов, которые кое-где
уже выделялись нежной молочной зеленью.

Обретение собственных телесных координат,
тут же заканчивавшееся их крушением,
казалось производным феноменом,
связанным с зыбким движением
цветовых поверхностей.

Блуждая в меандрах, реки,
все до единой, текли,
в соответствии с четверицей сторон света,
к правому краю листа – в сторону солнечного восхода.

Как и следовало ожидать, отметки близлежащих холмов
обнаруживали надбавку в полсотни метров и исключали их
из какой-либо известной системы высот –

словно их опоясывали, словно их опутывали
не просто горизонталы,
а герменевтические круги,
а таинственные лабиринтообразные конфигурации
изотерм, изонеф, плювиометрических кривых,
преодолев которые откроются
широкие горизонты лета.

Диоскоридова астрология

Уже догомеровский Мусей,
говоря о том,
что астра помогает во всяком хорошем деле,
дает обильный материал эпическим поэтам.

И это при всем при том, что в античной Греции астра, похоже, была достаточно редким растением, если даже такой ученый муж, как Диоскорид, судит о ней исключительно по рассказам и называет не иначе, как «волшебной травой». В гетских пустынях, откуда мы родом, ее можно собирать в стога.

К концу сентября,
когда солнечные ожоги и жвачные животные,
кажется, довершают дело,
только ее и видно –
как ни в чем не бывало
продолжающую цвести врассыпную по всей низине,
посреди мертвой, рассыпающейся в прах,
полувыветрившейся корки солончака.

В безоблачные
ведренные дни, будучи дома на каникулах,
я частенько выбирался туда с одной никому не понятной целью –
наконец уяснить, действительно ли растение,
идентифицируемое современной ботаникой
с *Aster tripolium* – солончаковой астрой,
тот самый цветок, о котором Диоскорид говорит,
что он трижды в день меняет свою окраску:
утром он белый, в полдень он красноватый,
вечером он – пурпурно-красный.

Как только линия горизонта,
отодвигаясь по мере приближения к ней,
опрокидывала навзничь знакомую местность тысячами небес,
захватывающее зрелище обращало меня не то в астролога,
не то в астронома – исследователя астр,
каждая из которых покоилась
в своем неподвижном небе.

Утренний белый цветок
я объяснял влиянием Сириуса,
восходящего на рассвете в жарчайшую пору года,
когда некоторые из цветов бледнеют, иные же
приобретают соленый вкус;

полуденный красноватый –
двойным влиянием Сириуса и Солнца,
каникулярного, называемого так
по сообразной наклонности с этой Песьей звездой;

вечерний пурпурно-красный – тенью Земли,
когда она, застилая Солнце, производит ночь.

Просто-напросто – суточным параллаксом. Или, еще того проще, исходя из признания оптического начала в строении глаза – осыпанием пикселей.

Теперь я таращусь
на жухлую, гербаризированную годами отсутствия,
охапку астр в фарфоровой вазе
и, вместо того чтобы прослезиться,
посыпав перцем глаза, –
«наедине со своей клятой свободой», –
меня занимает вопрос,
необходимо ли было так доверять Мусею.
Мифическому Мусею, о котором известно,
что все произведения, приписываемые ему,
являются позднейшими-де подделками.

Если да,
и астра помогает во всяком хорошем деле,
то эффект ее действия очевиден мне лишь теперь:
он подобен стратегическому действию загадочного аконита,
приняв который, человек умирал через столько времени,
сколько времени прошло с его сбора.
Если мир этот существует,
то не потому, что он лучший, – заключаю я, –
он лучший, потому что он существует.
То есть в пику всем
разыгранным в лицах вариантам действительности,
о которых, знай мы их, стоило бы забыть.

Нечто обратное тому,
чтобы свести множество разных фактов в один период,
а из периода, чего доброго, создать
метрическую редакцию:

...я на Лефкасе,
пробующий разжевать кусок дерева,
с тем чтобы этой магической операцией
смягчить сердце возлюбленной;

в культурной столице мира,
на рю Равиньян, за чашечкой кофе с нею же –
несколько излюбившейся, но еще красивой особой,
одетой по моде парижских предместий;

один на вокзале в Тренто, в момент разочарования,
когда узнал, что уже пересек Альпы и не понял этого;

в компании трех, таких же, как я, на биеннале поэтов
в Москве...

Шелестящий свет огненных ос-блестянок

Я не знаю о других.
Но для того, кто к ней привык,
даже скверная погода становится полезной.
Не тем, что она сама по себе представляет,
а тем, что она возвещает, и лишь поскольку
имеет место быть противоположное тому,
что произойдет после.
Не побудительный мотив,
а вознаграждение, которое в своей пятикратной метаморфозе
предстает в виде облака, ветра, дождя, радуги
и росы.

Все это
говорит в итоге
то ли о мелких воздушных течениях,
то ли об игре необычайных рефракций, –
тоже, впрочем, зависящих от перемены ветра,
насыщенности атмосферы водяными парами,
соприкосновения слоев воздуха различной температуры, –

о барометрическом максимуме в овальной*
(*сердцевидной) проекции,
с его шелестящим светом огненных ос-блестянок
и одной лишь сгущенной цветочной субстанцией неба,
производящей опьянение или даже обморок:
в его меду погребают покойников.

Не весна, стало быть,
пробуждала во мне поэта
(и провоцировала картографа), а ее отсутствие,
но, чтобы я мог ощутить ее отсутствие,
она должна была время от времени
давать о себе знать.

Это –
предсказуемо.
Что уж ни говори.

Сообразно тому,
как распределяются дождь и ведро
и, разлившись, свет упраздняет функции и имена
земной топографии.

Наследник подзимней империи

Наследник подзимней империи,
несущей на себе следы глубокой осени,

настои и буквы, смерть самого близкого человека,
которую я пытался хоть как-то тогда объяснить
вероломством коварного климата,
теперь я отстаиваю подобные этим теории
со сдержанною печалью.

Печалью, – добавил бы я, –
чьи периоды, а по сути – сплошные длинноты,
перемежаются в удивительно правильном,
заведомо правильном соответствии
с переменной времен года.

Что было бы, в общем, правдой,
если бы смерть, о которой невозможно забыть,
и о которой я говорю,
не была подобна
обрушившемуся на нас
удару враждебной планеты.

Иногда,
чтобы представить это,
достаточно момента наибольшего сближения с Луной*
(*способствующего наилучшему наблюдению
над росой).

Иногда –
невыносимого жара июньского солнца*
(*потому что до июльского, в созвездии Рака,
надо еще дожить).

Кучка пепла,
остающаяся от заката,
венчающего энную сумму дней,
порождает в конечном счете
совершенно новую фотологию, сумерки цвета пурпура,
в которых садовая лилия, сочетая спектральную чистоту
с преимуществом зрения альбиноса,
становится почти символической –
лопающейся,
как фантасмагорический картографический знак,
и стороны света обретают свои направления
лишь по мере того, как один за другим
опадут ее лепестки.

СКАЗКИ ДЛЯ МЁРТВЫХ ДЕТЕЙ

Побег

Вацлав выманивал Лену на свой Кипр, но она не далась и теперь возвращалась с озёр по чёрной после дождя дороге с бауманцем Ильёй, не подозревавшим о её жертве. У Вацлава в его пятьдесят были вавилонские планы завести непременно семнадцать суррогатных детей, он по полчаса держал и мял в своих ладонях её лёгкие пальцы, и предугадать, что с ней станет на Кипре, не взялись бы ни мама, ни сестра. Илья же едва ли мог чем-то её озадачить: за эти месяцы, что они катались по тёмным местам, добывая истлевшие вымпелы, Лена свыклась с его мелочным недовольством и бессвязными рассказами о бывших подругах, в которых он сам плутал, как в подземелье, никогда не выговаривая чего-то, что ей было важно услышать, но и это в конце концов перестало её волновать.

На озёрах у них был костёр и убийственный «Вранац», взятый по скидке в поддержку республики Сербия, а потом они упустили автобус, и Илья разорался на пустом осеннем шоссе, хлопая крыльями дождевика. Чтобы успеть в Москву к ночи, теперь нужно было добраться хотя бы до трассы, а там ловить что придётся: пристыжённые неудачей, они пошли сквозь дырявенький лес, как со школы домой. В июле Лена протаскалась с Вацлавом ночь по бульварам, они пили пятизначное вино, не страшась патрулей, и сейчас ей было жаль, что об этом нельзя говорить. Вацлав знал об Илье и, наверное, сквернословил над его синячками фотографиями в сети, но при ней не позволял себе никаких реплик, был вообще терпелив и не целовал её ниже переносицы, а Илья вовсе не представлял, что за люди бывают в её салоне на Цветном, а если и представлял, то, скорее всего, не верил, что кому-то из них может быть любопытна оценщица Лена с руками как длинная белая трава; это было удобно и сложилось так само по себе.

Ветер ещё зарывался, и небо никак не светлело; они помахали двум нагнавшим их автомобилям, никто не притормозил. Бледный запах, летевший из леса, отсылал к детским дачам, своим и чужим, Лена прикрыла глаза на десяток шагов, но ни с Вацлавом на бульварах, когда Москва поворачивалась к ней как никогда, ни с Ильёй в незнакомом лесу, тоже будто бы разрешающем многое, ей всё не удавалось себя отпустить. Если нормально вернёмся, заговорила она, я хочу ещё выпить и ещё походить. Это сейчас тебе кажется, отозвался Илья, а на Курской ты выйдешь и попросишься домой. Да, согласилась вдруг Лена, и поеду одна с банкой «Балтики», и проснусь в Петушках. Кто-то катил навстречу, и они потеснились к обочине; вынырнувшая «семёрка», как у отца, но помойного цвета, проскочила их и остановилась недалеко позади. Лена подумала, что

Дмитрий Гаричев родился в 1987 году в Ногинске Московской области. Окончил МГЛУ, работает переводчиком. Стихи публиковались в журналах «Знамя», Ното Legens, «Воздух», «Волга», проза – в «Октябре».

если сейчас ни один из них не посмотрит туда, то всё будет в порядке, но Илья сперва зашаркал подошвами, а потом обернулся, и «семёрка» бесшумно приблизилась к ним задним ходом, совсем никуда не спеша.

Говнюков было четверо, и они предлагали, чтобы Лена поехала с ними; все они были видимо младше и не здоровее Ильи, вообще неизвестно что прячущего там под дождевиком, и даже не пытались изображать деловую небрежность: по всему, это была их первая охота, к тому же заставшая их врасплох. Лена столько раз видела эти лица на вечерних платформах, что теперь не могла до конца испугаться, её только клонило в сон. Тот, что стоял ближе к ней, сделал было пробный шаг, но Илья мешковато заступил ему дорогу, и все снова замерли; чё ты двигаешься, запоздало дёрнулся кто-то из дальних с квадратными, как у автомата, губами: в голове не укладывалось, что и этот мог что-то хотеть от неё. Ей вздумалось набрать сейчас Вацлава, чтобы тот объяснил этим сиротам, но телефон лежал в рюкзаке, они бы набросились, если бы Лена полезла туда. У Ильи же как будто вовсе не было мыслей, Лена чувствовала, как он деревенеет под дождевиком: оставалось лишь ждать, когда это почувствуют и говнюки, и не станут его даже бить, а просто уберут с места, как лишнюю мебель. Она даже ткнула в него коленом, чтобы снова включить, и Илья в ответ громко скрипнул зубами: этот звук рассмешил говнюков, они все как-то стремительно зашевелились вокруг них и заулыбались, так что Лене наконец стало действительно страшно, и тогда же со стороны озёр на дороге взяли грузовик, почти роющий низкой мордой неровный асфальт.

Четверо не слишком смуглились, а водитель как будто не собирался вступать в разговор, несмотря на отчаянный Ленин взмах, но ему пришлось сбросить скорость до пешей, чтобы объехать собрание; уже задыхаясь от поднявшихся слёз, Лена бросилась из-за Ильи, толкнулась ещё и повисла как кошка на задранным борту. Двое рванулись достать её, двое нырнули в машину, но оставленный без присмотра Илья оказался проворней, всё же он фехтовал, да и здесь никому не был нужен, и, опередив бежавших, повис рядом с подругой, руки их выпростались по локти из всех рукавов. Он вскарабкался в кузов первым и подтянул Лену; внутри шарахались перевязанные вороха картона, было много свободного места, и они улеглись лицом к покинутым говнюкам, не решившимся их настигать.

Что бы ты сделала, если бы я не успел зацепиться, спросил Илья, когда никого уже не стало видно: стукнулась бы в кабину, попросила бы подождать? Но ты же успел, сказала Лена, не повернув головы. Ты была так уверена, не отставал он, или тебе было всё равно, успею я или нет? Знаешь, подумав, ответила Лена, мне казалось, что ты прыгнешь первым; то есть – не понял Илья. Просто – прыгнешь и прыгнешь, что ещё оставалось: угрожать им? махаться со всеми? позвонить на какой-нибудь номер из тех, на которые мне положено отвечать по ночам и из туалета? что ещё было делать? Лена перевернулась и села, обняв гуляющие колени, в кузов снова посыпался дождь. Успокойся, подсел к ней Илья, я не нападаю, я сам ошалел. В последний раз я дрался в школе перед выпускным, и это было не очень удачно. И у тебя с собой не было шпаги, подсказала Лена, или хотя бы лыжной палки. А у тебя вязальной спицы в рукаве, нашёлся Илья, помнишь это кино; Лена не помнила, но кивнула ему в ответ.

Они без остановки проехали обе пустые деревни, за которыми предстояла развилка на трассу и в соседнюю область; когда грузовик повернул налево, они счастливо выдохнули, и Илья наконец взял её ледяную руку, но спустя всего сотню метров возник ещё поворот, и машина соскочила на просёлок, тянувшийся далеко между совсем бесцветных к вечеру полей. Илья перебежал вперёд и постучал по обшивке кабины ладонью и чуть погодя кулаком, но ничего не добился: грузовик ехал так же, больше не отвлекаясь на

них. Он обернулся и увидел, как Лена сидит с исчезающим лицом и прижимает рюкзак к себе так, словно надеется, что тот пожрёт её здесь же.

Шатаясь на досках, Илья вернулся к ней и почти упал рядом: нужно прыгать, не поедом же мы до конца, он, наверное, думает, что и так слишком нас выручил, чтобы теперь останавливаться, где мы попросим. И куда потом, выдохнула Лена, мы вернёмся на дорогу, которая ведёт к трассе, и там поймает попутку с теми самыми чуваками? Нет, давай мы останемся ночевать у него в гараже вместе с крысами, разозлился Илья, хорошо, если он у него вообще есть; почему мы должны снова встретиться с теми уродами? Я не знаю, закричала Лена, а почему мы должны были встретить их сразу после озёр, почему у нас нет с собой даже травмата; я переночую где угодно, я никуда не хочу.

Просёлок ушёл ещё вправо, дождь потух, и лес стал опять приближаться: чёрный ельник, похожий на береговую глыбу, обросшую илом; если мы слезем здесь, заговорил Илья, то сможем выйти к бельковской ветке, это около десяти километров, но это сквозь лес, ты потянешь? Десять километров до полумёртвой ветки, и потом ещё пять до платформы, где ничего нет, огрызнулась Лена, и сперва ещё будет неплохо ничего себе не поломать, охерительный план, не хватает только водки, но, может, нам где-то ещё попадётся магазин. То есть ты хочешь ехать, пока ему не надоест, не смирился Илья, но ведь это какой-то придурок, с какого он не тормозит; но в лесу он всё равно не поедет больше первой, мы спрыгнем, ты слышишь меня? Слышу, крикнула Лена, тебе просто насрать, я даже не сказала, готова ли я валить через лес до железки, но какая разница, ты же всё уже придумал; а ехать одна неизвестно куда на ночь глядя я действительно не хочу. Илья ничего не ответил, разобрался с замком и откинул борт, загремевший на ходу так, что говорить стало всё равно невозможно.

Они въехали в лес ещё резво, но чуть вдавшись вглубь грузовик, как и обещал Илья, сбросил газ и поплёлся, тяжело болтаясь на мокром песке. Ну и что, воскликнула Лена, куда мы пойдём, здесь всё равно одна дорога, это бред; но Илья почти сгрёб её за воротник, и они вдвоём подобрались к грохочущему борту, из-под которого летели жирные брызги песка. Сперва ты, скомандовал он ей на ухо, сбрось рюкзак и потом сама, только не на прямые ноги; Лена хотела снова закрыть глаза, но раздумала и, не став долго выжидать, прыгнула вместе с рюкзаком. Её опрокинуло на спину, лес пугающе вырос и темно зашумел в голове, но она быстро поднялась и успела увидеть, как Илья падает на вытянутые руки, пружинит и вскакивает, и падает снова, а их мусоровоз наконец останавливается в десятке шагов: откинутый борт его перестал гроыхать, стоп-сигналы расцвели по бокам изумительным красным.

Грузовик стоял, не глуша мотор, стиснутый тесной хвоей и низким кустарником; они замерли каждый на своём месте, не глядя друг на друга. Лена представила, что сейчас из кабины выйдет водитель Вацлава и пристрелит их вместе или только Илью, а её увезёт или бросит в лесу, но дверь не открывалась, мотор работал, обступающие деревья казались завернутыми в мокрую шерсть. Обмудок, наконец подал голос Илья, мы стучали тебе, ты не остановился, чё ты хочешь теперь, за проезд передать? Осмелев и ещё приговаривая что-то злое, он попробовал было обойти грузовик, чтобы заглянуть в кабину, но не смог пробраться сквозь заросль, притих и подошёл к Лене, та покачала головой. Но а как я мог знать, что он встанет здесь, засуетился Илья, мы можем, конечно, обойти его, но мне как-то стрёмно оказываться к нему спиной, что ещё ему взбредёт. Ради чего это, возразила Лена, предложи ещё всё-таки повернуть к трассе; ты же видишь, он ждёт нас. Илья покраснел, как всегда, когда он был готов раскричаться, но спросил удивительно тихо и страшно, как будто заранее смиряясь с любым возможным ответом: Лена, что всё это значит, ты узнала кого-то, что происходит? Уже дико устав, она расхо-

хоталась, не узнавая собственного смеха, и Ильи, очевидно, от ужаса, быстро шлёпнул её по лицу; тогда она, всё ещё смеясь, спешным шагом вернулась к грузовику, поднялась внутрь и легла, и захлопнула за собой борт.

Она успела сосчитать до двухсот, пока голос Ильи перестал доноситься, но и тогда не захотела устроиться сидя: ельник над ней сменился долгой и всё ещё шумной берёзовой рощей, потом был короткий пустой промежуток, за ним мелькнул мёртвый сосняк, испугавший её своими стальными когтями, а после машина опять очутилась на ровной дороге и поехала дальше мимо бесконечных столбов. Стало задувать, и Лена достала из рюкзака шарф; здесь же попалась выкупленная вчера у салона первая «Зависть», которую она взяла показать Илье, но не вспомнила ни в поезде, ни у костра, это было уже не обидно. Сразу за теми металлическими соснами они разминулись со встречной машиной, судя по звуку, такой же тяжёлой, а теперь на шоссе было пусто, как на луне. Она проверила телефон, но от Ильи не было даже проклятий, а от остальных и подавно ничего; часы показывали начало седьмого, но вечер как будто не двинулся вглубь с тех ещё пор, когда они стояли с приозёрными говнюками: в этом словно бы слышался слабый голос угрозы, якобы тем четверым оставлялся ещё шанс настигнуть её, но усталость была сильнее, и она прикрыла глаза, надеясь задремать.

Её опутал вялый, дачный сон без звука и цвета, и когда она очнулась с застекленевшим у рта потёком слюны, то увидела над собой строгие тополя и за ними совсем ненадёжное небо: всё не перегорающий вечер высосал его до последней белизны. Пахло яблочной падалью, ржавой водой: приподнявшись на неверных руках, Лена выглянула за борт. Они стояли в квадратном поле, затянутом мелкой травой, наискосок пролегал пешеходный отрезок из чёрных резиновых плит, один конец которого уводил к голым яблоням, а другой к нескольким трёхэтажным домам, о которых отсюда мало что можно было понять. С мутной после короткого отдыха головой Лена выбралась на траву, перевязала поплывший шарф и пошла в сторону домов, ей хотелось додуматься, как назвать их окрас, сиреневый с перепадами в рыжий, но это было так же сложно, как понять, горит или нет свет в их окнах, пока высохший день висел над землёй, как хитиновая скорлупа на невидимой нитке.

В глубине маленького двора темнели остатки летней эстрады, вокруг которых скользило некоторое движение, как и в приближавшихся окнах, но, когда Лена переступила границу двора, всё погасло, и встречный ветер улёгся. Со скамьи перед самой эстрадой свисала газета, развернутая как будто на телепрограмме, и она подошла посмотреть, но и здесь обозналась: на бумаге, похожей скорей на обёрточную, единственно стояла большая чернильная девятка. Сорное электричество, росшее в воздухе, клонило обратно в сон, она села на край скамьи, ещё соображая. В доме за спиной наверху вспыхнула короткая ругань, Лена даже не успела обернуться; зато ей получилось увидеть, как в поле размытые сыростью дети бегут от яблонь к грузовику, чтобы спрятаться в нём и под ним.

Телефон оказался разряжен, и Лена подумала, что можно оставить его здесь, на пороухи гудящему воздуху; бросать же рюкзак было страшно, проще казалось раздеться совсем. Было слышно, как где-то смотрели футбол и хлопали по мебели, так делал когда-то папа, правда, под биатлон, и она поискала глазами, откуда был звук, ничего не нашла и опять заскучала. Только теперь ей стало видно, что половины стёкол в домах просто нет, но те, что ещё оставались целы, не должны были её подвести. В оставленном поле снова метнулись дети, кто-то из них выкрикнул «Нет же!», и Лена поднялась как будто навстречу этому крику, но решила не возвращаться, а лучше проверить хотя бы один из подъездов и набрать в нём хотя бы воды.

В первой же квартире, уже в коридоре, её встретил заставленный книжный шкаф, она засмеялась так громко, что на лестнице выругались; там были советские собрания, синие и розовые, нарядный хлам, похожий на орденские планки: то же самое было у них дома до тех пор, пока Лена не начала выкупать приглянувшееся ей в салоне, и в недолгое время один мёртвый груз замесился другим, но уже не таким разноцветным. Влажный полумрак не давал разобрать фамилий, а когда она потянула за один из томов, тот не поддался; она дёрнула соседний, и тот устоял; то же самое оказалось на всех шести полках, книги были как сплавлены между собой. Разозлившись, она заправила ногти за первый попавшийся корешок и рванула его вниз; он легко оторвался, и на полку, а с полки ей под ноги потёк мелкий серый песок. Лена шагнула назад и состучала то, что попало на кроссовки; но песок продолжал течь, уродливый холм расползлся на полу, в глубине квартиры раздались и потухли шаги, и она поторопилась вернуться на лестницу.

От стычки со шкафом у Лены совсем пересохло внутри, и при мысли, что из здешних кранов тоже, может быть, льётся песок, или соль, или уксус, ей впервые с приезда стало не по себе. Она выбежала во двор, вспугнув полупрозрачную кошку, и застыла, озираясь, пока не разглядела колонку на дальней от поля границе двора. Подойдя, она легла на рукоять всем оставшимся весом, и из металлического горла раздалось мышинное сплиение, доносившееся с какой-то последней глубины; она отпустила её и нажала снова, колонка отозвалась ясным трубным звуком, на который должна была бы явиться советская конница, и Лена отпрянула почти что в слезах, но вернулась и в третий раз, навалилась ещё, скрипя зубами, как Илья на дороге, и, когда почти чёрная струя хлестнула в сточный жёлоб, она едва успела отскочить, спасая джинсы.

Казалось немыслимо, что её козий прыжок никто не заметит, она сжалась под курткой, готовясь к насмешкам, но ниоткуда не донеслось ни фырчка; это её укрепило, и, зайдя теперь с безопасной стороны, она снова впряглась в колонку, чтобы слить черноту и дожждаться нормальной воды. Грязь извергалась так долго, что Лена почти сдалась, она успела прочесть про себя все стихи, что помнила наизусть, но потом струя всё-таки начала светлеть и ещё через время она наконец набрала свою велосипедную бутылку. Окажись здесь Илья, он отправился бы поискать в туалетах пузырьки с запрещённой марганцовкой, Лена решила, что сделает так же; если бы ещё оказалось возможно зажать где-то плиту и погреть над ней хотя бы руки, задубевшие от колонки, то на этом она бы могла успокоиться. Она выбрала дом напротив того, где уже побывала, и поднялась сразу на третий этаж, где в темноте коридора белела единственная дверь. Стараясь быть бесшумной на дощатом полу, она подступила к ней вплотную и уткнулась лбом в полотно, как в kota.

По ту сторону звучало неразборчивое радио и будто бы лязгала в мойке посуда; когда Лена вошла, эти звуки исчезли или так и остались внутри отворённой двери, но на кухне слышно горел газ, и она прошла туда, не решившись разуться в прихожей с румынской маской над зеркалом: такие порой наугад приносили в салон, но всегда уносили обратно. Стульев на кухне не оказалось, и она оставила рюкзак на столе, подержала руки над огнём и распахнула навесной шкаф, из которого хлопнулась пачка окаменевшего риса, а в открывшемся месте стояли бок о бок зелёнка и йод, но не марганцовка; без особой надежды она проверила ванную, но и там не нашлось ничего, кроме ровно сложенного на полу полотенца. На всякий случай она выкрутила оба крана над умывальником, но тоже впустую, и вернулась на кухню, где сперва захотела отыскать кастрюлю, чтобы прокипятить добытую во дворе воду, но потом, уже не помня себя от досады, открутила крышку и стала пить так. У воды был тягостный земляной привкус,

Лена скоро прервалась и села рядом с рюкзаком; в голове качалась детская пустота, руки опять замерзали.

Под окном проходила гряда гаражей, по-военному строгих и как будто не вскрытых, трава перед ними казалась утоптанной, но сойти туда для разбирательств сейчас было лень. Уже свыкшись с мыслью, что ночь так и не приблизится к ней, Лена всё же решила, что ей нужно нормально поспать, и отправилась посмотреть комнаты: в первой стояла, уродливо оскалась, швейная машинка, вторую перегораживал гардероб с обрушенными дверьми, и только в третьей, где окно было кое-как спрятано за скупой занавеской, её встретил остов односпальной кровати, похожий скорее на гроб с фанерным дном, а у стены напротив сидела огромная плюшевая собака без головы. Лене сразу захотелось вышвырнуть её, но та отказалась сдвигаться с места; уже догадавшись и всё равно зверея, она вернулась на кухню за рюкзаком, вынула складной нож и распорол собачий живот, песок радостно хлынул наружу. Перешагнув, Лена сняла куртку и кое-как растелила её внутри деревянной коробки, сложила шарф в подобие подушки и осторожно легла, ноги пришлось подобрать. Сон пришёл быстро, ещё перед тем, как раскрытая собака успела иссякнуть и сдуться.

Ей приснился фест вроде того, на который она сорвалась ото всех в начале лета, расчитывая вдруг на знакомство, способное выдернуть её и у Вацлава, и у Ильи, но так никого и не пустила в палатку; во сне играл «Пилот», она непонятно зачем находилась у сцены, и счастливая толпа волна за волной прижимала её к ограждению с такой силой, что в голове каждый раз звенел школьный звонок, а лысая охрана следила за ней так, будто она раздевалась для них, а не корчилась на решётке. Проснувшись она от того, что на улице оготело долбили по турнику, но когда Лена выглянула в окно, то уже никого не застала. Понять, сколько она проспала, было вряд ли возможно, снаружи длился всё тот же обесцвеченный вечер, собачья оболочка лежала на куче песка.

Вспомнив про телефон, она накинула куртку и спустилась во двор: тот благополучно лежал на прежнем месте, показывал полную батарею и два пропущенных вызова, оба от мамы; не вполне зная, что говорить, она перезвонила. Лена, предупредительно отозвалась мама, ты можешь торчать где угодно, я не собираюсь тебе мешать и лечить потом не собираюсь тоже, но во вторник придет сборщик, и если ты не уверена, что к тому времени вернёшься, то хотя бы давай объясни, как тебе что расставить, чтобы потом не было очередного скандала. Пусть ставит как получится, сказала Лена, мне всё равно, если я не захочу, я просто не стану там жить. Я тебя поняла, ответила мама, спасибо. Лена отключилась и теперь рассмотрела, что на том этаже, где она спала, вывесили пододеяльник, на котором даже с земли был различим серый казённый штамп: вид был настолько позорным, что она скорее сбежала со двора за дом и оказалась перед угольными гаражами, о которых уже успела забыть.

Собранные из широкого металла, они напоминали минные корабли, не хватало лишь флажков на завершениях крыш; в любой из них вошло бы по грузовику много больше того, на котором её привезли; словно кожаные, их бока маслянисто лоснились. Двери замыкала целая паутина из засовов и штанг, и даже случись при Лене ключ, она не нашлась бы, куда его вставить; эта сказочная механика, превращавшая двери почти что в печатные пряники, вдохнула в неё восторг, она сделала на телефон несколько снимков, а потом рассмотрела, что чуть ниже уровня глаз в каждую правую дверь вреzano ещё по одной, размером с тетрадку. Эти были запорты на простую задвижку, Лена легко открыла ту, напротив которой стояла, и в маленький проём свислась гроздь седоватых волос, пересыпанных редкими перьями. Она тронула его пальцами и отступила, решив не проверять, что лежит за другими дверьми.

Плещущий над двором пододеяльник был ей ненавистен, и Лена отправилась наверх, чтобы снять его: в этой квартире была всего одна комната, зато с неслыханной мебелью, упирающейся в потолок чёрными арочными веерами. Терпеть это одной было больше нельзя, она сделала ещё фото и выложила одним постом вместе с уличными, а потом, спохватившись, наконец сняла пододеяльник с балкона. В комнате было не на чем спать, но на кухне остался диван-уголок, над которым держалась советская чеканка с морским коньком, а к подножью плиты был приставлен крохотный чугунный уютюг. Всё это так сходилась, что она не откладывая забрала из прежней квартиры рюкзак и попавшееся под руку большое ведро, набрала воды для уборки, согрела ее на плите, нарвала тряпок из чёртова пододеяльника и в недолгое время отмыла что было можно отмыть, не рискуя, однако, соваться в санузел. Закончив, она достала «Зависть» и положила на чистую полку подальше от окна, села посреди комнаты на пол и взяла телефон: фотографии нравились многим, но никто ни о чём не спросил, и только приятель из городского лито, куда они оба ходили детьми, цитировал под постом самого себя из тех самых времён, Лена не стала лайкать.

Понемногу она устроила всё, как хотела: у соседей слева нашлись два тонких стула, из других домов были принесены лампа в виде скорее изысканной урны, чем вазы, журнальный столик на трёх лёгких ножках, железный подсвечник и всё-таки румынская маска. На новом месте перестали сниться сны, а побудка с турников звучала не так бесцеремонно, но всё равно не стихала до тех пор, пока она не вставала к окну, откуда, как ни тянись, ничего не было видно. Ровный свет, одевающий местность, уже не томил её, не мешал ни засыпать, ни просыпаться; воду из колонки уже не нужно было сливать по десятку минут, но земля ощущалась в ней так же, как прежде, сколько ни кипятить.

Освоившись, Лена стала бегать сперва вокруг посёлка, по периметру, выложенному всё той же чёрной резиной, а потом, осмелев, начала выбираться за рошу, на пустое шоссе; полевые дети увязывались за ней, рассыпаясь в ельнике, когда замечали, что она смотрит через плечо. Она добегала до голого места, откуда были видны памятные ей мёртвые сосны, здесь привычное небо начинало сбойть, упрямо темнея с каждым метром, и она поворачивала обратно, в свет. Уже никого не рассчитывая впечатлить, она выложила ещё немного снимков с пробежек, и в конце концов прошлый сокурсник спросил «это где?»; Лена какое-то время раздумывала, а потом написала «на кипре».

После одного из забегов, давшего ей неожиданно тяжело, на неё навалились давно позабытые сны: глупое происшествие на папиной машине, обрывки пожара в музыкальной школе, ночь на Курском вокзале с южными чемоданами; она несколько раз вскидывалась на узком диване, надеясь услышать стук по турнику, но во дворе была тишина, и морок снова уносил её. Потом ей приснилось, что она разглядывает себя и видит, что вся её кожа стала точно такого же цвета, как здешнее небо: старая газета, закапанная молоком; но прикасаться к ней было так сладко, как будто она одна укрывала если не всех женщин мира, то уж точно всех летних девочек с ВДНХ из второй половины двухтысячных. Задышавшись, Лена сложилась пополам, обняв себя за бёдра, и тогда-то ужасный турник загредел ещё чаще обычного, словно на этот раз к нему подоспели сразу два звонаря. Она вскочила к подоконнику и стукнула по нему кулаками, боль пронизала руки; но внизу не успокаивались, турник заходил набатом, и Лена, не справляясь с подкатившим ужасом, бросилась на крышу, чтобы хотя бы иметь лучший вид.

Во дворе и вблизи гаражей было пусто, ничего не горело и не уходило под землю, и она уже хотела выкрикнуть какое-то проклятие, но увидела всё же, что в поле рядом с грузовиком припаркован бронзовый «кадиллак» Вацлава: он однажды отвёз её до самого дома, умудрившись не застрять в их проулках. Турник утих, но весь воздух уже

был захвачен тревогой; улёгшись, она продолжала следить: Вацлав в рыжем свитере вышел из машины вместе с охранником, они вместе выгнали наружу Илью и ещё одного длинного пассажира, в котором она, поразмыслив, узнала того школьного гения, что цитировал сам себя под её фотографиями. Их с Ильёй отправляли, как она понимала, вперёд, и школьному гению это не нравилось; охранник хотел толкнуть его в голову, но тот успел отпрянуть и яростно побежал через поле к роще, ему никак не стали мешать. Оставшийся Илья, лучше всех понимавший в подобных местах, поднял голову к крышам: Лёну он увидеть не мог, но ещё повертевшись, Илья двинулся ровно к её дому, а за ним и Вацлав.

Запереться на крыше было нечем, она ринулась в люк и почти упала в подъезд, но бесшумно, и скользнула к себе, не особенно зная, что делать: если они обойдут все квартиры, не выпуская из виду лестницы и двор, у неё не получится скрыться; если спасаться к сараям, её, вероятней всего, перехватит охранник, а если каким-то чудом ей удастся добежать до леса, то кто знает, не встретится ли ей там дезертировавший школьный гений со своими стихами. Всё это заставляло её цепенеть, и она с великим трудом сделала несколько безопасных шагов к кухонному окну, в которое уже просились пугающе знакомые голоса, их почти можно было потрогать руками. Уже не боясь выдать себя, она поставила на дежурно горящий газ ковш с водой, чтобы ей было чем плеснуть в первого же, кто поднимется сюда.

Когда Илья позвал её снизу подъезда, она спокойно сняла воду с плиты и спокойно же села на диван, чтобы он не подумал, что его кто-то ждал: дверь была ровно напротив неё, кипятильник был по правую руку, ему стоило только войти. В той же куртке, что и на озёрах, с красивым бессонным лицом и дурацким фонариком он возник во тьме проёма как на краю обрыва, сперва посмотрел на огонь и только затем перевёл взгляд на Лёну, ещё ждавшую первого шага, но Илья свернул в комнату, слышно удивился обстановке и по известной привычке захлопал шкафами; ещё через минуту он снова появился в проёме, пряча в куртку единственный годный хабар, её «Зависть», обернулся ещё и наконец вошёл в кухню: Лёна опоздала схватить кипятильник, Илья раньше дотянулся до плиты и выключил газ. Она ненавидяще выдохнула, Илья снова взглянул на неё, на лице его проступила растерянная опаска, и он, отшагнув, исчез в лестничной тьме.

Спустившись за ним, Лёна застала всех троих посередине двора, Вацлав страшно орал, Илья отвечал, как мог; обойдя их подальше, она поднялась на останки эстрады, чувствуя себя девочкой на уличном конкурсе, и уже оттуда смотрела, как они возвращаются в поле, держась на расстоянии друг от друга, и Вацлав шагает спиной вперёд и кричит ещё что-то совсем сумасшедшее, ей казалось, что это пена брызжет у него изо рта. Разворачиваясь, они слышно зацепили грузовик, и Лёна засмеялась в невидимый микрофон; следом из засадной рощи вынырнули дети и осыпали уезжавших гнильём, тем пришлось торопиться. Вечер был трепетен, кожа его не кончалась; давно не приходившая кошка вспрыгнула к Лёне на сцену и жарко прижалась к ногам.

Цветение печали

Возмужав, мы вернулись на те же лодочные станции, где сновали в прежние годы, слушая пустой канальный лязг: лодок здесь так и не завелось, воду укрывала столетняя пыль, в изголовье пруда стоял ровный, как стекло, туман. В детстве мы рассказали здесь друг другу достаточно бредней о сомах, стерегущих подводные клады староверов, об утопленных детях, вмешивающихся в чужую игру, и теперь оба делали вид, что не пом-

ним об этом. На другом берегу белел вытертый пляж, за ним высоко хлопало стрельбище, следом поднимался грядами лес, за которым не было уже ничего.

Те полтора года молчаливой розни, что остались у нас позади, я провёл в тусклых хлопотах: умер живший на отшибе города отец, нужно было расчистить под сдачу квартиру, забитую под потолок коробами с приборами, мёртвыми лыжными мазями и неясными радиодетальями; разумеется, всё нельзя было просто снести на помойку, мы искали, кто купит хоть что-то, и дело затягивалось бесконечно. Это был унижительный труд, не принёсший нам почти ничего, и мне совсем не хотелось говорить о нём: мой товарищ заслуживал лучшего, и я врал ему о почти напечатанных книгах и подругах, с которыми почти смог переспать.

Он стоял рядом твёрдо, как крепостная башня; во всём городе едва ли мог найтись человек, способный его пошатнуть, кроме разве что Виктора, занимавшегося с матерью: тот знал нужные точки на теле, а пальцы его вязали узлы из десятисантиметровых гвоздей. Мать же бесстыдно пила с самого развода, и Виктор, друг путаной юности, вселялся к ней раз в полгода на пару недель, объявлял сухой закон, учил как-то дышать, менял краны и за кадык сводил с лестницы поселковых собутыльников. От него мой товарищ получил в подарок острый нож и самодельную книжку Рериха, которыми дорожил так же, как дедовой «Лейкой», уже несколько десятилетий сившей без дела за дверцей серванта. Выдержки Виктору, как уже было сказано, хватало ненадолго, и скоро он выметался прочь, в знак отчаяния обрывая занавески, а то обдирая обои; товарищ поправлял повреждённое и какое-то время пытался удерживать линию санкций, но мать неумолимо соскальзывала в обжитую пропасть, всё было напрасно. Прошлой осенью она нет-нет да попадалась мне у их подъезда, завернутая в пальто, как в кусок рубероида. Сосредоточенно-плывущее лицо её всякий раз было обращено к недостроенному бассейну на другой стороне улицы, словно она пыталась и всё не могла прочесть чёрную надпись на кирпичной стене:

ЗДЕСЬ СТОЯЛ НАШ ДОМ
28 ЧЕЛОВЕК УШЛИ НА ФРОНТ, И
НИ ОДИН НЕ ВЕРНУЛСЯ

Я двигал мимо, не стараясь понять, узнавала она меня или нет. Я был зол на них всех: на неё, на стариков, растивших её сына и неспособных объяснить ему, как он был мне нужен; никто не догадывался, что от нашей размолвки смысл исчез из всего, что вообще было в городе и ещё могло в нём появиться. Он отпал от меня в конце долгого глупого года: весной и летом я ещё как-то смирялся с его бесконечными выездами в соседний Посад к подцепленной на концерте дешёвке, но осенью он стал дополнительно пропадать на гитарных чердаках близ полигона, и это оказалось окончательно невыносимо. Задыхаясь от собственной правоты, я однажды поднялся с ним в чёрное место, где подонки с улыбками демонов переставляли короткие пальцы на грифах, и провёл там весь вечер: я не понимал их разговоров, не знал, что мне делать, но он, сидящий рядом в дутой куртке, он принадлежал им, огромный, тёмный. Когда он брал инструмент в свои руки, мне казалось, что я рассыпаюсь в мелкий сосновый песок. Мы возвращались к себе через залитый луной лес, досада донельзя разбухла во мне, и посередине дороги я рухнул спиной в снег, чтобы мой товарищ наконец остановился; пролежав молча несколько секунд, я заголосил: кто, кто вся эта петушня, зачем, зачем ты с ними; ничего толком не отвечая, он потянул меня встать, и я, расшвыряв, сдёрнул с него шапку и бросился с ней в деревья, ненавидя его и себя.

Он настиг меня в два-три прыжка, опрокинул в ледяные кусты и блестяще вырвал шапку из вспорхнувшей руки. Лишённый всего, я улёгся глубоко в снег, готовый покончить тут же, но он впрягся и поднял меня на ноги, и весь оставшийся путь корил за безрассудство, живописуя в подспорье кошмар менингита: бабушка была врач, он знал толк в страшных кончинах. Его рассудительность заново укладывала меня в ватный гроб, из которого я только что был добыт. Поздние огни проступающего посёлка сочились детсадовской мукой. Выбравшись из лесу, мы холодно разошлись по домам и с тех пор не звонили друг другу, а встречаясь раз в месяц на улице просто кивали и шли себе дальше.

Следующей весной, после смерти отца, я много скандалил в школе, исцарапывал парты кинжальным углом железной линейки, навязывался в недалекие компании, ничем не лучшие, чем та чердачная свора, пристававший к самым униженным и проклятым, надеясь разведать затравленное течение их пуганых душ, но ни в чём особенно не преуспел. Палачи были тупы, а жертвы совсем безнадёжны. Серые пришкольные яблони, где меня когда-то радостно валяли всем классом после уроков, не внушали мне больше ни печали, ни ярости. Ещё через год, не ломая многих копий, я поступил на незавидный филфак, с сентября его могучая глушь раздалась в полной мере, и мне было светло и никчёмно в обратных электричках, с голым карандашом против Софокла и Еврипида, более никому не известным на всём направлении. Закрыв глаза, я видел, как слова опадают вглубь меня, словно листья в открытую шахту лифта, и мне было спокойно от мысли, что та никогда не наполнится.

Спустя две недели, шагая домой со станции, я разглядел моего большого человека: он ожидал автобуса в центр, один среди сдавленных пенсионеров, в толстовке с анархией, длинные его волосы стекали свободно. Я спускался к нему с моста, истощённый чтением, оставляя за спиной клонящееся вечернее небо, и то, как всё это должно было выглядеть, подстегнуло меня: достигнув остановки, я приблизился к нему вплотную и упёрся головой в тёплую грудь. Мой товарищ захлопотал надо мной, как Антигона, он был заметно тронут и растерян, как будто боялся, что скажут о нас колышущиеся пенсы, но я не отнимал от него головы. Всё разрешил подоспевший автобус; большой человек обещал позвонить завтра же, завтра, и наконец мягко отстранил меня и полез в транспорт, держа наготове социальную книжку, удостоверяющую потерю кормильца. Его отец умер давным-давно.

Назавтра настала суббота, и он честно набрал меня в десять утра: мы ушли на пруд со счастливо пустыми руками, как в каком-нибудь детском году. За те месяцы, что мы провели без возможности приглядеться друг к другу, лицо его налилось мутной тяжестью, видимо, от сигарет: было сложно испытывать прежнюю нежность, но этот подкожный свинец, накопившийся в нём, был и ясным свидетельством долгой разлуки, неизвестно кому из нас давшейся легче. Он рассказывал, что научился играть, как будто протягивая к нам нить, оборванную той зимой; его бывшие чердачные поделщики отвалились, но завелись новые, и я был признателен ему уже за то, что он не угрожал нас познакомиться. Та, к которой он ездил в Посад, кончилась ещё раньше, чем те с чердака; после неё он попробовал ещё нескольких из других городов вроде Щёлкова и Электрогорска, но все они были вполне одинаковые и в конце концов утомили его: на девятое мая он в последний раз выехал в Щёлково и с тех пор больше не занимался таким. Его оставляли ночевать в дружеских проходных и зрительных залах, и он засыпал, гоняя в плеере очередную самопровозглашённую дичь, подсунутую местными. В прошлый новый год до него докопались в Лосино-Петровском, он размазал двоих и не стал догонять третьего (он же не снял с тебя шапку, сказал я, и он улыбнулся), и, опасаясь засады, возвращался

полями почти наугад, промёрз и схлопотал воспаление лёгких; старики выходили его в своей квартире, но пока это длилось, оставшаяся без присмотра мать запила как ещё никогда, и ему пришлось разыскивать Виктора, чтобы привести её в какое-то внятное чувство. Виктор вряд ли любил её, у него был другой интерес; он спал на полу рядом с её кроватью, водил её в лес и на баскетбол, читал с ней Куприна и Андреева, почти точно заранее зная, что у него ничего не получится. Они стоят друг друга, внезапно произнёс мой товарищ, и я ещё острее понял, как мне не хватало его всё это время.

У воды было ветрено, солнце уже истончилось, но лес оставался по-военному крепко; мой товарищ сказал: летом я видел лис в Воскресенском, ещё молодых, а мои говорят, что не помнят такого с шестидесятых, когда здесь возникли ракетные части. Кабаны же всегда здесь водились, но теперь они запросто шастают по деревьям, и никто им не удивляется: кабан и кабан. Природа пришла за нами, отвечал я, не будем противиться ей, а проследуем куда укажет; товарищ слабо смеялся и, отойдя к тёмному стволу, выбирал пальцами из-под коры дикий пчелиный воск. Он никогда не бывал особенно весел со мной, и, наверное, в этом лежал исток нашей разлуки: меня вырастили женщины, и я вечно лез к нему с женскими расспросами, жалостью и утешениями; теперь мне было важно не повторить этой ошибки. Я готов был простить ему всех его шкур, равно бывших и будущих, отпускать его на сейшена в гаражи и на дикие дачи к соратникам, никто из них всё равно не помешал бы мне: он не мог быть ничьим ещё, он мог быть только моим.

В честь случившейся встречи он отвёл меня далеко: незнакомым путём мы поднялись к месту, где пруд заужался до тесной протоки, терявшейся в огромной траве. Здесь было царство атласных стрекоз, от их сине-зелёного трепета рябило в глазах. Над водой был устроен мост из железобетонной плиты, непонятно как донесённой сюда. Что будет, если пойти дальше, спросил я, готовый на многое; будет лес, безразлично ответил мой товарищ, что там ещё может быть: лес, лисьи кладбища, волчьи гаражи, нас не слишком-то ждут там. Ты же видишь эту плиту: как она здесь взялась, где поднять накладные, а лежит, и истлеет ещё нескоро; и мы смотримся в этом месте так же глупо, как и она, хорошо, что в нашем случае это хотя бы ненадолго. Я сказал, что, когда бы я мог, я бы задержался здесь пускай в виде отбитой плиты, и тогда же в плотном лесу по ту сторону от протоки шархнулся такой звук, будто бы в нём двигали мебель: натужный скрип и треск сминаемых ветвей. Как всегда в моменты страха, я вдруг разглядел всё, что было вокруг, в самых мелких деталях и так понял, что ни один лист, ни одна паутина в лесу не шевелится; на мгновение я подумал, что всё это засада и что весь долгий путь сюда я проделал затем, чтобы больше не вернуться домой и в университет, но мой товарищ спокойно сказал: лучше будет уйти, и не надо смотреть так убийственно прямо, ты не на взвешивании. Я послушался и опустил глаза, но и трава под ногами была так ужасно подробна, что я просто зажмурился и попросил взять меня за руку; в голове разлилась нефтяная темнота, я забыл, как я здесь оказался, и хотел только, чтобы этот чудовищный скрежет не прозвучал снова. Вернёмся через дальний полигон, услышал я голос, это выйдет чуть дольше, зато надёжней.

Я не помню, как долго я шёл так, но когда открыл глаза, мы стояли на светлой просеке, кое-где переваленной упавшими стволами; по оба её края тянулись неободранные кусты ежевики, к которым мне не хотелось притрагиваться. Почему мы ушли, неудачно спросил я и тотчас поправился: что это было, меня давно так не пугали. Мой товарищ достал сигареты: ты же всё слышал сам; было то, что ты слышал. Я взбесился: но кто, на хер, ворочает эти шкафы или что там ещё, как это делается, отчего тебе сложно нормально сказать. Я не знаю, удивлённо ответил товарищ, но если тебе интересно, мы

можем вернуться туда и попробовать выяснить это вместе. Озлобяясь ещё, я почти двинулся первым обратно к протоке, но почувствовал в воздухе перед собой словно бы ватную стену и остался где был. Ты как будто испытываешь меня, заговорил я пересохшим ртом, ты накопил себе навыков за полтора года, и вот применяешь; но я не могу на тебя обижаться, ты не можешь представить, как мне было пусто. Он промолчал в ответ и наконец обнял меня; после того, что случилось, мне стоило усилий не разреваться в его жарких руках.

Он ещё говорил о матери, о подделанной язве, о вечерней подвальной учёбе, о работах на коттеджном строительстве, о мотоциклах: он действительно много чего нахватался, пока мы были порознь, я же употребил это время неизвестно на что, и даже то, что я успел прочесть или выдумать и записать, казалось мне шелухой. Но за мной был филфак, куда меня привела, конечно, не столько любовь к чтению, сколько моя неспособность к любым более-менее точным наукам: наши девочки, съезжавшиеся со всей области, были так себе, но их было так много, что это не могло не настраивать на хищнический лад, и я, все ещё заговаривая недавний испуг, начал рассказ о ничтожных сближениях, бывших у меня с ними за эти недели; чем дальше, тем больше я лгал и кривлялся, и когда сам почувствовал, что всё это стало просто смешно, признал наконец: ни одну из них я не держал даже за руку. Я не сомневался, отвечал мой товарищ, это бы тебя слишком обязало: ты бы не спал ночей, думая, что теперь с вами будет, как вы справитесь с этим у всех на глазах. Эта правда была, возможно, ещё страшнее той, что скрывалась за бешеным звуком в лесу, и мне не оставалось ничего, кроме как рассмеяться; ты легко можешь нравиться им, поспешил он меня обнадёжить, тебе разве что нужно быть понебрежнее и убрать это штриховку над губой: я подумать не мог, что ты всё ещё это носишь. Я пообещал исправить всё, как он сказал.

Перед сном я взял мамину бритву и соскрёб с лица лишнюю поросль: я всегда боялся, что это непоправимо обезобразит меня, и, в целом, что-то такое и произошло, но это казалось уже неважно: зеркало говорило, что жизнь моя будет другой, может стать, не слишком уютной, но новой; мама, не знавшая, чем я был занят в ванной, ничего не сказала при виде итога, я счёл это за добрый знак. Несмотря на сегодняшний долгий поход, мне никак не давалось уснуть: я делал приседания, уходил к светлomu от луны окну почитать бесполезный учебник, но всё было впустую, и не зная, куда ещё деваться, я вышел на балкон постоять над холодным двором. Ночь гнала облака к полигону, с другого конца улицы, от общежитий, доносило уродливые голоса. В чёрной сныти под окнами переступали ворчащие кошки. Лес почти не читался во тьме за убежищами, и только срезающиеся над ним облака выдавали его: помня, что мне было сказано, я стоял к нему боком, лицом во двор, чувствуя, как распухает его молчащее присутствие; наконец я понял, что сон одолевает меня, и потянулся к двери, а когда я уже входил в комнату, за спиной моей грянул опять звук перемещаемой мебели вместе с ветвяным треском. Пошатнувшись, я замер на мысках, но мне больше не было страшно; я вдруг догадался, что это не здесь: это мой слух был сейчас далеко, там, где через узкую воду перекинута одинокая плита.

Мы стали выходить, пусть ненадолго, почти каждый вечер, как в десять лет, когда мы впервые совпали на этой земле: в те времена в парке у пруда ещё догнивали оставленные аттракционы, и пока сюда не пригребали поздние посетители с жидкостями, мы могли лежать в их кабинах, как в лодках, разговаривая о планетах и живых мертвецах. Теперь здесь был устроен надувной вавилон, где молча бултыхались немногие дети: сезон завершался, прохожие голоса стыли в воздухе, отставая от своих хозяев. Мы по-прежнему гуляли с пустыми руками, нам было прекрасно и так; мы не боялись ни

колдырей из девятиэтажек, ни гуртом возвращавшихся со стадиона борцов, к которым я сам был в недавние годы причастен: кто-то из них ещё, наверное, мог опознать меня, но и этого не случилось. Только что состоялся Беслан, я читал «Новую газету» так же с карандашом, сжимаясь от ярости, но ни разу об этом не заговорил: то, что мы были рядом, казалось важнее убитых детей и всего, что об этом писали.

Когда сумерки затопляли деревья, мы вставали у самой воды без какой-либо видимой цели, хотя я и рассчитывал про себя, что в собравшемся мраке на том или этом берегу в нашу честь снова что-то раздастся, обрушится или блеснёт. Всё, однако, оставалось спокойно вокруг, и даже никто из вечерних бродяг так и не подступил к нам; в одно из таких стояний мой товарищ, обращаясь скорее к воде, чем ко мне, рассказал, что в последние месяцы его и смешит, и пугает странная расстановка в его голове: ты же знаешь, объяснял он, обычно внутри у тебя спорят два голоса: драться или бежать, продолжать или расстаться, и в итоге один берёт вверх, но другой никуда не девается, он остаётся, это понятно; но я слышу, что в их разговор то и дело вмешивается кто-то третий, и он нравится мне, так сказать, меньше всех: в нём какое-то бабье ехидство, которому толком не возразишь; это как в школе, когда над тобой потешаются ссыкухи, которые ходят вчетвером в туалет, и ты ничего не можешь сделать, кроме как тоже пойти в туалет и проломить там кулаком перегородку. А как ты поступаешь теперь, когда приходит этот третий, спросил я невпопад. Мой товарищ посмотрел на меня, глаза его тонко сверкнули: я курю, сказал он почти виновато, и клацнул зажигалкой, разогнав слабую тьму у лица. Курил он много, и я мог только гадать, сколько из высосанных при мне сигарет были принесены в жертву этому третьему, которого я почти сразу представил себе в образе валаета червей из русской колоды с одновременно пустым и пытливым взглядом.

Проводив его в тот день, я не пошёл как обычно к себе, а свернул ещё к лесу, сам не зная зачем; всё уже смеркло, и я остановился на самом краю, не теряя из виду посёлка. Тонко пахло остывшей землёй, долетал лёгкий дым от невидимого костра; в небе над деревьями желтели размытые звёзды. В середине октября это всё начинало крошиться, сыпаться в овраги и рытвины: нам повезло совпасть заново до того, как это должно было произойти. Я уже забыл думать о тех его новых друзьях с дачами и гаражами, они ничего не могли, но этот третий внушал мне не в пример больше тревоги: его недоступность была почти дьявольской, и стоя теперь у леса я прислушивался к себе самому, стараясь различить хотя бы те два честно спорящих голоса, будто бы положенных каждому, но внутри меня был ясно слышим только крохотный, ничего не выговаривающий свист. Похожий звук издавал кто-то из одноклассников, когда не знал, что отвечать у доски.

Обескураженный, я наконец отправился домой, и проклятый свист погас в шорохе районного песка под ногами. Двор был мёртв, я поднялся на свой этаж тихо, как в больнице, и увидел, что маршем выше спиной ко мне стоит светлоголовый человек в тёмной куртке: руки он держал в карманах, а локти торчали так, что на них было мерзко смотреть. Я брякнул ключами, но он не обернулся; тогда я, вдруг зарвавшись, топнул по лестнице, и тоже впустую: можно было подумать, что он был поставлен здесь ещё до того, как я поселился в этом доме, и собирался простоять так ещё много ночей. Оставаться дольше было уже глупо, я отпер дверь и вошёл; мама высказала мне за позднее время, и я осторожно спросил, всё ли в порядке в нашем подъезде. Всё в порядке, отозвалась мама, что тебе показалось? Где-то что-то орало, легко соврал я, и ей стало неинтересно; ещё через время я снова высунулся в подъезд, словно решив проверить на ночь почтовый ящик: светлоголовый исчез, ничего по себе не оставив; можно было ложиться.

На выходных разразились дожди, и товарищ позвал меня к матери, заверив, что та крепко спит у себя в дальней комнате. Мы пили на кухне чай с сухой вьетнамской лапшой вместо пирожных; за столом я, хотя сомневался, рассказал о странной встрече на лестнице и о том, что не слышу внутри себя никакого разговора, а только мышинный писк, но скажи мне, настаивал я, как ты видишь себе этого твоего третьего, что он носит, как двигается, может быть, он похож на животное. Ты издеваешься, отвечал мой товарищ, если бы я ко всему ещё как-то его для себя рисовал, я бы сам сдался к Марку в двадцать пятую больницу, он с нами уже знаком. Понимаешь, он даже никак не звучит, этот голос, так что я не могу определить, мужской он или женский; главное, ему нравится надо мною глумиться, я порою смеюсь вместе с ним. Что же он говорит, например, обо мне, не сдержался я; мой товарищ заулыбался и полуотвернулся к слепому от дождя окну. Говорит, что ты жмёшься ко мне оттого, что тебе нужен кто-то, кто будет тебя защищать; что когда начинается давка в метро, ты вспоминаешь меня, и это даёт тебе силы держаться; говорит, что ты всё ещё не разобрался, а не гомик ли ты, и хотел бы попробовать это со мной, чтобы проверить себя.

Должно быть, я почернел с этих слов, но он всё не оборачивался ко мне и не мог ничего заметить. Я не буду, наверное, возражать, всё-таки сказал я, а если мама спит действительно крепко, мы и правда могли бы повозиться. Он вздохнул: потом ты станешь бояться, что это поймут в гаражах и изгонят меня, и хотя тебе не особенно нравится, что я бываю с кем-то ещё, ты всё же не хочешь, чтобы от меня отнялась эта часть. Здесь тем более не о чем спорить, отвечал я, смиряясь, и в тот же момент из дальней комнаты раздался зов, похожий на кошачий. Я задёргался, но товарищ сказал мне сидеть и ушёл; погода стало ясно, что он ведёт мать в уборную, и я вжался в стену, чтобы меня не увидели. Мать сложно загружалась и долго не просилась наружу, а когда наконец вышла, я успел разглядеть скомканное тело, у которого будто бы не было головы. Мой товарищ отвёл её обратно, уложил и вернулся ко мне.

Я спросил у него какой-то пустяк, чтобы рассеять мрачное облако, возникшее с появлением матери, а потом другой, но понял, что он озабочен чем-то ещё: я не знал, как спросить, но он доразлил чай и открыл мне сам, что его попросили помочь стрясти долг, оставшийся за одним гаражным приятелем, что погиб ещё в начале лета под Владимиром, не дожив двадцати. Родителям как будто дали время прийти в себя, но и к осени те ничего не вернули; и это не наши родители, пояснил мой товарищ, им есть что продать. Например, спросил я неожиданно для себя самого. Он слегка удивился: ну хотя бы машину, там бы всяко хватило, не какие-то дикие деньги; но они, кажется, решили за лето, что их не станут всерьёз доставать, и теперь даже не отвечают на звонки. Где они живут, спросил я, и мой товарищ встал из-за стола: нас ответут, усмехнулся он, и ушёл курить на балкон.

Всё-таки он рассказал, что у родителей дом в неближней деревне, которую я знал только по имени на табличке автобуса, им под пятьдесят лет, монтажник отец зашит после пьяной аварии, мать что-то плетёт на продажу, у них есть ещё дочь: всё это было так непохоже на наш собственный опыт семьи, что мне оказалось нетрудно представить их если не прямыми врагами, то наверняка бесконечно чужими людьми. Моё любопытство, однако, смущало его, и в конце концов он проговорил: оставь это, пожалуйста, я тебя никуда не зову; я не знаю, поеду ли я туда сам. А что говорит твой третий, не отставал я. Мой третий уж точно не думал, что ты станешь напрашиваться мне в помощники, ответил товарищ, и я уже чувствовал, что победил.

Перед сном я вспоминал, как он передвигал мать по коридору, и запоздало понял, что сегодня впервые побывал в их квартире: в детстве мы ходили единственно к его ста-

рикам с «Лейкой» в серванте и внушительной библиотекой, из которой, однако, нельзя было вытащить ни одной книги, так плотно они стояли. Впрочем, я не был в комнатах, и теперь мог воображать их паучьими норами, пещерами, полными пепла; во сне же я мучительно поднимался на их этаж и всё не мог дойти, а когда дошёл, перед дверью увидел знакомую спину с белёсым затылком над ней, и колени мои подогнулись, я посыпался вниз, давя лестничных кошек, вывалился под серое уличное небо и долго лежал так с распахнутым ртом, куда не хотел попадать вялый дождь. Утром я обнаружил, что товарищ писал мне: *esli хоdew', ty mojew' poexat' so mno dl koli4estva, no poduma ew*. Думать было особенно не над чем, я послал в ответ короткое *Edem*.

На неделе он скатался в гаражи и пришёл на прогулку с уродливо распёртым рюкзаком; когда мы встали у воды, он с трудом растянул его и показал: внутри были затолканы две пластиковые палки довольно позорного вида. Это не для них, объяснил он, но если выбежит собака, то придётся работать по ней. Собак мы не любили оба, здесь всё было просто, но я всё ещё не понимал, что мы будем делать с родителями, и спросил его прямо. Это будет ясно на месте, пообещал мой товарищ, сложно что-то представить заранее. Я не стал возражать, хотя мне и не нравилась эта неопределённость; оказалось ещё, что до деревни нам предстоит добираться самим, а обратно нас всё же вернут, машина будет стоять рядом в лесу. Всё должно было произойти вечером четверга, послезавтра, и я ждал совета, как лучше потратить оставшееся время, но товарищ не стал ничего мне подсказывать и убрался к матери раньше обычного, обмолвившись, что та и так еле его отпустила.

Дома я сказал, что завтра поеду ко второй, а утром, одевшись посвободней, ушёл на школьный двор, к военным яблоням: ещё не начались заморозки, и всё опавшее в траву пахло широко и вместе остро. Здесь я бросил сумку и принялся бегать по старому пыточному кругу вокруг сада, школы и футбольного поля за ней: кроссы все ненавидели и без жалости закладывали тех, кто срезал углы, ускользавшие от физкультурницы. Неизвестно с чего в этот раз мне бежалось прекрасно, а прежние старты казались далеки как война: яблоки усыпали братское кладбище моих одноклассников, шумящее подобно морю на рассвете, и я не стыдился, что мне повезло задержаться в живых. Я вспоминал их, лежавших в бинтах на железных кроватях, повторявших одну-две фразы или тупо глядевших в потолок и окно; я носил им какие-то книги, читал вслух, присев рядом, вызывал на откровенность и говорил гадости, но ничем не мог вырвать их из забытья. Весь наш выпуск, конечно, не стоил одного пятна нейродермита на щеке моего товарища. На четвёртом кругу имена их слиплись в одно мучительно длинное, а на пятом рассыпались на слоги и буквы; я мог бы бежать ещё, но решил побереечь себя перед завтрашним выездом.

Стоит ли говорить, что в четверг я всё равно проснулся больным, было сложно обуться и вообще куда-то идти, я сто раз пожалел, что устроил себе этот забег. Пропустить ещё день в университете представлялось безумием, я ввалился на факультет как инвалид в набитый автобус, высидел три глухонемые пары и уехал обратно с вокзальной выпечкой, обжигающей рот. На последней московской станции против меня села девочка с блочной тетрадью, через развороты которой протягивались гирлянды бензольных колец: ни у одной из филфаковок не было таких взыскательных глаз, ни таких длинных пальцев, она была так увлечена своими записями, что я мог следить за ней вполне неприкрыто, и уже скоро мне захотелось отвлечь её и рассказать, куда я сейчас еду и в чём буду задействован вечером, потому что терпеть это, понял я вдруг, больше было нельзя. Когда она единственный раз подняла на меня глаза, губы мои разжались сами собою и

изда́ли, кажется, тот самый свист, что я распознал в себе тогда возле леса; по счастью, поезд гремел на перегоне, и она не могла ничего услышать. Я закрыл глаза и как будто задремал, что вообще получалось в дороге нечасто, а когда очнулся, её не было передо мной.

Уже сидя в деревенском автобусе я понял, что с начала дня никак не связался с товарищем, который должен был ждать меня где-то месте, хотя и без точного ориентира: я стал набирать сообщение и прервался, подумав, что вся история с невозвращённым долгом была, возможно, изобретена для испытания моей верности после полутора лет разлуки. День темнел, как бумага в воде, за городом я не узнавал ни полей, ни складов; нужно было смотреть указатели, чтобы не промахнуться. С нашими пенсионными книжками мы могли бы бесплатно объехать всю область, учинить по засаде в каждом из этих мест, обозначенных белой или синей табличкой у шоссе. Мы жили на никакой земле, которой мы не любили, и это был наш лучший шанс породниться с ней, думал я: кто ещё ей так близок, как вечерние люди в спортивных куртках, исчезающие во мраке после трудного дела. Когда я сошёл на остановке, пропустив вперёд местных, солнце уже опускалось за лес, серая пелена укрывала деревню, лежащую в беззвучной низине; метрах в двухста по правому её краю чернела тощая водонапорная башня, и я, уже мывший в руке телефон, догадался, куда мне идти.

По дороге, обнимаемый по пояс просёлочной пылью, я почти забыл, зачем приехал сюда. Рядом не было слышно ни людей, ни собак, и только лес темно гудел впереди, вырастая мне навстречу, то вдруг скрадывая водонапорку, то опять обнажая. Если бы мне было хоть немного страшно, я бы, наверное, разглядел хотя бы стволы в его толще, но я шёл спокойно, как будто к себе домой, и не различал даже досок в заборах по левую руку. Потом заборы прекратились, настало поле, в котором низко виднелись останки техники; дорога начала забираться ещё вправо, башня словно бы отстранялась, и я прибавил шаг, чтобы нагнать её, когда меня окликнул мой товарищ: он сидел на поваленном дереве на краю поля, вытянув ноги, рюкзак стоял рядом в траве. Я подошёл, и он поднялся, улыбаясь так, как будто вёл племянника в публичный дом, о чём я не преминул ему сказать. Оставь свои шутки для них, отвечал мой товарищ, махнув рукой в сторону слабо подсвеченных домов, а лучше помолчи и там, так будет по-любому надёжней; говорить буду я, а ты просто смотри, но они должны понимать, что ты их ненавидишь, сделай такие глаза; если разговор не получится, делай всё то же самое, что буду делать я, и не медли; ничего не придумывай сам, это совсем ни к чему здесь; они скоро придут, идём.

Мы двинулись через поле, я шёл позади, и меня подмывало спросить, как там жив его третий, но я удержался. От спины его, словно сложенной из кирпича, исходил тяжёлый мужской уют, который я мог только впитывать, но не производить сам. Вступив в деревню, мы прошли совсем немного и встали в каком-то дощатом кармане между двух дворов; здесь их дом, показал мой товарищ куда-то в темноту, в это время они возвращаются из города. Сняв с плеча рюкзак, он вручил мне оружие, и я удивился, каким лёгким и хлёстким оно оказалось: простой хлопок по ладони заставлял подскочить от боли. Хорошо умирает пехота, сболтнул я, и товарищ вновь улыбнулся сомнительной улыбкой, как до этого в поле; мне стало мутно, я решил ничего больше не говорить, пока всё не закончится.

Раскачиваясь на ногах, я чувствовал, как каменеет под ними земля, сколько в ней тяжести и глубины: вплоть до этого дня я считал её просто плёнкой из асфальта и пыли, но сейчас всё было другое; и тогда мы услышали их. Невидимая за щитами заборов, маши-

на ползла, заикаясь на ухабах. Когда свет их фар пролился в траву перед нами, я шагнул вперёд, но остановил меня. Морда автомобиля опасно высунулась слева и тотчас же повернулась к нам, ослепляя: между ними и нами оставалось всего два десятка шагов, они больше не двигались, и я представил, как водитель тянет из бардачка свой травмат, хищным шёпотом матеря обоссавшуюся жену. Он не станет орать нам, угрожать или уговаривать, а просто выстрелит в того, кто будет к нему ближе. Я люблю тебя, сказал я товарищу, я тебя очень люблю. Я решил не шадить никого.

Надеясь хоть что-то упредить, я подбежал к водительской двери и от ужаса, что ли, срубил с неё зеркало, отлетевшее далеко прочь. В машине было темно, как в яме, нам стоило прихватить с собою фонарь. Ошалев, я стукнул в дверь коленом и тотчас отпрыгнул, занеся меч над плечом, но никто не спешил ко мне выйти. Уже задыхаясь, я дёрнул и распахнул дверь, готовый, если понадобится, вытащить наружу всех, кто окажется внутри. Сиденья были пусты. Запах хвойного освежителя вился на холоде, чуть болтался брелок. Глупея всем телом, я потянул ручку задней двери, но поселян не было и в этом ряду: только начатая бутылка минеральной воды и бесплатная газета, как будто веками обретавшиеся здесь, не в силах перегнать. Я поднял голову, глядя вверх заборов. Ночь ещё не сошла до конца, и дымная полоса маялась в небе. Не зная, что ещё делать, я взобрался на скользкий капот, а оттуда на крышу машины: моего большого человека не было нигде.

Пот стекал по спине, в горло словно набился песок. От меня пахло палёным пластиком, порохом отсвиставшего фейерверка; я задрал голову как можно выше, чтобы только не чувствовать это. Лес, казалось мне, должен был наконец прозвучать, озориться, но всё было так глухо, как я ни прислушивался, вытягиваясь в немой восклицательный знак. Рукоять меча осклизла в руке, я уронил его вниз и спустился сам, достал воду и долго пил, повиснув на двери. Я не собирался торчать здесь всю ночь, спать на заднем сиденье, просыпаться в бреду. Пересказывать, что мы успели, по двадцатому и тридцатому разу; писать и переписывать заново длинные стихи. Лежать в медвежьих сугробах с выставленной во тьму рукой. Мне было лучше скорее уйти; но я так никуда не ушёл.

Станислав БЕЛЬСКИЙ

ИЗ СЕРИИ «И ЕЩЁ»

дощуриться до чёртиков
в ночном потешном дне
бумеранги сгущаются
как ряды аналогий

у зенитных орудий
новая ссудная касса:
ни румына ни шёпота
ни щёлкнувшего замка

лишь
трансмиссия и
почётная удавка
воздух
сразу
тает
а у ящерики счёт 2:0
как святая вода с гуся

перестанем
существовать не так быстро:
халатности но и расчёту
меди научат веснушка
и князь брудершафт

случайность линяет
при чистке высоких частот

Станислав Бельский родился в 1976 году в Днепропетровске. Работает программистом. Стихи и переводы появлялись в журналах «Воздух», «Арион», «Волга», «Новый мир», «Новый журнал», «Дружба народов», «Интерпоэзия» и др. Автор семи поэтических сборников. Опубликовал книги переводов стихов Остапа Сливинского «Орфей» (2017), Василя Махно «Частный комментарий к истории» (2018) и Олега Коцарева «Синкопа» (2019). Составитель и соавтор сборника приднепровской поэзии «Гімн очеретяних хлопчиків» (Дн-ск, 2011). Куратор поэтической книжной серии «Тонкие линии». Живет в Киеве и Днепре.

все войны из-за симметрии

закон говорит: преследовать
можно но с ветерком

по влажному снегу
узнаешь
о назначении встреч –

больше
чем никому

о тихая почта
леди читауэй

о локативы и праздники
сребролюбивых мух

ангелос
золотая пуговка
б-голос и
воцерковление праздности:

лижем вертлявый дрок
лишняя печень наложница
платежа

и самокат с каждым случился
в полтона

дождь уходит
из сытной ладони
в дом с лунками и овалами

(а вы думали сладко жить
двуглавному королю
в поддонах гостиничных лифтов?)

полнота или кошелёк
полнота и апология верности
полнота и анархия вестниц

между глаз аргоната
вырастает слово без букв
фартук в горошек
с рыбиной-пиктограммой

медведь
аллитерации прочёл объявление
частных отверстий:
наживкой
живое и мёртвое
спрячешься в кашель
переодетым слугой оплеухи

над эллингом ночь
и разговор жёлтых флагов
об истощении
мягких монет перед бурей

ловчая длань оркестра
в механической роще
дыхание скудных эриний
в котором причина и шелест
охотно меняются местами

разозли бумажные злаки
яго: без чулков
и географу смерть вприсядку

подушка для
извести: копродукция
зимнего света и списка нахлебников

маржа свечения раскрывает
изнаночный эммаус вдоль длинной нити

в контекстной деревне замена:
пенсионный улей
отпевает прямое высказывание

реагируй на синее

стреляй бумажными пулями
по слипшимся знакам отсутствия

до смеха осталось четыре буквы:
рассчитываешь на хлеб а получаешь
мамбу с терновым звуком
и запасных офицеров

вернуться в
тусклый свет
и видеть неприкрашенную гибкость

любовь подобна стуку
карандаша – он выпал из руки
уснувшего прозаика

так моющее средство
и приступ чистописания
возглавляют парламентские списки
так почтовый шершень
проходит сквозь сливочное масло

уединение
смазывает краски словно
предварительный реверанс

алюминиевый чайник
отвечает на вопросы
тайного агента шпинозы

узкое солнце блаженных
и пледы словно тёплые весы
и я себя ублюдок съем с дровами
посыльными

не проясняется тело
не рвётся в холодной воде
как постиранный окунь

эпилог подобный вычеркнутой спице
на фестивале мыльных лун

тёмное стекло между нами
словно веганская почта
или обратный отсчёт оправдомов
живущих в бумажных флейтах

(станешь ли ты
слабой как пирамидальная птица
с отверстиями для бритья?)

свет потерян в пропорции 10:2
не хватает лишь
придворных экскаваторов
мычащих whole lotta love
в пространство между
разлинованными зубами

(как если бы ты завещала
полимерный остров
с медеей слишком мелкого
слишком неудобного разлива)

пес-
чаной молитвы
одиннадцатый укус:
так слабость и слабость хвалятся
расслоившимся отражением

рокировки (пшеничной) памяти
и островного беспамятства
по свидетельствам заключённых
были хрупкой сиреневой фразой

материаль-
ный первенец как узел
двоичного дерева с
выкорчеванной медузой:
тинь-

тинь
на небесах
яко же во чреве кита
(там где окончился человек
затрапезная безделушка)

и мы простуда
и мы червоточина
в
умном спагетти
так демон честности
делает сальто-мортале
на первом же месяце
строительного хайпа

так мануэль де фалья
пьёт липовый чай
внутри картонного фонаря
и так
вишнёвая кость
помогает слепому ослепнуть

так-так:
то ли волос пылает
то ли это лобковая вошь
составляет доклад
о длинной декабрьской жизни

чужое тепло:
рамки реликты
дуэлянты-лоточники
с серебряными носами
(на данный момент в разработке)

для глиняных ниточек
отменённый спектакль
лихорадки

ибозвучание
как животное листопада:
будущий махаон
пьёт из слоющейся фразы

из линии проведённой к виску
словно длинный ефрейтор
переменчивой рукояти

у сувенирной дочки
(длинной как жизнь дождевого червя)

всё так хрупко что даже
бровь не выносит
выгорающих в пустоту

и

тянутся локти
управлять
негритянской бороздкой

как герои
какого-нибудь фильма
или просто герои

запутавшиеся словно
мураш во вздохе
десантной аббревиатуры

РАССКАЗЫ

Компьютерщик и черешня

В моём ноутбуке стояла устаревшая программа икспишка. Обновления на неё не поступали, но мне было всё равно – к чему пишущей машинке обновления. Потом вырубился скайп. Не то чтобы он мне был очень нужен, но я привык, что у меня есть скайп, а расставаться с привычками тяжело. Поэтому я решил, что завести новую программу необходимо, но как-нибудь потом, не сразу. «Потом» обладает таким магическим действием, ничем не меньшим, чем опиум. Сказал себе «потом» – и всё, можешь спокойно ничего не делать, и совесть твоя будет чиста, ведь ты же не отказываешься от действия в принципе, просто произведёшь его потом. Когда «потом» перестаёт действовать, его можно заменить на «завтра». Тоже чудодейственный способ успокоить свою активность. В сущности, завтра наступить не может, ибо каждое утро выясняется, что оно уже наступившее сегодня, и завтра, естественно, переносится. И может переноситься довольно долго, особенно если рядом с вами нет какой-либо особы, которая бы контролировала употребляемые вами средства. Рядом со мной такой особы не было. Вернее, она была и имела ко мне непосредственное отношение, как всякая жена, с которой прожито без малого сорок лет. Но вот ноутбук её никак не касался. В этом смысле, между ноутбуком и мной, жена отсутствовала как передаточный механизм, и я мог говорить «завтра» непосредственно ноутбуку, и кормил бы его завтраками ещё долго, естественно, мучаясь угрызениями совести, обзывая себя разными словами и вспоминая недобрым словом родителей, наделивших меня таким количеством слабостей, что моя жизнь превратилась в кошмар, если бы случайно не встретил на улице знакомого компьютерщика. Я рассказал ему о возникшей проблеме, потому что степень нашего знакомства предполагала при встрече поиздеть. «А сколько лет вашему ноутбуку», – деликатно поинтересовался компьютерщик. Я почувствовал себя женщиной, у которой спрашивают о возрасте, и застенчиво ответил: «десять». «Оу, боюсь могут возникнуть проблемы, но можно попробовать. Приносите, посмотрим», – сказал он. Я облегчённо вздохнул, не потому, что «можно попробовать», а потому, что «приносите» было так же замечательно, как завтра. То есть это принесение можно откладывать неопределённо долго, тем более что шаг вперёд сделан, что весьма существенно для самореабилитации. Но тут во мне заговорило неудобное чувство ответственности. Дело перестало касаться меня и ноутбука. Между нами встал третий, и учитывать этот факт было ещё одной моей слабостью. Вдруг человек сидит и ждёт, когда я принесу ноутбук. Думает обо мне всякие нехорошие вещи. «Должен» как раковая опухоль набухло во мне, заглушив успокоительное действие «потом». «Я должен, я обещал...» Надо же было ему встретиться. Я уложил ноутбук в портфель и пошёл к компьютерщику. Естественно, он меня не ждал, но вспомнил о нашем разговоре. «Хорошо, оставляйте». Получалось как-то сухо и слишком по-деловому. Нет, может быть, всё было правильно, но я чувствовал какую-то неловкость, словно я должен его поцеловать и не могу решиться на это. Моя неловкость, видимо, передалась компьютерщику, и он начал объяснять мне,

Николай Николаевич Фоменко родился в 1953 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил театрально-декорационное отделение Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова. С 1978 года живёт в Артёмовске Донецкой области. Рассказы публиковались в журналах «Союз Писателей», «Новый мир», Esquire (Украина), «Новый журнал», «Крещатик», «Отражение» и др. Лауреат литературной премии имени О.Генри «Дары волхвов» (2011), литконкурса «Русский Stil» (2012), В «Волге» публиковались рассказы (2016, № 1-2; 2017, № 9-10; 2019, № 1-2).

что для новой программы в моём ноутбуке может не хватить памяти. Всё-таки компьютеры в этом отношении удобней – в них можно заменить жёсткий диск и вообще поменять всё на свете. «Компьютеры слишком гудят», – возразил я, решив, что компьютерщик набивает цену. «Вы, наверно, имели дело с очень старыми компьютерами», – слегка картавя, ответил он, что вовсе не свидетельствовало о его национальности. Картавость присуща не только евреям, но многим умным людям. Самое время было спросить о цене, но я стеснялся это сделать: два умных человека, вдруг, начнут говорить о деньгах. Как-то это было унизительно и пошло. К тому же умный человек, каким мне следовало казаться, сам должен понимать, о какой услуге он просит и чего она стоит. Компьютерщик, видимо, думал так же, и тоже ничего не говорил о деньгах. Но оба мы думали именно о деньгах, поэтому с каждой минутой нам было всё труднее, и мы были рады, вдруг, исчезнуть с глаз друг друга. Как это сделать, если вежливость всё же требовала что-то сказать на прощание? Я вспомнил, что можно спросить, когда будет готово, и, получив ответ, раскланяться. «Много работы. Думаю, не раньше следующей недели». Я почти не слушал, потому что для меня было важнее скорее уйти. «Хорошо, я позвоню», – ответил я и непринуждённо, может быть, даже развязно направился к двери. На улице почувствовал, что вспотел. Облегчённо вздохнул и словно в невесомости прошёл по тротуару метров пятьсот.

По утрам, обычно, моей обязанностью было купить хлеб и что-нибудь по мелочам. Делал я это с удовольствием, не потому что любил покупать. Скорее наоборот, я терпеть не мог магазины и от общения с продавцами всякий раз получал лёгкий стресс, но сами прогулки от дома в магазин и обратно были замечательны, несмотря на капризы погоды. В этот раз погода была превосходная, и я пришёл в магазин в рассеянном состоянии. Сволочи продавцы сразу замечают таких покупателей. Ага, дорогуша, а ну-ка, иди к нам. В рыбном отделе я увидел балтийскую кильку пряного посола по сорок восемь гривен за килограмм. Обо всём этом я узнал из ценника, потому что была ли килька балтийской, она сказать не могла. За прилавком продащица производила манипуляции с товаром, обветрившиеся образцы прятались вниз, а наверх выкладывалось что-нибудь свежее. Продащица выпрямилась, взглянула на меня, всё поняла и хитро осклабилась, выковыривая что-то между зубов, может быть, остатки предыдущего покупателя. Выковырив, она спросила: «Что вам?» – «Сто пятьдесят граммов кильки пряного посола». Если бы лицо продащицы принадлежало мужчине, о нём можно было бы сказать, что оно мужественное, женщина с таким лицом, скорее всего, алкашка и блядь. Может быть в прошлом, но это мало что меняет. Она взвесила горсть балтийской кильки, ткнула пальцем в калькулятор. Двенадцать гривен тридцать копеек. Первое ощущение было не удивления, скорее оторопи. Неужели? Она, естественно, увидела это «неужели» и, несколько повышая голос, придавая ему полновесность и твёрдость, повторила: «Двенадцать гривен тридцать копеек». «Вдруг она права, на кого я буду похож со своими претензиями», – мелькнуло в моей голове, и я расплатился. В меня словно налили горячей воды, как в грелку, и накрепко закрутили пробку. Я шёл и нагревался. Пробовал несколько раз посчитать в надежде, что моё огорчение напрасно, но каждый раз выходило, что сто пятьдесят граммов кильки никак не могли стоить дороже восьми гривен. В какой-то момент это стало мне настолько очевидно, что я задохнулся от возмущения, остановился, собираясь вернуться в магазин. Она не просто меня надурила. Надурила – это там копеек на пятьдесят, пусть на гривну, а она не надурила, она, сучка, блядь, размазала меня, как сопливого мальчишку. Сердце скакало, словно кто-то играл им в баскетбол. Стоп. Четыре гривны. При покупке в сорок, тридцать гривен ты бы их и не заметил. Неужели, покупая пиво, я думал бы о четырёх гривнах? Да разве дело в гривнах? Я вспоминал её пропитую рожу, я представлял, как возвращаюсь в магазин и, не говоря ни слова, бью её пакетом с килькой по морде. Раз, два, три. Все смотрят на меня, особенно продавцы с других отделов. Нет. Подумают, что я какой-то бандит, ненормальный, что у меня не все дома. Надо вернуться и сказать ей: «Сучка ты бессовестная, проститутка, тебя завтра же здесь не будет». Как-то по хамски, не интеллигентно, подумают – барыга. Надо вот как: спокойно войти, посмотреть ей в глаза, положить кильку на прилавок и, молча уйти, и больше никогда ничего у неё не покупать.

Она подумает: надо же какой, что-то я совсем охамела. Конечно! Не чуди. Я снова шёл домой. Да, наебала, как минимум на четыре гривны, на треть, больше чем на тридцать процентов. Таким идиотам, как ты, нельзя выходить из дома. Почему я не живу в какой-нибудь глуши, где нет этих блядских продавщиц. Я представил себе утро в сосновом бору. Ау? Где бы я брал хлеб? Стерва. Подкараулить её после смены и изнасиловать. Тут мне пришло в голову сравнить свои переживания с мыслями нормальных людей. Что бы думал на моём месте нормальный мужик? Нормальный мужик ещё у прилавка посчитал бы в одну секунду и не страдал бы хернёй. Я представил, как он говорит ей: «А ну-ка, посчитай получше, а то я тебе твой калькулятор в жопу заткну». Да. Что остаётся делать мне? Забыть. Не хватало из-за четырёх гривен получить инфаркт. Весь оставшийся путь, который я не заметил, уговаривал себя забыть и уж, во всяком случае, не рассказывать жене. Она же скажет: «Ты не мог посчитать?» Да, не мог. Сразу в уме не мог. В следующий раз надо считать заранее, хотя бы приблизительно. Я пришёл домой, терпел минут десять, но потом, как энурез – полилось: «Представляешь, эта сучка в рыбном отделе надула меня на четыре гривны. На ста пятидесяти граммах кильки». – «Что же ты не посчитал? В какую цену килька?» – «По сорок восемь». – «Ну и, четыре восемьдесят и ещё половина – два сорок – семь двадцать, пусть пакет ещё двадцать, а ты сколько заплатил?» – «Двенадцать». О тридцати копейках и языком не повернулся сказать. «Надо было вернуться и потребовать пересчитать». Больше всего злило её спокойствие. Лучше бы она обозвала дураком. Я бы в ответ тоже ей что-нибудь сказал. А так никакого облегчения. Килька оказалась вкусной, но удовольствия её есть не было, так что, можно сказать, пропало не только четыре гривны, но все двенадцать и ещё тридцать копеек.

Двор девятиэтажки был проходной. Даже дорожка была наискось, выложенная плиткой. Так что какие-то особенные вещи, предназначенные только для жильцов этого дома: беседка, площадка для сушки белья, пара детских качелей выглядели странно. Через двор за день проходили толпы людей, и каждый мог зайти в беседку, сесть на скамейку и повесить на верёвку какую-нибудь тряпку. Ещё более странно было обитание во дворе двух прикормленных жильцами бездомных псов, которые без усталости облаивали прохожих, особенно мужчин, по их мнению, неоправданно одетых, плохо причёсанных и вонявших алкоголем. Понятно, что это были не только бичи, но и вполне приличные люди, потерявшие к себе интерес. За таких людей было обидно и досадно на псов: сами-то они не особенно респектабельного образа жизни. Я не люблю собак вообще, что бы мне о них не говорили. Когда на меня лает собака, да ещё с остервенением бросается под ноги, я просто теряю здравый смысл и превращаюсь в испуганного идиота. Хорошо, если в этот момент меня никто не видит и не слышит, но бывает, что вокруг полно людей. По козлиному подпрыгивать, изгибаться, истерично материться, срывая ногти, выковыривать из земли камни, размахивать пакетом или портфелем, прижиматься к ограде на глазах у дам и детей, знакомых и незнакомых стыдно, неловко и непростительно. Становиться смешным и жалким из-за какой-то твари. Говорят, что собак не надо бояться, тогда они не будут к вам агрессивны. Ну, знаете, существуют тысячи жизненных правил и рекомендаций, касающихся людей, и я ещё должен думать, как мне выстроить отношения с собаками, причём чужими собаками, к которым я не имею и не хочу иметь никакого отношения. Не правильнее ли любителям собак думать о людях, чем людям о собаках. Я бы нисколько не огорчился, если бы в один прекрасный день все эти милые создания исчезли к чёртовой матери, во всяком случае, из городов, где им совершенно не место. Глядя на разнообразие пород всех этих кошечек, собачек и прочих домашних животных просто удивляешься, как это люди избежали соблазна таким же образом выводить породы самих людей. Несколько сот лет селекции – и вот вам порода боксёров с маленькими головами и огромными кулаками, пианистов с десятью пальцами на каждой руке, военных с пониженным болевым порогом, учёных с мозгом величиною с астраханский арбуз. Вполне разумная альтернатива, потому что сегодня мы все похожи на безродных дворовых псов, непонятно к чему предназначенных, живущих с единственной целью – получить как можно больше удовольствий. Никто не задумывается, что там родится в результате того или иного спаривания. Процесс поставлен на самотёк, что,

в общем, достаточно удивительно для человечества, давно занимающегося селекцией. Хорошо, если бы была специально выведенная порода продавцов, генетически не способная хамить, ловкая, точная, с приятной внешностью или врачей, чувствующих состояние больного, как своё собственное. Удивительно, что в этом нет ничего фантастического, и невольно закрадывается мысль, что, может быть, всё впереди, и мы доживаем последнее столетие своего дикого генетического развития. В таком случае у таких, как я, будущего, безусловно, нет. Очень нерационально быть мнительным и робким. Я думаю, эти гены отбракуют в первую очередь, и правильно сделают, потому что жить с ними одно мучение.

Собаки обратили на меня внимание ещё издали, хотя, как мне казалось, одет я был прилично. Возможно, подвела сутулость, из-за которой человек выглядит неуверенным, жалким и беззащитным. Они с рыком бросились в мою сторону, не обращая внимания на других прохожих. Мои нервы, как пена в жирном бульоне, подняли крышку, и я завопил, что, блядь, когда-нибудь убью этих собак вместе с теми, кто их кормит. Никого мои крики особенно не заинтересовали, кроме дедушки с внуком лет пяти. Они, видимо, гуляли и от нечего делать остановились, и глядели на меня с ошеломлением, как на тонущий корабль. Мельком я успел увидеть их любопытный и слегка скорбный взгляд и подумал, что они могут принять мои угрозы на свой счёт, и в ту же минуту мне стало неловко и стыдно, тем более что собаки и не думали меня кусать. Облаяв, они потрусили к двери дворника, возле которой лежала гора картонного хлама, разбросаны обглоданные кости, и стояла большая грязная миска. Шерсть на обеих собаках была такого неопределённого цвета, что, улёгшись, они были похожи на старые половые тряпки. Вообще, матом я почти не ругаюсь. Всё-таки, мне кажется это неприличным, тем более из моих уст мат звучит, как мне кажется, неубедительно, потому что за матом должна следовать твёрдость позиции, которая, увы, мне не свойственна. Без природной естественной брутальности мат теряет свою органичность, превращаясь в истеричность. Поэтому он так отвратителен, когда ругаются молодые женщины и дети. Дядя закатил истерику, подумал я о себе, представляя мысли умного ребёнка, глядевшего, как я отмахивался от собак. Можно не быть интеллигентом, но быть им наполовину или две трети омерзительно. Это всё равно что выстричь на голове только часть волос. Я шёл покрасневший, как школьник, получивший двойку. Я видел себя в глазах деда полным ничтожеством, позволившим себе такое, за что нужно наказывать. Мне представилось, как через несколько дней мы встречаемся с ним, и этот крепкий старичок берёт меня за шиворот и угрожающе спрашивает: «Так что ты там орал, кого это собрался убивать?» Он ниже меня ростом, но у него крепкие руки, жесткий взгляд и непоколебимость в своих намерениях. И мне самому кажется, что он прав, хотя ужасно хочется найти себе оправдание. В ответ я бы должен был взять ружьё, которого у меня нет, к сожалению, и в самом деле перестрелять ночью этих собак. Тогда дед понял бы, с кем имеет дело. Надо же случиться такому несчастному характеру: на меня набросились собаки, и я же чувствую себя виноватым, но ведь разве нельзя было сдержаться и не материться при ребёнке. День не то чтобы был испорчен – он словно зуб, на котором появился кариес. Происшествие, как сладкое, будоражило нерв.

Зато история с килькой уже не царапалась. Людей в магазине было немного. Кажется, я купил хлеб и две булки. В дверях я перед кем-то посторонился, перехватил ручку и, уже отпуская, оглянулся. За мною торопилась молодая женщина с пакетом яиц в руках, и в тот момент, когда двери выскользнули из моих рук, ей пришлось броситься на них плечом. Я был очень огорчён, что не догадался придержать дверь, и извинился искренне с раскаянием, удручённым виноватым голосом, как мне казалось. Женщина отвернула от меня своё хорошее молоденькое лицо, вздёрнула подбородок и пренебрежительно сказала: «Понятно». То есть понятно, что ты козёл. Ей было совсем немного лет, может быть двадцать пять, но, может быть и тридцать. Люди сейчас часто выглядят моложе своих лет, потому что нет нужды изнурительно трудиться. В любом случае, я для неё человек пожилой, старик. Я так искренне раскаивался в своём поступке, совершенно непреднамеренном, я извинился перед ней, девочкой, ссыкухой. Даже если бы она промолчала,

я не подумал бы о ней ничего плохого, но это высокомерное «понятно»... Сучка, стерва. Разве можно перед такими людьми извиняться! Откуда такое берётся? Разве это должно быть в людях? Если бы селекция отбраковывала особей с хамским поведением, неужели это было бы плохо. «Понятно» всё повторялось и повторялось во мне. Я возвращался к тому моменту, когда прозвучало «понятно», я видел её почти детский острый подбородок, быстрые небрежные движения. Наверно, дома ещё и расскажет, как какой-то придурок старик едва ей не перебил дверь яйца. Потом извинялся, старый козёл, как будто кому-то нужны его извинения. Да, безусловно, это порода людей, выведенная естественным отбором. Природа сама определяет, какие качества нужны для выживания. Эта особь сумеет постоять за себя, блядь. А ты быстрее вымирай, как дурацкий травоядный динозавр. Пришло время мелких злых хищников. Домой я вернулся расстроенный и молчаливый. Можно было бы рассказать жене, но о чём тут рассказывать? Что меня обидела какая-то девчонка? Смешно. Разговорился я только к вечеру. Так как идея селекции не выходила у меня из головы, я рассказал о ней жене.

– Представляешь, если бы люди всерьёз занялись этим, можно было бы вывести забавных симпатичных человечков с длинной шерстью, или здоровенных лысых секьюрити, или породистых самок и одного самца производителя на квартал или район. Человечество всё время стремилось к контролируемым процессам, а тут какая-то совершенная дыра. Деторождение пущено на самотёк. Девяносто девять процентов детей рождаются случайно, от случайно сблизившихся пар. Разве не так. Да взять хотя бы нас с тобой. Оба наши ребёнка зачаты абсолютно случайно по стечению обстоятельств.

– Прекрати. Несёшь какую-то ерунду. Ты лучше посмотри, в нашей спальне на потолке появилась трещина, – сказала жена.

– Где?

– В спальне.

Я подумал, что мы с женой за всю жизнь никогда не говорили о серьёзных вещах. Ремонт, деньги, отпуск, работа, а вот чтобы о смысле жизни, о религии, социальных процессах... Нет. Моя жена умна настолько, что ей не нужно казаться умной. Женщинам в этом отношении намного проще, потому что никто и не требует от них ума. Не противна – и слава богу. Это мужчине обязательно нужен ум, как козлу рога, для бодания друг с другом. Демонстрация ума для мужчины что-то вроде брачного ритуала. Поэтому, когда самка покорена, в рогах отпадает всякая необходимость, и самцы сбрасывают их, чтобы они не мешали пастись. Правда, лоб у некоторых продолжает чесаться, и тогда они бьются головами, не понимая, что со стороны это выглядит нелепо. Иногда моей жене не удаётся скрыть, что она умна: к месту вставит мудрёную поговорку или вспомнит четверостишие, о котором я и не слышал, настаит на чём-нибудь, что потом приносит семье большую пользу, но всё это как-то невзначай, так, что этого можно и не заметить.

Я пошёл в спальню и посмотрел на трещину. Обычная трещина, причём не одна. Затеать из-за них ремонт, одна мысль о котором вызывает тоску, не хочется.

– Увидел? – спросила жена.

– Увидел, – ответил я совершенно нейтрально, чтобы нельзя было понять о моих дальнейших намерениях. Жена промолчала. Умна, стерва.

А я, как идиот, продолжал думать о селекции. Мне пришло в голову, что меня могут обвинить в фашизме, потому что всякая рациональная идея почему-то всегда смахивает на фашизм. Может быть, потому, что для реализации обычно предполагается насилие. Но я как раз его не предполагаю, я за равенство между будущими породами, хотя как можно гарантировать, что сторожевых людей не придётся посадить на цепь, иначе они могут передавать всех остальных. Одним словом, горе от ума. Или от глупости? Я-то знаю, что я глуп. Я из породы чайников, которая вряд ли могла бы заинтересовать селекционеров.

Ноутбука не хватало. На меня навалились горы свободного неконтролируемого времени, в котором я барахтался, как муха в киселе, но своим, может быть, преждевременным звонком мне

не хотелось показаться назойливым, поэтому я терпел, и терпеть даже было легче, чем решиться на звонок. Таким образом, я дождался, что позвонил компьютерщик. «Ну, что, хочу вас обрадовать – всё получилось. Можете забрать свой ноутбук». Говорить о деньгах по телефону оказалось намного легче. Он назвал сумму, не преминув добавить, что обычно берут больше. Что было необычного в нашем случае, он не сказал. Мне почему-то всегда казалось, что одних денег недостаточно, что их обезличенность не может выразить всю степень благодарности, поэтому, расплачиваясь, я всегда чувствовал себя неловко, словно я недоплачиваю. Я лепетал всякие благодарности, расшаркивался, и от этого могло показаться, что я в самом деле недоплатил, что с меня можно было взять больше. Мне мерещилось, что получатель моих денег оставался недоволен. У продавцов недовольное выражение лица – маска амплуа, как в античном театре. К этому я привык. Во всех других случаях я, видимо, всё выдумывал, но это не умаляло моих переживаний. Я собрался и пошёл к компьютерщику. На улице стоял май, и погода была как в раю. Вечерело, пахло сиренью, в небе кружились ласточки, и всё это жило какой-то параллельной жизнью, в которой не было ни ноутбуков, ни денег, ни моих переживаний, да и я сам, и все эти наши дома, машины, всё это как-то навязано природе, и она не знает, что с этим делать, хотя мы ей очень мешаем.

– На диске Д осталось мало памяти, но я не стал чистить, чтобы не уничтожить что-нибудь важное для вас. Вы сможете сами почистить? Это необходимо сделать.

– Да, – не задумываясь, ответил я. Меня больше беспокоила передача денег. – Вот, – я протянул двести гривен. – Возьмите.

Компьютерщик, не взглянув на купюры, спрятал их в кармане. Повисла пауза.

– Я думаю, он вам ещё послужит, – сказал компьютерщик пустую фразу.

– Да, спасибо, большое спасибо, – меня понесло, – вы сделали для меня большое дело.

– Пустяки.

– Может быть, для вас и пустяки, а я так ни черта не понимаю в этих программах.

– Ничего сложного.

– Ещё раз большое спасибо.

– Если что, приходите.

– Да, конечно, обязательно. Знаете что, как только поспеет черешня, у меня на даче хорошая черешня, я вам принесу ведро.

В самом деле, что мне стоит принести ему ведро черешни, когда каждый год приходится тратить уйму сахара на никому не нужные компоты, раздавать соседям. А тут, может быть, и в самом деле придётся ещё обратиться. Компьютерщик пожал плечами, но возражать не стал, и я подумал, что моё предложение оказалось вполне уместным. Довольный собой, я вышел на улицу. Ах, май, благословенный май. Довольно быстро он закончился. В момент созревания черешни пошли дожди. На листьях завелась тля, и черешня в этот раз сгнила прямо на дереве, не успев как следует созреть. Каждый год она своим урожаем приносила уйму забот, так что я испытывал раздвоенное чувство: огорчение и удовлетворение одновременно. И только одно было определённо – я совершеннейший дурак. Кто же делит шкуру неубитого медведя. Что теперь делать с обещанием принести компьютерщику ведро черешни? Он не мог не знать, что черешня в принципе уже созрела, и, может быть, не торопится покупать на базаре в надежде на моё обещание. Дёрнул меня чёрт за язык. Я, конечно, не мог помнить об этой ситуации ежеминутно, но время от времени возникала какая-то неопределённая тоска. Поковырявшись в себе, я сознавал, что причина тоски в невыполненном обещании. Чувство вины, словно гастрит, испортило качество жизни. С этим надо было что-то делать, пока черешня совсем не отошла и моя вина не стала непоправимой. Ничего не оставалось, как позвонить и извиниться. Что тут такого. Многие жалуются на неурожай черешни в этом году. Об этом говорят. Так что компьютерщик должен знать и без моего звонка. Позвонить, чтобы была полная определённость, чтобы он знал, что я не забыл о своём обещании. Но стоило мне представить этот звонок, свой дурацкий извиняющийся голос, как я сразу принимал решение отложить звонок на следующий день, усугубляя свои переживания. Что-то было в моём поло-

жении неприличное, мелочное, я совершенно не нравился себе в этой ситуации. Мучила пустяковость проблемы и неспособность её решить легко и красиво, как это бы сделал на моём месте нормальный человек. Какое собственно дело компьютерщику до того, что черешня сгнила, ведь я же не говорил, что принесу в том случае, если не сгниёт. Умный, сильный, правильный, достойный человек должен разбиться, но исполнить своё обещание, а все эти оправдания для человека слабенького, плывущего по течению. «Извините, черешня сгнила». Точно представить. Мелькнуло благородное, почти рыцарское решение, я куплю ведро черешни и отнесу компьютерщику. Я представил, что уже сделал это. Чёрт возьми, вот это по-настоящему, красиво. Потом я узнал, что килограмм черешни стоит сорок гривен. Чтобы наполнить даже небольшое ведро, понадобится килограммов семь, а это без малого триста гривен. За ремонт ноутбука я заплатил двести и ещё потрачу триста в качестве чаевых. Идиот. Полный идиот. Кто же после этого назовёт меня умным человеком. Так в том-то вся и красота. Красота в идиотизме. К тому же их ещё где-то надо взять, триста гривен, да так, чтобы не узнала жена. Вот уж кто не оценит такую красоту, так это жена. Я представил, как она повертит пальцем у виска. Да ну, к чёрту. Что тут такого, если я позвоню и скажу, что нет черешни, да и всё. Вот она мелочность, вот это она и есть, вот это и делает твою жизнь ничтожной. Нет, но здравый смысл должен быть? Элементарная логика должна быть? Если говорить об элементарной логике, то давно пора позвонить и сказать, что черешни в этом году нет. Ничего более логичного не придумашь. Черешни на базаре становилось всё меньше, она уже поднялась в цене до шестидесяти гривен. Ни о какой красоте не могло быть и речи, но и бесследно исчезнуть я не мог. Компьютерщик превратился из приличного симпатичного человека в монстра. Неприятно было вспомнить его картавую речь, тонкую шею, странную бородёнку, словно выросшую на коленке. Дёрнул меня чёрт с ним связаться. Почему-то теперь я не сомневался, что он еврей, хотя я никогда не думал о евреях плохо. Я измучил себя и однажды вечером сел в кресло, взял в руки телефон, повертел его в руках и словно прыгнул с парашютом:

– Алло, здравствуйте. Я обещал вам черешню. Но так случилось, что в этом году она сгнила прямо на дереве. Кто бы мог такое предположить. Так что примите мои извинения.

Дух во мне спёрло. Я не был уверен, что парашют раскроется.

– О чём вы, какие пустяки. Да, многие говорят, что в этом году черешня не уродила. У меня самого когда-то была дача, и я знаю, что это такое.

– Но я обещал.

– Ничего. Обойдёмся без черешни. Как ноутбук – работает?

– Да, спасибо, всё в порядке.

– Ну и замечательно.

– Конечно, ещё раз извините.

– Что вы, какая ерунда.

– Вот что значит делить шкуру неубитого медведя.

– Природа есть природа.

– Да, да, ну, до свидания.

Я нажал на кнопку, зачем-то посмотрел на телефон. Надо же, как всё просто, а я мучился столько времени. Замечательный человек всё-таки этот компьютерщик.

Внучатый племянник

Неужели у меня не может быть богатой двоюродной бабушки, предположим, в Канаде, пережившей всех своих мыслимых и немыслимых родственников. Её вывезли за океан в одна тысяча девятьсот восемнадцатом году пятилетней лобастой девочкой в соломенной шляпке с широкими полями и красной лентой. А теперь у неё сто гектаров земли в лесопарковой зоне под Торонто и пансионат украинской диаспоры, в котором обычно отдыхают поляки и евреи, говорящие по-

украински. Могу же я быть её внучатым племянником и единственным наследником. Сегодня ночью мне снилась Канада. Я уверен, что это была лесопарковая зона под Торонто.

– Здравствуйте, Константин Константинович.

Всё началось, наверно, ещё тогда, когда мне не дали собственного имени и назвали в честь отца.

– Здравствуйте.

Это я ответил Оксане Валерьевне. Я стараюсь не произносить ни её имя, ни отчество, потому что имя ей не идёт, а отчество трудно выговорить. К тому же она стерва, каких мало. В имени Оксана мне всегда слышится что-то глуповато целомудренное, что-то вяло думающее, большое, но мягкое, как подушка. Поэтому маленькая, состарившая стерва Оксаной быть не может, и для собственного употребления я всегда называю её на русский манер Ксенией. Слышите, как кисло, сколько специфического сучьего запаха. В этом я не могу ошибаться, потому что звук – моя профессия. Я работаю звукооператором во дворце культуры, а Оксана Валерьевна – бессменный руководитель культурной клоаки.

– Опаздываешь...

– Задержался.

– Задержаться могу я, а ты опаздываешь.

Мне пятьдесят, а мне всё ещё тыкают.

Я молча беру у дежурной ключ и иду в свой кабинет. Пока иду, верчу ключом, снимаю пальто – матерюсь, объясняю Оксане Валерьевне, какая она сука, как я её презираю, и что теперь у меня испорченное настроение на целый день. Минут пятнадцать я хожу по комнате, не в силах унять этот понос. И даже остановившись у окна, ничего в окне не вижу. Какое счастье, что мысли не материальны. Они бы разорвали меня. В сущности, из-за пустяка. Ну почему мне не свойственна ирония. Почему я не еврей... «Ах, Оксана Валерьевна, – сказал бы я, если бы был евреем, – я когда-нибудь опоздаю на собственные похороны». Она бы ничего не ответила, потому что тупая, а я бы спокойно сидел в кресле и уважал себя. Уважал, уважал... Идиёт, с каких это пор ты стал уважать евреев? Если бы я был евреем, я бы уважал евреев. Да я и так их уважаю... но не люблю. Пусть бы и меня не любили, но знали бы, что я талантливее и умнее всех.

– Костик, помоги Саше столы в фойе занести. Сегодня конференция, ты не забыл?

– Не забыл. А кто мне поможет колонки на сцену поставить?

– С Сашей и поставите.

Костик... уже Костик... сразу Костик.

– Константин Константинович, ну что, пойдёмте...

– Не торопись.... Нашли самого молодого.

– Это Валерьевна. Мне-то что.

– Вот именно, что тебе ничего. Доживёшь до моих лет, узнаешь.

– Ой, ой, как водку пить, так, наверно, старым себя не считаете?

– Ты не путай божий дар с яичницей. Водку надо уметь пить, а столы любой дурак понесёт.

Я, может быть, всю жизнь учился (щёлк по горлу) этому делу.

– Ну и как, научились?

– А то ты не знаешь! Какие столы, откуда?

– С восемнадцатой.

– Не спеши исполнять. Начальству надо давать время подумать. Оно сейчас подумает и что-нибудь передумает, а мы уже натягаемся с этими столами. Потом тащи обратно. Иди покури.

– Я уже курил.

– Покури ещё. На работе курить не вредно.

– А сами не курите.

– Я мысленно курю. Представь, что у тебя нет мозгов, откуда бы ты знал, что ты куришь? Ты бы курил и не получал бы никакого удовольствия, потому что не понимал бы, что куришь. А вот если мозги есть, можно и не курить, а только думать, что куришь, и ловить кайф.

- Слышал я про это. Только не надо нас дурить. Я не хочу жить мысленно.
- Иногда ничего другого и не остаётся. Иди, иди, кури.

- Ну, сколько ждать?
- Сейчас. Саня курить пошёл.
- Да что это за блядство такое – никого не допросишься, никого не заставишь.
- Не нервничайте, Оксана Валерье...еевна, ещё уйма времени.
- Причём тут время. Я сказала сейчас вынести в фойе столы.
- Сейчас и вынесем. С восемнадцатой?
- Да с восемнадцатой. Сколько их там – не помнишь?
- Не помню.
- Надо чтобы четыре стола стояло... Ты где шляешься. Я же сказала...
- Всё, уже идём. С восемнадцатой?
- Да с восемнадцатой. Что это такое, в конце концов!
- Нет, но в прошлый раз из двадцать первой выносили.
- Сегодня из двадцать первой нельзя брать – там уроки массажа будут.
- На столах?
- Тебе какое дело?
- Никакое.
- Вынесите столы, потом возьмёте в костюмерной глаженные скатерти.
- Для массажа?
- Для конференции... массаж вас не касается.
- Правда, хорошо, Константин Константинович, что массаж нас не касается?
- Конечно, хорошо. Только с такой работой, думаю, это уже ненадолго. Мало мне своих колонок, так ещё и столы таскай.

– Здравствуйте.

Это Лена, худрук. Вот она мне нравится. Не как женщина, конечно. Молоденькая, шупленькая настолько, что боишься даже смотреть на неё. Вдруг она от одного взгляда упадёт или поранится об него. Поэтому я стараюсь смотреть мягко, не прищуриваясь. При взгляде на неё я чувствую, как мои брови поднимаются вверх, а губы складываются в трубочку, чтобы сказать что-нибудь ласково-глупое.

Мы с Саней идём по лестнице вверх, а Лена спускается нам навстречу. На какую-то секунду мои глаза оказываются рядом с её грудью. Над вырезом кофточки бледненькая кожа с голубенькими жилками в костлявой ложбинке, напоминающей корпус каноэ. Изящное, подвижное, неустойчивое каноэ среди болотных кочек и чёрных омутов провинциальной культуры. Девочка, как мне тебя жалко. Поскорее бы выросли у тебя сиськи, чтобы было чем смягчать удары судьбы.

- К Валерьевне? – спросил Саша.
- К ней, – обречённо сказала она.
- Сейчас начнёт девку сношать, – грубо говорю я, чтобы придать подступившую к горлу жалость.
- За что?
- За что-нибудь. Какая разница.
- Зачем?
- Надо же себя за что-то уважать.

Большое фойе с колоннадой и почерневшим паркетом только что вымыли, поэтому мокрые доски казались совсем чёрными. К уборщицам у меня давняя неприязнь, ещё со школы. Наступая на вымытые полы, я всегда чувствовал себя преступником, человеком, наносящим вред результатам труда другого человека. Поэтому мне всегда было проще, если в помещении было неубрано.

Моя походка становилась увереннее, и сам я был увереннее, и встреча с уборщицей уже не грозила смущением и чувством вины перед нею. Мальчишкой я их просто боялся, теперь, конечно, не боюсь, но избегаю, и разговаривать с ними не люблю, потому что мне кажется, что я говорю виновато и заискивающе, и поэтому, скорее всего, у меня получается наоборот, развязно и высокомерно.

Мы идём по фойе, как по дну глубокого каньона. Но, если посмотреть вверх, может показаться, что это огромная пещера, потому что старые запаутиненные люстры с давно перегоревшими лампочками напоминают сталактиты. Вот уже лет двадцать их не касалась человеческая рука. Надо же было повесить люстры на такую высоту и не подумать, как к ним добраться. В вечернее время включались бра, когда в этом была необходимость.

Разминуться с уборщицами не удалось. Две немолодые Тани со швабрами и синими пластиковыми вёдрами ревниво смотрели на нашу обувь и пройденный нами путь по сырому паркету. Я инстинктивно оглянулся – следов от подошв, слава богу, не было.

- Привет, девчата. Трёте?
- Трём.
- Ну и хорошо.
- Кому, может быть, и хорошо, а нам не очень.
- Почему?
- Сам потри.
- Кто на что учился.
- А натапывать все умеют.
- Нет, уборщицы сволочи, это точно.
- Ты ключ взял?
- Нет.
- А какого же хрена мы сюда припёрлись!
- Сейчас принесу.

Вторая половинка двери оказалась не закрытой на шпингалеты, и я вошёл в комнату без ключа. Из окна был виден двор соседнего дома. Женщина во дворе развешивала бельё. Ветер подхватывал концы простыней, но не мог с ними справиться, потому что они были мокрыми и тяжёлыми. Зато полы пёстрого халата на женщине так и подлетали вверх. Она успевала между делом одёрнуть их рукой; левой или правой, как было удобней, и один раз даже оглянулась на дворец культуры, словно почувствовала на себе мой взгляд. Я понимал, что сделала она это машинально, просто так, что кроме меня на неё могут глядеть из других окон, из других домов, но я всё равно принял поворот её головы на свой счёт и отошёл от окна.

- Во? – удивился Саня. – Что, не закрыто было?
- Почти. Какие берём?
- Все – их же всего четыре.
- Да? Действительно. Ну, ты сядь, покури.
- Не хочу я.
- Тогда посмотри в окно – там такая баба бельё вешает.
- Где?
- Во дворе. Напротив.
- Да нет там никого.
- Значит, уже повесила. Классная бабёнка была. Ветер так в попку ей и заглядывал.
- Классная... как можно было отсюда разглядеть?
- Потому и классная, что нельзя разглядеть. Издали они все хорошенькие... А потом ещё и сукой окажется. Нет, Сань, советую – только так, из окна, чтобы и запаха не было.
- Вам легко говорить.
- Обижаешь. Если хочешь знать, мне труднее, чем тебе, потому что ты можешь трахнуть и завтра, и послезавтра, а у меня послезавтра может и не быть.

Я снова подошёл к окну. Через соседний двор тянулся белый пунктир простыней, наволочек и полотенец. Белый пунктир на рыже-сером фоне межсезонья. Я опустил в старое грязное кресло, и все предметы вокруг меня сразу выросли, превратившись в длинноногих тварей. Из-под подоконника торчали отклеившиеся обои. Саша закрыл их спиной, облокотившись на подоконник.

- Покури.
- Не хочу. Сейчас Валерьевна прибежит... Зачем это нужно – выслушивать.
- У-у, какой ты щепетильный.
- А что, думаете приятно, когда тебя кроют. Я ведь тоже уже не мальчик.
- Ну, тогда понесли.

Мы вынесли столы, и пошли за скатертями. К костюмерше у меня не было никакого отношения, потому что в отличие от уборщиц я с костюмершами в жизни почти не сталкивался. Звукооператор и костюмерша – это, в общем, совершенно параллельные линии. Как женщина она меня тоже не интересует, если не считать сугубо умозрительного сравнения двух величин – её груди и собственной головы. Что ни говорите, но вес женщины, при всей демократичности взгляда на этот вопрос, не должен превышать веса тёлки, иначе невольно начинаешь сравнивать. Одним словом, за скатертями я шёл, зевая от скуки и осеннего уныния.

- Валюш, к тебе можно?
- Конечно, заходите.
- Мы за скатертями.
- Ой, я ещё не догладила – у меня стол был занят. Пока разобралась...
- А ты не оправдывайся – всё равно заложим.
- Вечно ты шутишь.

– Я шучу? Плохо ты меня знаешь. Я тайный агент. Мне приказано следить, чтобы ты не подшивала чужие брюки и не вшивала всему городу новые молнии.

- А как я проживу на эту зарплату?

– Как хочешь, так и живи, иначе мой меч – твоя голова с плеч. Короче, мы подождём. Где нам можно присесть?

- Да вот тут, – она смахнула со стульев ворох лоскутов.

Мы сели.

- Жаль, что у тебя курить нельзя.

– Курить нельзя – я от дыма задыхаюсь. Да и Валерьевна может нагрять... Так ты же не куришь?

- Я-то не курю, а вот Саня... Видишь, он страдает.
- Пусть идёт покурить куда-нибудь.
- Куда же он без меня... он без меня пропадёт... заблудится.
- Я вижу, у тебя сегодня весёлое настроение.
- Почему-то тошно, как никогда.
- А сам шутишь.
- Потому и шучу.

Я заглянул за вырез и её платья. Здесь не было никакого каноз. Глаза провалились в узкую бездонную расщелину. Пришлось плотнее вжаться в стул, чтобы не свалиться туда. Она отвернулась с утюгом к столу, и я смотрел на ёрзающий у туловища локоть величиною с шар для боулинга. Какое же должно быть сердце в этой массе! Наверняка большое и доброе. Почему мы не любим толстущек, делая несчастными их и себя. А как хорошо бы было любить вот такую необъятную, наивную и добрую женщину. Между её грудей можно было бы утешиться от любого горя, можно было бы плакать там, утирая нос о душистую мягкую плоть, и никто бы не услышал твоих всхлипов, а ты, поплавав, засыпал бы, чмокая губами как ребёнок.

- Берите.
- Уже? Саш, возьми.

– Аккуратно, чтобы не помяли.

– Да, что ты, что ты!

Мы вышли.

– Вот женщина!

Саша недоверчиво посмотрел на меня и усмехнулся с иронией. Конечно, разве мог он знать, о чём я думал.

– Колонки когда будем ставить? – спросил он.

– Я позову, мне надо всё подготовить.

Вдали поднималась по лестнице Оксана Валерьевна. Она шла спокойно и величественно, как бог. Хозяйка, твою мать.

– Оксана Варельевна...

– Не туда, столы не туда поставили. Надо передвинуть вот к этой колонне.

– Я хотел спросить, сколько микрофонов на сцену?

– Один... или лучше два – один на стойке, а второй, радиомикрофон, положишь на стол в президиуме. Вот сюда столы. Петрова не видели?

– Нет. На стол... потом хер найдёшь, или уронят, уроды... Сань, ну я сейчас пойду, соберу шнуры, удлинители, и понесём.

– Хорошо.

На лестнице я снова встретил Лену. Мы двигались в обратном направлении, поэтому перед моим взглядом оказалась её голова с жёлтыми волосами и прозрачные уши.

– Ну, что? – не останавливаясь спросил я, и она, тоже не останавливаясь, ответила:

– Как всегда.

– Всё в говне? – я повернул голову. Лена уже была выше меня.

– Да, – вяло сказала она, исчезая из моего поля зрения.

Я зашёл в свой кабинет, заставленный чёрными ящиками динамиков. Половина из них были не рабочие. Открыл шкаф, намереваясь перебрать соединительные шнуры, но вдруг отвлёкся банальной мыслью о том, что все мы овцы и волки. Вот Лена стопроцентная овечка с засраной шерстью под хвостом. Её постригут раз-другой, а потом плюнут и зарежут. И я бестолковый баран. Эти мысли меня расстроили. Я сел в свое дерматиновое кресло с оборванным лоскутом на подлокотнике и печально уставился в угол комнаты.

Зашёл Саша, а я всё сидел в глубокомысленной позе, скованный ленью, разочарованием, клочками случайных воспоминаний, замечаний, предположений... Я даже не обратил на него внимания, и он, не дождавшись, когда я пошевелюсь, сказал:

– Ну что, понесём?

Я перевёл на него взгляд. Саша хороший малый, правда, прикидывается простачком. Такие вырастают незаметно – всё маленькие и маленькие, потом посмотришь, а он на голову выше.

– Сань, так ты на электрика учишься?

– На энергетика.

– А в чём разница?

– Энергетик – это электрик с дипломом.

– Я так и думал. Те же яйца, только в профиль.

– В общем, да.

– У нас так о звукорежиссерах говорили: те же звукооператоры, только с талантом. Да. С талантом... но это ерунда. Талант – вещь необязательная. Если у человека нет таланта, его ни в коем случае нельзя осуждать, и даже жалеть не надо. Наоборот, талантливых надо жалеть, потому что есть кретины, которые им завидуют. Думают, талантливому всё легко даётся. Всё, кроме жизни.

– Какие понесём?

– ...Самые большие.

В это время в комнату заглянул Сергей.

- Поможете? – грубо и сердито спросил он.
- Бог поможет. Здрасьте надо говорить.
- А мы что, не виделись? С Саней я здоровался. Скажи, Сань.
- Ладно. Захвати стойку, а потом и мы тебе... Что там?
- Щит на задник повесить.

– Про конференцию?

– Ну да. Заебали.

Сергей меня злил, а тут ещё на лестнице я больно ударился об угол динамика.

– Ёпэрэсэтэ, Серёга, твою мать. Из-за тебя.

– Прямо из-за меня?

– Конечно, идёшь тут, скулишь, самый несчастный.

Почему он меня злит? Может быть потому, что не пьёт, или потому, что от хронического гайморита у него противный голос. Более серьёзной причины нет. Когда-то я специально посвятил несколько часов рабочего времени, чтобы обдумать наши взаимоотношения. Сидел в кресле, жевал спичку, думал, думал...

И тут я зацепился за ящик ещё раз.

– Серёга, уйди ради бога, я из-за тебя убьюсь.

– Здравствуйте, Константин Константинович, – зычным голосом сказала наша певичка и руководитель детского вокального коллектива, пересекая фойе в направлении своей комнаты.

– Здравствуйте, Альбина Викторовна.

На моём лице образовалась идиотская гримаса, за которой я обычно скрываю своё истинное отношение к ней. Глядя, как я улыбаюсь и вежливо склоняю голову, она должна думать, что я думаю о ней то, что она думает о себе. А она думает, что она красивая, талантливая, умная, что её все уважают, все хотят и все боятся. Такое самомнение может поселиться только в совершенно пустой голове, потому что для него нужно слишком много места. Естественно, я её терпеть не могу, но не за это. Дело в том, что она самая настоящая блядь, а бляди хорошо знают мужские слабости. Практически они знают о мужчинах всё, поэтому когда она смотрит на тебя своими блядскими глазами, кажется, что видит сквозь брюки твои обвисшие в этот момент яйца. Мне это не нравится.

– Тащите? – сказала она с приблизительно той же интонацией, с которой я говорил уборщицам, – трётё?

– Тащим.

– Ну и тащите, – с издевательским смешком она исчезла за дверью.

Пока мы карабкались по узким ступеням на сцену, в зрительный зал вошла Оксана Валерьевна.

– Ещё два стола надо поставить перед авансценой.

– В восемнадцатой больше нет столов, – ответил Саша.

– Возьмёте с двадцать первой.

– А массаж?

– Если я сказала – возьмёте с двадцать первой, значит, можно взять.

– Без проблем.

– Ну и хорошо, – сказала она, как я говорил уборщицам Таням.

– Кому хорошо, а кому и не очень, – проворчал я, удивляясь тому, как всё похоже.

– А оформление когда повесим? – прогундосил Сергей.

– Повесим.

Минут сорок мы ещё перетаскивали, устанавливали, подвешивали. Саня заменял в софите лампочку. Я включил аппаратуру. Динамики похрипывали, но для конференции сойдёт. Выступления обычно никто не слушает. Я убрал слишком высокие и слишком низкие, чтобы ничто не мешало людям дремать во время конференции и, наконец, почувствовал, что устал. Натоптался.

Резко захотелось сесть и не двигаться. Я спустился в свою комнату. По пути мне снова встрети-лась Альбина Викторовна. Я машинально нашёл нужное выражение лица, пронёс его мимо её бессовестных глаз с надеждой, что с моими яйцами всё в порядке. Дерматинное кресло ждало меня в привычном углу. О, Господи! Ведь в том, что в Канаде в городе Торонто у меня может быть родственная мне старуха, нет ничего невероятного. Сколько украинцев в одна тысяча восемнад-цатом году и позже уезжало за океан. В семье моей бабки было восемь детей. А двоюродные, троюродные, вверх, вниз и в стороны.... В моём воображении вырос громадный генеалогический баобаб, на ветке которого, как райская птичка, сидела маленькая девочка в соломенной шляпке.

– Константин Константинович, ну, как это можно назвать? Оказывается, в фойе хватит двух столов.

Я посмотрел на Сашу глазами больной коровы. Мне было не до него. Я блуждал аллеями собственного пансионата, любуясь медью канадских клёнов.

– Заебала.

– Ну, и что? – спросил я.

– Надо столы со зрительного зала вернуть в двадцать первую комнату. А два стола из фойе занести в зрительный зал.

– Имейте совесть. Я, можно сказать, заслуженный деятель культуры. Мне пятьдесят пять лет, – спокойно, даже меланхолично, сказал я. – Попроси Сергея.

– Его Валерьевна усала в магазин.

– За водкой, – оживился я.

– За газированной водой.

– Точно заебала.

А собственно, что мне бабушка – самому уже пора задуматься о райских кущах. Как никак, пятьдесят пять идиёту! Но почему бы и не пожить на старости лет. Дорогую машину я бы поку-пать не стал. Что-нибудь простое и удобное...

– Константин Константинович?

– Что?

– Ну?

– Покури.

– Да курил я только что.

– Я в твои годы курил по-настоящему.

– Тогда сигареты были дешевле.

– Так ты деньги экономишь?

– И здоровье тоже.

– В твоём возрасте думать о здоровье полное жлобство. Со здоровьем, как и с деньгами, надо расставаться легко.

– Первый раз об этом слышу.

– Может быть, я действительно придумал что-то новое.

– Костя, Саша тебе сказал? Надо поменять столы.

– Да, сказал.

– Ну, и что?

– Ща поменяем.

Мы пошли в зрительный зал. В фойе из-за штор торчали две задницы Татьян. Они облокоти-лись о подоконник и пялились на проезжающий по улице свадебный кортеж. С задниц свисали полы серых рабочих халатов. Попа Тани Скворцовой была ниже и шире, и спина у неё прогнута, как кавалерийское седло, а попа Тани Васнецовой выше, она горбилась и напоминала верблюда. Пока мы переносили столы, я почувствовал, что хочу есть, но на ум вместо еды начали приходить разные закуски: хлеб и маринованная килька, нарезанная крупными дольками цибуля, бледно-розовое сало, охотничьи колбаски, квашеная капуста с клюквочкой, кружочки лимона. Я понял,

что я не просто хочу есть, но и выпить. Причём это было настолько очевидно, что я не стал себе возражать.

– Сань, а что если...

– Что?

– Что, что? Не взять ли нам малёшку.

– Зачем?

Я задохнулся от недоумения – более нелепого вопроса не выдумаешь.

– Как это зачем? Ты дожил до своих лет и не знаешь, зачем люди берут к обеду чекушку?

– К обеду? – задумался Саша.

– Ну да.

– Чекушку?

– Её, родимую.

– А не мало?

– Вот. Слышу слова не юноши, но мужа. Конечно, мало. Только, боюсь, всё упрётся в финансовый вопрос.

– Упрётся.

– Упрётся.

– Тогда чекушку.

– Нет. Перед трудностями нельзя отступать.

– Я думал заняться сегодня курсовой.

– Саня, рубикон пройден.

– Да?

– Да, – уверенно сказал я, и следующие пятнадцать минут мы посвятили сбору средств.

Больше всех дала Альбина Викторовна – целых три гривны – и чувствовала себя Христом, накормившим одной лепёшкой сколько-то там тысяч страждущих. Мы же на хлебе решили эконобить, потому что в шкафу с позавчера ещё оставались чёрствые куски. Шкаф в моей комнате стоит у входной двери. Позиция очень выгодная, потому что, открыв его дверцы, оказываешься в зоне непросматриваемости, и в момент употребления ты не попадаешь на глаза начальству. Это свойство моей комнаты было знакомо Оксане Валерьевне, но ей даже нравилось, что мы прячемся. Прячутся – значит боятся, резонно думает она. Чёрт с нею, пусть думает, зачем зря дразнить собак. Стоя у шкафа, я нарезал колечками какую-то колбасу, почистил луковицу, раскроил на четыре части большое яблоко, свинтил с поллитры крышку и налил в стопки граммов по семьдесят водки.

Мы подходили по очереди к шкафу. Пили, закусывали, потом я снова наливал. Процесс отработанный и приятный. Моё место в дерматиновом кресле на правах хозяина неоспоримо, Саня или стоит, опёршись о динамик, или сидит на вращающемся стуле за ударной установкой. Он рассеянно водит ногтями по одному из барабанов, и тот оживает, наполняя комнату едва уловимым тугим звуком.

– Не балуйся.

– Константин Константинович, а можно у вас закурить?

– Кури, Саша, кури, родной.

Саша работает у нас в ДК года два или три – я точно не помню – и всё это время он кажется мне воспитанным человеком. Даже странно. Откуда у обыкновенного заводского электрика может взяться воспитанность. Не то чтобы он разрушал этим картину мира, но у меня в этой связи возникают в голове лишние вопросы. Зачем мне это надо. И вообще, человек не яйцо, из него вечно что-нибудь выпирает. Вот и попробуй его упаковать. Одна морока.

– Вы на конференции будете присутствовать, так сказать?

– Конечно, посижу, вдруг что-нибудь со звуком.

– А я хочу после обеда по-английски уйти. Как вы думаете, получится?

– Попробуй, – пожал я плечами.

Мозги заволокло тёплым паром. Первые минуты опьянения самые приятные, самые чистые, как подвенечное платье. Счастье только-только начинается.

– Конечно, иди, если тебе нужно.

– За эту зарплату мы и так тут... – начал оправдываться он. – Константин Константинович, вы не знаете, когда мы заживём как люди?

– Не знаю, Сань. Порассуждать, конечно, можно, но что толку. Не такие рассуждали, а воз и ныне там. Надо менять природу человека. Чтобы жить как люди, надо стать людьми.

– Нет, но ведь живут в Европе.

– Ничего не могу сказать. Во-первых, я в Европе не был, во-вторых, может быть, они и в самом деле другие, что-нибудь в мозгах не так, как у нас. А в общем, не думаю. Просто там раньше всё утряслось. Мне так кажется.

Я встал, подошёл к шкафу, налил ещё, выпил, постоял несколько секунд с закрытыми глазами. Потом бросил в рот кружок колбасы, отрезал кусочек яблока и возвратился в кресло. Саша тоже выпил, правда, с неловкостью воспитанного юноши. Пить с ровесником ему бы было проще, меня же нисколько не смущало, что он сопляк. Я был сосредоточен на себе, хотя во мне не происходило ничего необычного.

Вошёл Сергей, вошёл без дела, понял, что мы пьём, и хотел уйти, но я его остановил. Он меня злил. Поэтому я чувствовал вину перед ним. Я не мог ни уважать его, ни любить, и виноват в этом был я сам, потому что внятного объяснения нелюбви я не находил. Сергею было около сорока, но можно было дать и тридцать и пятьдесят. Человек без возраста, без семьи, без нервов, без привычек и страстей. Безукоризненная машина по написанию шрифтов, афиш и прочей художественной мишуры, с ещё советской вышколенностью и с той же советской ограниченностью. Все ему хамил, а он думал, что так и должно быть, что это норма. Я тоже хамил, потому что он меня злил.

– Серёга, а Серёга, ты воду купил?

– Купил. А вы пьёте?

– Пьём, Серёга. Прости нас, грешных.

– Пейте, если здоровья не жалко.

– Не жалко, для себя не жалко.

– Это как?

– А вот так, представь, что пьёшь ты...

– Я не пью.

– Ты представь только. Ну да, как же ты можешь это представить, если не пьёшь. С тобой даже говорить после этого трудно. Ты не пьёшь, и я не могу объяснить тебе элементарные вещи. Пить необходимо так же, как знать таблицу умножения. О чём можно говорить с человеком, не знающим таблицу умножения. Ты ему говоришь – дважды два четыре, а он смотрит на тебя как баран на новые ворота. Так вот, если бы пил ты, а здоровье терял я – тогда бы действительно было обидно. Понял?

– Не-а.

– И не поймёшь. Неужели ты никогда не пил?

– В школе ещё.

– Ну и?

– Обрыгался.

– Вот что значит пить без чуткого руководства, понял, Сань? – я погрозил ему пальцем.

– Так я без вас и не пью.

– И не пей. Иди сюда.

Мы втиснулись в шкаф и приняли очередную дозу. В душе зазвучали меланхолические аккорды. Я включил плеер. Первая попавшаяся музыка показалась мне вполне подходящей. И без музыки было хорошо, но она добавила объёма.

Сергей заглянул в шкаф. Он, видимо, хотел есть, но у нас была только закуска, да и та уже заканчивалась.

– Возьми яблоко, – сказал я.

Он поколебался, взял кусок и с такой быстротой забросил его в рот, словно боялся, что тот вырвется из рук и улетит.

На музыку зашёл Петров.

– Тебя Вареньевна искала.

– Когда?

– Утром.

– Я её видел уже сто раз. Это что у тебя?

– Романтический джаз.

– Классно.

– Конечно классно.

В комнате становилось тесно, душно и накурено.

– Видели по телику вчера... придурков...

– Кого именно – там их много.

– Ну, депутатов...

В дверь просочилась жёлтая голова Леночки:

– Петров у вас? Фу, накурили... А что вы курите?

– У меня крепкие, – Саша продемонстрировал пачку.

– А-а, крепкие... Семён Григорьевич, там к вам пришли.

– Кто?

– Не знаю... Женщина какая-то.

Семён Григорьевич ушёл, потом вышел Сергей. Мы допили.

– Так я наверно того... на обед и больше не вернусь.

– Ради бога.

– А вы на обед не пойдёте?

– Не-а. Червячка заморил и хватит.

– Ну, я пошёл.

– Иди.... Только по дороге не дыши ни на кого.

– Естественно.

Он ушёл, а я открыл форточку, достал из шкафа барабанные палочки и сел на вертящийся стул между барабанами. Расслабил плечи, прищурил глаза, так что лишь видел свет из окна и, вслушавшись в мелодию, стал ждать, когда она наполнит меня, дойдёт до кончиков пальцев. Вот очередной аккорд коснулся сердца, сердце как язычок колокола ударилось о стенку груди. Пальцы шевельнулись, мягко уронив палки на гулкие барабаны... тук, тук и ещё тук, тук... и цок-к-к-кы...

Я таял в музыке словно комочек сахара в тёплой воде. И, наверно, растворился бы совсем, если бы в комнату кто-то не вошёл. Это был кто-то, потому что я не открывал глаза, мне было неинтересно знать кто, я был занят таянием.

– Ой, я не вовремя, – услышал я любимый голос.

Да, я любил этот голос. Как все любимые голоса, он был необыкновенный, не поддающийся описанию.

– Лида, – я по-прежнему сидел запрокинув голову, с полужакрытыми глазами и осторожно водил палочками по барабанам. Выждав момент, я щёлкнул по тарелкам, ещё выше поднял подбородок и, дождавшись, когда звук утончится и оседет на стены, открыл глаза.

– Здравствуй.

– Я не вовремя?

– Да, ну. Балуюсь. А ты что?

– Меня Валерьевна послала. Видите ли, ей не нравится мой репертуар. А что я могу станцевать с этими крохами. Взрослые девчонки не ходят. Водят ко мне сопливую мелюзгу. Помогите найти какую-нибудь простенькую полечку: трам-там-там, трам-там-там...

– Для тебя с удовольствием. Прямо сейчас и найду.

– Можно и не прямо сейчас, – заподозрив, сказала она.

– Нет, найдём прямо сейчас.

Теперь от меня не так просто отделаться, тем более Лиде.

Однажды в незапамятные времена, когда липы возле ДК не были такими большими, а вместо пива я пил ещё в летний зной квас, на дерево у жёлтой бочки с сумасшедшим гамом опустилась стайка воробьёв. Я поднял голову и увидел среди горластых серых комочков голубого волнистого попугая. Вот так и Лида – голубой волнистый попугайчик. Я так боюсь, что её заклюют.

– А зачем полку? Танцуйте ламбаду – и просто и современно.

– У меня же кружок народного танца.

– Господи, да сейчас все народы танцуют одно и то же. Ну, кто танцует гопак? Ты можешь представить, чтобы где-нибудь на дискотеке танцевали гопак или полку?

– Тем более, нужно сохранить...

– Ерунда. Шестилетних детей надо учить двигаться, чувствовать ритм, а что они будут танцевать через десять лет, чёрт его знает. Это они сами будут решать.

– Я согласна. Но учить надо на каком-то примере, а народные танцы отточены.

Она права, чёрт возьми, или мне хочется, чтобы она была права, права всегда и со всеми. Пока я об этом думал, я, естественно, молчал, а пока молчал, спьяну забыл, о чём мы спорили.

– Так хочешь, я найду тебе ламбаду?

– Константин Константинович, давайте поищем полку – я уже настроилась на полку, – мягко сказала она.

Вот эта мягкость и делает её волнистым попугайчиком. Разве можно попугайчиков выпускать на волю? Посадить бы её в карман, отнести домой в просторную крепкую клетку и знать, что никакая зараза её не съест.

Она стояла у колонки в третьей позиции. Балерина, в нашем долбанном ДК балерина! Не знаящая овечка, а тонкая изящная женщина, скорее всего придуманная мною самим. Что я о ней знаю? Да ничего. Ничего не знаю, и знать не хочу, чтобы не было между нами никакого мужа, двух детей с хроническим гастритом, долгов по квартплате и мечты о норковой шубе. В пятьдесят пять так трудно видеть в женщине идеал, почти невозможно. Я даже стараюсь не вникать в то, о чём она говорит. Пусть её голос будет просто звуком, любимым звуком.

Я заставил её сесть в своё дерматиновое кресло, но она опустилась бедром на подлокотник, положив руку на спинку. Я как мальчишка смотрел на её длинные груди, развёрнутые в стороны под оранжевым плотным свитером, на крепкую ляжку, на упругую линию руки, на кончик сапога, вздрагивающий в такт биению сердца. Идиёт, закрой рот, у тебя нет половины зубов. Я сел за рабочий стол, заставленный аппаратурой, выдвинул ящик с фонотекой. На каждом диске сотни мелодий, где я ей буду искать какую-то полку? На это уйдёт уйма времени.

– Так, говоришь, полку?

– Ну да.

Какой звук!

– Полку... Когда же я слушал последний раз полку?... До тебя у нас вела кружок одна бабулька... помню, они краковяк танцевали. Это не одно и то же?

– Нет, Константин Константинович.

– Да я знаю, что не одно и то же. Лучше бы вы, ей-богу, ламбаду станцевали.

– Константин Константинович, я зайду на следующей неделе.

– Подожди... Думаешь, Ксении действительно важно, что вы танцуете? Это же просто так, для порядка, чтобы показать власть, чтобы убедить себя лишний раз, что она гоп-цобе, стеврюжина солёная.

- А вы не любите Оксану Валерьевну.
- Я бы сказал тебе, ласточка, кого я люблю, только это не имеет смысла.
- Почему? Любовь всегда имеет смысл.
- Боюсь, что не всегда.
- Неправда. По-моему, быть любимой, любить так здорово.
- А ты представь, что тебя полюбил какой-нибудь debil – хорошенькое удовольствие.
- Причём тут debil – вы же о себе говорите, о своей любви.
- Я? О какой любви?
- Ну, вы же сказали – я бы тебе рассказал, кого я люблю.
- Да ну, что за глупости. Никого я не люблю. Не хватало мне ещё любви, прости господи.
- Я пойду.
- Подожди.

Я вытащил первый попавшийся диск, вставил его в плеер. На нём оказалась попса десятилетней давности.

- Кажется, здесь должна быть полька, – соврал я.
- Константин Константинович, это, конечно, не моё дело, но вы ведь женаты?
- Естественно.
- А почему же вы говорите, что никого не любите.
- Потому что я женат уже тридцать лет. Тридцать лет, три месяца и три дня.
- Как быстро вы сосчитали. Я так не могу. Я замужем... так... август месяц...
- И ты по-прежнему любишь своего мужа?
- Как вам сказать?
- Вот и сказала.

– Что сказала? Ничего я не сказала. Люблю. Правда, думать об этом некогда. Забываешь.

– Вот и я забывал, забывал и окончательно забыл, что такое любовь. А если честно, то мне уже и неинтересно. Каждому возрасту свои игры. Сначала куколки и машинки, потом любовь, игра в честлюбие, и вот теперь я не знаю, во что бы мне сыграть ещё.

– А как же «любви все возрасты покорны»?

– У Пушкина есть один существенный изъян – ему никогда не было больше тридцати семи.

Откуда ему было знать, что чувствует человек в пятьдесят пять лет.

– Вас послушаешь, и никак не хочется доживать до пятидесяти пяти.

– Глупости. Замечательный возраст. Никогда я не чувствовал себя таким свободным, как сейчас. «Нет счастья на земле, но есть покой и воля». Я начинаю это понимать. Нет, на этом диске нет, я точно помню.

Идиёт, на хрена ей твоё скуление.

– Я пойду, мне кажется, вы сейчас не найдёте.

– Лидочка, что за намёки. Это же обидно слышать, тем более от тебя.

– А что я?

– Ты думаешь, что я пьяный? Конечно, выпил. Ну и что? Я даже не признался тебе в любви, значит, я всё контролирую.

– А ну вас, Константин Константинович. Вас не поймёшь.

– Вот, кажется, здесь, здесь должна быть полька. Когда-то специально записывал для детского сада.

– Что у вас за манера дразнить.

– Ты это о чём? Найду я тебе полечку, сейчас найду. У меня их много: и польская полечка, и венгерская полечка, и французская... есть мелодии, под которые всё на свете можно станцевать – вальс, польку, канкан, всё зависит от темпа. А почему бы вам действительно не станцевать канкан. Забавнее всего смотреть, как детвора подражает взрослым. Представляешь, шестилетние девчужки... и канкан. Мне кажется, будет очень и очень... оригинально.

- Вас на клубничку потянуло?
- Маленькие пампушки с алыми губками в прозрачных голубых колготках...
- Почему вам хочется казаться хуже, чем вы есть?
- Все эти ваши польки в слежавшихся сарафанчиках – такой нафталин. Кому это надо!

Лида резко встала, но не ушла. Она повернулась к окну, опёрлась ладошками о подоконник, отставила ногу назад, касаясь пола кончиком сапога. Вид у неё был обалденный – спина выгнулась, а ягодицы так явственно и откровенно выпятились назад, что на них не было сил смотреть. И я посмотрел в окно. Там были жёлтые дома, чёрные штрихи ветвей, ветер, острая холодная пыль.

- А что я могу сделать? – сказала она.
- Не надо ничего делать. Сейчас я найду польку. Станцуете поживее, и всё будет хорошо.

Я подошёл к окну и остановился возле Лиды. Она мельком взглянула на меня и почему-то покраснела. В душе звучали духовые инструменты, и в этот момент в комнату вошла Оксана Валерьевна.

- Любезничаєте? Ну, что ты, говорила?
- Да, ищем подходящую музыку.
- Давно пора. Репертуар надо обновлять.

Как не вовремя её принёс чёрт.

- Только не так, как Петров, – добавила она.
- А что такое?

– Готовил-готовил с девочкой новый номер, а сегодня мамаша пришла жаловаться. Оказывается, этот лысый чёрт шупает девчонку. Акробат хуев. Чем он думает, вы можете мне сказать? Не хватало, чтобы мамаша в прокуратуру написала.

- Вы серьёзно?

– Мне не до шуток. Нет, на кого-на кого, но на Семёна Григорьевича никак не похоже. Или, может быть, правду говорят, седина в голову – бес в ребро. Но не с малолеткой же. Выгоню его к хуям.

Она не производила впечатления расстроенного человека. Скорее, наоборот, что-то её в этом удовлетворяло. Видимо ей, экс-бляди, нравилась сама тема, такая близкая и понятная. Меня же в эту минуту словно окатили холодной водой, нет – грязью. Холодной осенней грязью. Лида стояла испуганная, и не было уже в её фигуре никакого изящества. Мой волнистый попугайчик нахохлился и казался больным и несчастным.

Валерьевна сделала круг по комнате и направилась к двери. Лида неожиданно пошла за нею. Я молчал. Уже в двери Оксана Валерьевна повернулась и спросила:

- У тебя там всё настроено?
- А что?
- Ничего. Уже люди собираются... чтоб ты не бегал по сцене, когда начнётся.

Почему после водки всегда хочется пива. Я тоскливо посмотрел в окно на двери магазина. Сегодня торгует Люда. Наши отношения с нею прохладные. Мне не нравятся её выпуклые глаза. Что ей во мне не нравится, я не знаю, но чувствую, что что-то не нравится. Причём я знаком с женщинами с выпуклыми глазами, которые мне нравятся, а эта не нравится. Наверно, дело не в глазах, а в чём-то другом, я даже знаю в чём, но это очень сложно сформулировать. Но в долг она даст, думаю, даст, я надел пальто.

Ах, Петров, Петров, неужели нельзя удержаться, чтобы не запустить руку в промежность. А с другой стороны, когда этот тёплый душистый комочек кувыркается в твоих руках, как тут уследишь, чего касаются руки. Может быть, он ни о чём таком и не думал, хотя вряд ли. Я бы думал, я бы чувствовал, что у меня под руками, другое дело, что я, может быть, испугался, а Петров не испугался.

- Людочка, здравствуй, – тошнотворно сказал я.

– Здравствуйте.

Кажется, она уже поняла. Как опытные бляди всё знают о мужчинах, так опытные продавцы всё знают о покупателях.

– Люда, бутылочку пива... до завтра.

– Какое?

– Черниговское... светлое.

Она молча поставила бутылку на прилавок. А глаза у неё, действительно, как у жабы. Тоже мне, Крупская. Я вышел из магазина, сутулясь. Какая уж тут воля без денег.

В комнате ещё витал Лидин призрак. Чтобы не спугнуть его, я аккуратно прошёл в своё кресло, сел и приложился к бутылке. После водки... идиёт.

Почему она сразу ушла? В фойе нарастал шум голосов.... В голове тоже появился знакомый по жизни звон, словно к мозгам подключили напряжение. Обидно. Не знаю за что, но обидно, хоть плачь. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть ещё хуже, говорят евреи. Мудрый народ. Чем бы я утешился, если бы не они. Спокойно, Константин.

В дверь как-то крадучись протиснулся Сергей.

– У вас это... яблока не осталось?

– Ну, как же, как же не осталось... Не знаю, посмотри.

Сергей нахально заглянул в шкаф, нашёл там ломтик яблока и, не поворачиваясь, стал жевать.

– Что, голод не тётка?

– Да я так... захотелось.

– Чудной ты какой-то, ей-богу.

– Чего?

– А хуй его знает чего.

– Там народу нагнали... А вы что, всю бутылку выпили?

Она попалась ему на глаза.

– Не лажь там, – не выдержал я. – Выпили...

Сергей помялся, потоптался на месте, словно притаптывая сырой песок, и молча ушёл. Я допил пиво, выключил музыку и собрался идти в зал. Но из-за выпитого пива пришлось делать крюк в туалет. В туалетном коридоре у окна стояла худрук. Она курила, и струйки серого дыма вырастали из её головы. Что-то мне не понравилось в знакомой тощей фигурке. Худенькие плечи торчали двумя острыми колышками. Обычная жалость к ней превратилась в боль, и я поторопился проскользнуть к писсуарам, но на обратном пути всё же подошёл и ласково коснулся плеч. Лена подняла на меня мокрое личико с большими покрасневшими глазами. Она ничего мне не сказала, и я ничего не сказал ей, только сжал тонкие плечи, сжал, наверно, очень больно.

Из розового кадиллака, с трудом становясь на ноги, выбралась ухоженная старуха, как две капли воды похожая на английскую королеву. Одной рукой она опиралась на руки помогавшего ей мужчины, а другой поправляла съехавшую к затылку шляпу с красной лентой. Она сделала несколько шагов, подняла глаза на жёлтые кроны канадских клёнов и скрипучим голосом позвала:

– Джо...

Подошёл второй мужчина в чёрном макинтоше:

– Слушаю, мэ.

– Джо, в Украине должен быть мой внучатый племянник. Если он жив, отыщите его.

Наталия ЧЕРНЫХ

НА СЕВЕРО-ЗАПАД

Стихотворения 2019-2020 годов

Считалочка

сели обедать, а ей не дают пирога;
ты же хорошая, вот и хлеб;
встали играть, а ее не зовут;
ты умная, сделай домашку;
дали зарплату, а взяли налог:
ведомость верная: вычетов много;
премию дали, а ей ни копейки:
ты очень ценный работник;

священник прошел и сказал:
это все к благодати,
она и не спорит;

мыла шар земной,
по чистому прошли соседи;
придумала имя,
посмеялась подруга;
влюбилась,
а он далеко,
улыбается, не обижает;

все неприятности на благодать
ложатся влюбленностью тихой;

только не думай, что будет платеж,
только не жди зачисления,
только не говори прежде всего себе:
как есть, так быть должно;

Наталия Черных родилась в 1969 году, живет в Москве, автор 12 поэтических сборников, лауреат Филаретовской премии за лучшее стихотворение 2001 года, лауреат премий «Летучие собаки» (2013) и «Московский наблюдатель» (2019). Автор 6 сборников эссеистики (М.: Эксмо), книги «Приходские повести» (М.: Эксмо, 2014) и трех романов: «Слабые, сильные» («Волга», 2015, лонг-лист премии «Большая книга»), «Неоконченная хроника перемещений одежды» (М.: Эксмо, 2018), «ФБ любовь моя» («Волга», 2019).

не смотри по сторонам:
там игроки, шулера,
удача вся с ними;

а тебя позабудут,
ты знаешь и это;

позабудут и те, кто смеялся,
и те, кто вперед побежал;

только не жди зачисления,
помощи просто не жди;

много занятий до смерти
освоить еще предстоит:
каждую пятницу мыть земной шар,
из Амазонки тушить душевный пожар
кого-то, кого и не знаешь;

зачем она здесь?

платишь и убираешь;
цены утешения нет;

окна да окна,
свет;

это не шишел вышел,
это предвечный совет;

а счет живет
сам по себе:

когда платить,
а когда тратить;
вот несут
белое платье

Люция

Мне нравится придумывать слова: люция,
растение, и в нем душа его,
неяркая и тонкая лаванда,
подросток-девочка с тенями малокровья,
но вот, смотри, танцует и поет.
Люция там, где мир яйцом пасхальным
на солнцепасху, с толстою корой,

растрескался, и трещины гуляют,
где скрыто все лавандой и люцеей,
а девочка танцует и поет.
Бессмертие не дар и не покупка,
работа выбора вещей:
сетей, растений, прочих инструментов,
которыми все то, что до материи
творило звезды, плоти и растенья,
идет навстречу человеку.
Финал, в отличие от мирного начала,
причудливый хлопок. Но в голосе его
самонадеянности земляная масса,
и лишь люцеея занимает поле,
когда хлопок, себя перепугавшись,
затих.

Баллада О Радуге

В тот год, в кромешную жару,
Задумавшись о Рождестве,
Она сплела из шерсти коз
Двенадцать радужных полос.
У радуги двенадцать стрел,
А семь полос – ее сестра.

Два красных: алый и кармин,
Цвет ноготка всего один;
Три желтых: лютик и песок,
Рассвета золото на них;
Зеленых четверо идут:
Листья, хвоя, трава да ил,

Два синих: море к небесам,
Их предваряет голубой,
Что в синем тонет молнией
И потому его как нет,
Он синий держит на руках;
А фиолетовый один.

Цветенье шерсти, петли слов;
И если б высохла земля
И все растения на ней,
Двенадцать рек пришли бы вновь.
Она не ведала о том,
Она сплетала Рождество.

Она сплела слова как шерсть:
Прекрасен как Иосиф ты,

В бою силен как царь Давид
И мудрый словно Соломон,
Ты господином наречен
Моей зеленой стороны.

**Песня
о восточном и северном ветрах**

когда в ближайшем сквере
иней укроет пространство
где шерсть из травы клубится
где утром клочья облаков

снег выпал

мне видится одно и то же
побережье
между горами и морем
там вереск

в жизни не видела вереск
свободно вереск

дом на пологом скате у скал
старый дом
сети вокруг

а море еще не встало
вряд ли встанет море

однако у самой кромки песка
желтый причудливый лед
соленый лед
хрустит от напора тяжелых волн

где-то за скалами лес
его почти что не видно

дом сиротой
принятой скалами
смотрит на море
дом смотрит на море

пора бы уже запрягать лошадь
ехать в город
но лошадь идет по песку возле самой воды
там лед
соленый лед

поднялся сырой восточный ветер
зимний восточный ветер

что мне
что моря того не увижу
ни густого вереска
ни скал красно-синих
ни лошади
у самого моря идущей

я это место узнаю из тысячи
я его точно узнаю

нынче северный ветер
снег по газонам
пестрые стали газоны от снега
ветер сырой пришел
ветер холодный сырой

Аргайл

по зеркалу лицо плывет
не то,
что смотрится в него;
или забыла внешность на обочине у жизни;

она росла,
как не растет трава,
как не растут деревья;
деревья ближе и надежнее людей;
как плод или как дом;
и тоже не росла;

но кто-то, лучше и смелее,
взял в руки карандаш
вмиг начертил сеть клеток,
будто ромбы,
а в них вместились музыка и нечто,
текущее и светлое;

прутья клетки
располосовали маленький сексизм,
с которым очень рано ей пришлось столкнуться;
она, покуда слезы высыхали,
вдруг обнаружила,
что весело растет,

что клетки в ней все больше и красивей;

мужчины вслед кричали:
если бы не мы, то ты бы не...
не слышала, что дальше;

за красотой сожительство идет,
там хорошо и внятно объясняют,
что ты никто, ничто, предатель и урод;
развидеть это нужды нет;
все много проще:
она жила с другим,
а клетки зрели в ней
и разворачивались в пляшущий узор;

затем пришли измены с расставаньем;
неравноценно;
тут из люльки вынули ее
и бросили на лед;

когда б ни клетки,
она бы не срослась в саму себя;

а клетки лучше с каждым новым днем,
новые цвета прибавились;
затем пришли мытье с катаньем
и большой сексизм;
опять мужчины вслед кричат;
она уж позабыла, кто они;

затем смирилась и заулыбалась;
других людей у ней в округе нет,
да и она не человек,
она те клетки;

мужчины вслед кричат:
а ты не человек,
и обижать тебя единственно правильное решение,
мужчины ударяли, да, случалось;

она росла,
так появился орнамент новый,
названный по месту,
где могила древней деревенской королевы:
аргайл;

когда глаза научится читать,
ведь зрение плывет от утомленья,
она читает в зеркале лицо;
в нем нет следа

(но ей следы видны),
что было все, что было;

клетки пульсируют тремя цветами ярко;
она любила их и любит их

Долго не видеть – в сумерках, в поезде, в поле тащиться
ранней весной.
Что есть разлука – тело разъятое лука на зябких коленях.
Если на этой он стороне –
мандарином висит новогодним свидание, центр областной,
А уж если на той – то дорога-дорога-дорога,
и нет ей конца,
и на ней никаких поселений.

Как ему там? Обращаться на ты напрямую смешно,
но смеяться любил.
Не болит ли, и нет ли дурмана от всяких вещей,
самовольно бедой приходящих?
Если хоть на минуту забыть, что он жил,
и растечься меж сонных светил,
Пробуждение будет с полынью во рту,
в поселении женщин неспящих.

Так что здравствуй, и все же на ты, и на той стороне.
Что я знаю о ней?
Это тени и пламя, и снова лишь пламя да тени,
и редкие звезды.
Поезд не торопясь пробирается, дышит замедленно
тело весенних полей,
Где-то сломанный лук положили на сани,
идем уже спать,
или не видишь, как поздно.

А если захочет присниться, то сам и придет.
Говорят, что оттуда к живущим не отпускают.
Но придет, это точно. А сон миновал поворот,
и утром безоблачный, солнечный день обещают.

Кусчуй НЕПОМА

СТАТИСТ (Смена парадигмы)

Тонкие, почти прозрачные ладони легли мне на глаза. Я должен был улыбнуться – инструкция обязывала. Ее звали Юля. Мне предлагалось с нежностью произнести это имя. Произнес. Юля засмеялась, убрала руки...

Как ее звали на самом деле – черт его знает. Я видел ее раньше, недели две назад. Помню, мы стояли на мосту через Обводный канал, на том, что одним концом упирался в темно-красный массив завода «Треугольник». Молча смотрели на воду. Как будто незнакомые люди. Или, скорее, поссорившаяся пара. В инструкции так и было написано: стоять будто поссорившаяся пара. Наверно, у нас это получилось. Потом она села в «мерседес» и уехала.

Юля, как и я, работала статистом. Тогда я ее толком не рассмотрел. Поссорившаяся пара, не смотреть друг на друга... Да, симпатичная, длинноногая. Худая... Лет двадцать пять. Или чуть больше. Кто ж думал, что нам придется еще раз вместе поработать. В нашей работе такое редко бывает.

Сейчас мы шли под ручку вдоль канала Грибоедова к собору. Она – тоненькие длинные ножки в черных джинсах, длинная кофта горчичного цвета, с большими пуговицами, расстегнута, черная футболка с рисунком бабочки, из ворота торчит тонкая шея. На шее – цепочка с маленьким кулоном. Что-то похожее на сову. С двумя красными выпученными глазами. Интересно, это ее украшения или присланные с курьером?

Я прижал ее руку к себе – легонько так, незаметно со стороны. Она, не переставая улыбаться, сказала, что это совсем ни к чему. Инструкция предписывала нам дойти до храма Спаса-на-Крови, там остановиться, попросить прохожего сфотографировать нас на фотоаппарат, который согласно инструкции болтался у меня на шее. Фотик – не мой, казенный. После пары снимков нам следовало обогнуть храм, выйти на Конюшенную площадь, и на этом – все, конец работе. Минут сорок от силы. Даже жалко как-то. Юля и вправду была симпатичная, и я не прочь был бы продолжить прогулку.

У храма мы, как и положено, остановились. Я попросил прохожего сфотографировать нас. Без сомнения, дядька корейской внешности, при котором была такого же корейского вида спутница, тоже статист. Как и двое музыкантов, что щипали гитарные струны у разных частей ограды Михайловского сада.

Юля прильнула ко мне, расплылась в улыбке. Наверняка мы были похожи на счастливую пару туристов. Я приобнял партнершу и тут же почувствовал отчужденное напряжение мышц. К счастью, это мог заметить только я. Ее дрожь, непроизвольную реакцию на мою ладонь, оказавшуюся у нее на талии. Кореец несколько раз щелкнул затвором. Вот мы на фоне храма, вот мы у ограды канала и решетки Михайловского сада. Странно, конечно, что на месте, где кого-то убили, теперь все фотографируются. И сколько таких мест, в городе ли, стране, где когда-то разыгралась трагедия, а теперь хлопают затворы фотоаппаратов.

Один из музыкантов, когда шли мимо, проводил нас взглядом. Да, точно, статист. Неаккуратно как-то работает. Хотя кто знает, что у него за инструкция?

Кусчуй Непома (Михаил Петров) родился в 1966 году в Рыбинске. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, аспирантуру. Переводчик испаноязычной литературы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор двух книг прозы. Печатался в журналах «Полдень. XXI век», «Бельские просторы», «Зинзивер», альманахе «Полдень». В «Волге» публикуется с 2014 года.

– Может, еще раз встретимся? – спросил я, когда прогулка закончилась.

– Может... – ответила она.

– Я не про работу.

Юля, или как там ее, посмотрела на меня, словно изучая насекомое, еще пока не раздавленное.

– Это вряд ли.

– Запиши на всякий случай мой телефон, – уже совсем без надежды сказал я.

– Незачем, – ответила она.

– Тогда запомни, он прост как мелодия песни.

Я пропел эту мелодию, она не дослушала, нырнула в салон подъехавшего «мерседеса». Кажется, того же самого, что и в прошлый раз.

И на что я надеялся? Был бы красавцем, играл бы героев-любовников в сериалах. А так – статист. А кому захочется связываться со статистом? Которому и лет под сорок, и череп у него начинает освобождаться от лишнего.

Вечером курьер забрал лакированные ботиночки, рваные по последней моде джинсы, футболку с надписью «Chelsea» и фотоаппарат «Canon». На следующий день на карту упала оговоренная сумма, я купил бутылку вина и провел вечер в своей комнатке на набережной Фонтанки.

Конечно, надо бы искать нормальную работу. Но впереди было лето, а летом работать не хотелось. И случайный заработок статиста меня устраивал. Несколько последних лет выдались нервными: неурядицы на работе, увольнение, развод, разъезд, квартирные вопросы. И потому хотелось немножко передохнуть, просто побродить по улицам. Столько времени я пролетал этот красивейший город под землей насквозь с юга на север и с севера на юг. И теперь удивительно видеть, как он изменился. Вот отреставрированный Невский, вот новая нелепость из стекла и бетона, вот Обводный канал с его волшебной краснокирпичной архитектурой и клепаными металлическими мостами, вот выщербленный ряд домов на Большой Зеленина, словно стоматолог выдернул большой зуб из ряда старых построек. Потом в лакуну вставят протез, а через несколько лет будет казаться, что так оно было всегда: и десять лет назад, и двадцать, и полвека.

Пока я чувствовал себя губкой, которая может впитать определенное количество воды, а потом станет к ней равнодушной. Вот я и впитывал петербургский воздух, наслаждался городом и одиночеством в толпе людей. Одни бежали мимо меня, другие сидели в кафешках, лениво потгивали напитки, разговаривали. И мне казалось: я – не статист, а персонаж, статисты же – это вот все они, чья показная, фальшивая, обусловленная инструкциями жизнь структурировалась вокруг меня.

Эту работу мне подкинул приятель. Смысла ее я не понимал, но деньги платили регулярно, при том, что каких-то особых напряжений эта работа не вызывала. Сначала меня, конечно, мало: как же так, думал я, образованный человек, все время пытавшийся делать самостоятельные шаги в этом мире, а тут... Но когда нечего жрать, на многое перестаешь обращать внимание. Я мало видел людей, готовых голодать, когда рядом есть вот такой простой и изящный способ заработать на кусок хлеба. Почему изящный? Да потому что ты никак не можешь уловить, что ты на самом деле делаешь. Ты просто выполняешь чужие инструкции. В общем-то я не делал ничего плохого. Просто был в том или ином месте, абсолютно пассивно, словно часть декорации, словно дерево, фонарь или забор.

Любому хочется, чтобы мир вращался вокруг него. Но глупо думать, что ты центр галактики, когда твое существование в самом хвосте ее спирального рукава. Потому-то, быть может, я и согласился на роль статиста, что отчетливо ощущаю свое существование на краю. Нет в этом никакого самоуничижения или неуверенности в собственных силах. С краю лучше видно, что происходит в центре.

В самом начале пришлось подписать договор. И после – только выполнение инструкций и молчание, то есть неразглашение. Ты просто статист и точка. Поначалу мне пришлось побывать стажером. Звучит совсем смешно. Не просто седьмой матрос в восьмом ряду, а дублер этого ма-

троса. Но я понимал, что ко мне должны присмотреться. Испытательный срок... И для меня это было в самом деле как испытание на прочность: смогу ли я быть никем.

Помню, мне предложили проехать в автобусе. Тот шел через весь город, медленно, цепляясь за пробки, светофоры и остановки. Я должен был часть пути проделать сидя, часть стоя, уступив место беременной женщине. Она вошла на Старо-Невском, я уступил ей место и как зачарованный смотрел на нее, пока она всю дорогу болтала по телефону.

В другой раз мне нужно было посетить Публичку, взять книгу про шлакобетон и делать выписки. Книга была старая, и мне все время хотелось чихать. Следующее испытание заняло весь день: поездка за город на электричке, куда-то в Мартышкино, на платформе пришлось попросить закутить, а ведь я не курю, потом прогуляться до зимнего залива. Я замерз так, что думал только о том, как бы быстрее все это закончилось. А еще о том, что к черту такую работу. Отогрелся в автобусе. Читал какой-то журнал, найденный на остановке. Потом зашел в магазин в Старом Петергофе, купил колбасы и апельсинов, обнаружил, что меня обсчитали и устроил скандал. И все это было по инструкции. Вернулся домой только вечером, усталый как собака.

И вот уже полгода, как я статист. Как бы только не войти во вкус быть бездельником...

Через несколько дней после прогулки возле Спаса-на-Крови пришла смс-ка.

«Нужно увидеться. Юлия».

«Юля?..»

Сразу было не сообразить, какая-то такая Юлия.

«Твоя партнерша-статист».

Неожиданно.

Она назначила свидание еще одной смс-кой, недалеко от станции метро Чернышевская. Через час. Единственное, что я успел – купить цветочков, не сильно дорогих гвоздик, зато букет вышел пухлый.

Однако Юли на месте встречи в назначенный час я не увидел. А ведь работа статистом обязывает быть пунктуальным. И тут пришла еще одна смс-ка. «Зайдите в подворотню, поверните направо, второй подъезд». Ладно, подумал я, так даже интереснее.

Подъездная дверь открылась. Я хотел было сунуть Юле букет, но она схватила меня за руку и втянула в подъезд. И половина букета осталась снаружи, на асфальте.

– Идемте, – сказала она, не обращая внимания на остатки цветов в моей руке.

Она побежала по лестнице вверх, между этажами задержалась, посмотрела в окно, снова поскочила по ступенькам.

– Цветы... это вам, – сказал я, когда мы оказались в квартире на последнем этаже.

Квартирка была махонькая, больше похожая на студию. Сразу у входной двери кухня: столешница вдоль стенки, под ней маленькая стиралка, с другой стороны – холодильник, пара навесных шкафчиков. Тут же дверь в туалет и ванную. Далее комната, в которой – одежный шкаф, диван, кровать и стол у окна.

– А что, уютно. И как вы мой телефон запомнили? – спросил я.

– Запомнила. Вы ж мне мелодию напели.

Юля небрежно бросила цветы в раковину.

– Уютно, да. До недавнего времени было.

Я сделал вид, что не заметил, как она поступила с цветами. Прошел в комнату, сел на диван. Как-то все мгновенно вышло. Невероятно быстро. От первой смс-ки до квартирки. Тут впору растеряться. Задуматься о несостоявшейся прелюдии, во время которой можно и на попятную пойти.

Юля смотрела на меня, но будто не видела. Закусила губу, потом потянула руку ко рту, стала грызть ногти. Хотя бы чаю предложила, подумал я. Впрочем, у меня был в кармане куртки козырь...

– Ну и что за срочность? – спросил я. – С радостью помогу. Если смогу.

– Я не знаю, кто тут кому может помочь... – проговорила она.

– В смысле?

Она села рядом, положила на колени ноутбук. Коснулась своим бедром моего и не заметила этого.

– Смотрите.

Я увидел на экране монитора нашу с ней фотографию. Видимо, ту самую, которую сделал «случайный» прохожий. Спас-на-Крови, Юля, я, мы улыбаемся, она нежно жмется ко мне. И совсем не видно напряжения мышц, не видно, как она убирает мою руку со своей талии. Вторая фотография – там же. Оба снимка обрамлены текстом. И под фотками надпись: «Вениамин Желудько со своей супругой Ольгой не чужды туристическим маршрутам». Это была страничка какой-то сетевой газетенки, которая освещала события гламурной жизни всяких там известных персонажей. Но причем здесь я? Причем здесь Юля? И кто такой этот Желудько? Что за бред?

Юля прокрутила страницу дальше. И там была наша фотография. Другая. С прошлого свидания. Вот мы, два статиста, на мосту через Обводник, стоим, смотрим в разные стороны. Будто поссорившаяся пара.

– Честно сказать, я ничего не понимаю. Бред какой-то, – сказал я.

– Еще не знаете, до какой степени.

И Юля как-то странно посмотрела на меня.

А меня эта ситуация начала веселить. Я, простой статист, как и Юля, мы вместе по ошибке оказались в центре каких-то событий, нам неизвестных. А что, это даже интересно. Можно сказать, романтиченько.

– Послушайте, Юля... Может, мы сходим в кафе... Я есть хочу. Целый день ничего, а ваша смс-ка поймала меня на пороге квартиры.

– У меня пельмени в морозилке.

– Хорошо, – согласился я, ожидая, что она бросится к домашнему очагу.

Но она снова уткнулась в ноутбук. И снова грызет ногти... Взрослая вроде девочка. И ногти...

– Сами воду поставьте, если хотите.

Хорошо, сам. Хотя мне казалось, что могло быть и иначе. Впрочем, жрать и вправду хотелось.

– Коньяк будете? – спросил я, щелкнув газовой зажигалкой под кастрюлей с водой. – У меня есть.

– Что? – Юля смотрела на мою руку, в которой в свете свисающей над столешницей лампы поблескивала маленькая бутылочка коньяка. Гвоздики, коньяк – пошлятина, конечно. Однако с чего-то надо начинать.

– А кто такой этот Желудько? Так налить? – я смело полез в навесной шкафчик в поисках рюмок.

– А вы разве не знаете? Нет, спасибо... – отмахнулась она от налитой рюмки. – Смотрите.

Пока закипала вода, я смотрел. Я не в курсе всех этих дел богатеньких и власть имущих. И потому понятия не имел, кто такой Желудько. Оказалось – миллиардер. Пусть и рублевый...

– Вот его фотки. А вот его женушка.

Передо мной пролетали фотографии, официальные и снятые папарацци. И вот что удивительно: этот миллиардер, этот Желудько был похож на меня. А его жена Ольга – на Юлю. Другая страница – новое фото человека в оранжевом свитере. Подпись «Миллиардер не чужд интеллектуальных развлечений»...

Вода закипела, я бросил пельмени и допил вторую рюмку.

Коньяк изменил немного угол зрения. А ведь на ней была та самая кофточка, что и несколько дней назад, горчичного цвета, с большими пуговицами. Значит, кофточка ее, а не казенная. Гляди-ка, и кулончик на месте. Под кофточкой в этот раз были не футболка и джинсы, а платье, оранжевое, летнее, легкое, и острые коленки торчали, поблескивая в свете настольной лампы, а выше бедро.... Захотелось коснуться его, провести ладонью по этому изгибу, подняться выше... Так, может, поиграть в эту игру, в которую она сейчас играет? Пусть сгущается бред, как туман

на рассвете. Миллиардер, похожий на меня. Или я на него. Ну, спутали нас пару раз. Ну, похожи, бывает. Конечно, обстоятельство фантастическое, но вероятное...

Видимо, Юля заметила мой слегка осоловелый взгляд.

– Что во меня так смотрите? Разве вы не понимаете?

– Что не понимаю? – я поставил рюмку на стол.

– Нас хотят убить. Грохнуть, понимаете?

– Неужели? – спросил я, мешая пельмени.

Юля закусила губу. Смотрела куда-то в пол. А в квартире пахло пряными травами, которые я добавил в бульон.

– Я не знаю, сколько у нас времени...

– Вы меня уже хотите выгнать?

И в это время в домофон позвонили. Юля застыла на диване, вжалась в спинку, будто хотела провалиться в нее. Домофон звонил и звонил, занудно, и, казалось, с каждым новым приступом его трель становилась все более угрожающей. А потом наступила тишина. И было слышно, как булькают в кастрюле пельмени.

Юля вскочила с дивана. Не обращая на меня внимания, скинула с себя платье – я отвернуться не успел, так и смотрел на ее голую спину, на трусики, белеющие в полумраке, – натянула джинсы, вставила ноги в кроссовки.

– Бежим отсюда!

– Зачем?

И тут у нее зазвонил телефон. Юля посмотрела на экран, потом на меня. Снова на телефон, показала мне. Звонил какой-то Олег. Ну и что?

– Бегом отсюда! Он там внизу. Рано или поздно войдет сюда, позвонит соседям...

– И что?

– Да ничего! Неужели вы не понимаете, что мы уже не статисты, мы – персонажи не нашей истории.

– Смена парадигмы, да? – попытался пошутить я. Она не поняла.

Я успел выключить газ под пельменями, прежде чем мы выскочили из квартиры.

В окно на лестничной площадке я заметил внизу парней, торчащих около подъезда. Все в строгих темно-серых костюмах, аккуратно стриженные, с зализанными назад волосами. Рядом – капот черного джипа. Юля дернула меня за полу куртки – не высовывайся.

Из подъезда выход был только один, во двор. И все окна смотрели туда же. Кроме одного, что выходило на уровне второго этажа во двор соседний. Юля дергала застывший в камень шпингалет.

– Помогите же...

Пришлось дернуть с силой за ручку. Что-то треснуло. Еще рывок. Шпингалет соскочил, шурупы, его державшие, вырвали из рамы щепки. Нервозность Юли понемногу передалась и мне. Хотя я все еще верил, что это какая-то дурацкая игра, в которую я зачем-то ввязался. И зачем? Приключений захотелось?

Внизу послышались пикиканье домофона и следом звук открываемой двери. Голоса. Но мы уже выскочили наружу. Юля ловко уцепилась за трубу газоподачи, шедшую по стене между первым и вторым этажами. Повисла на мгновение на руках, затем свалилась вниз. Я прикрыл сорванную створку и последовал за ней.

Мы прижались к стене, не решаясь сразу пересечь двор. С лестницы могли нас заметить.

– У Олега есть ключ. Он войдет в квартиру. А окна выходят сюда. У нас будет минута, чтобы пролезть между вон тем гаражом и стеной, а там мы выскочим в другой двор и...

А может, это банальный страх быть пойманной на адультере, подумал я, протискиваясь сквозь узкую щель и пачкая куртку...

– Ты местный? – спросила Юля, перейдя на ты.

Мы сидели в круглосуточном кафе. Забились по ее просьбе в дальний зал, чтобы нас не было видно из окна. Я трескал те же пельмени, только за деньги. Смена парадигмы, да.

Юля спросила, сколько у меня наличных. Она все – и деньги, и банковские карточки – оставила дома. По карманам у меня было расфасовано тысячи две. Без шика провести вечерок можно. Но не больше...

– Телефон только выброси, – сказала она.

– Это еще зачем? – вся эта параноидальная история меня начинала выводить из себя.

– По телефону нас могут вычислить.

– Насмотрелась дюдинов по телику.

– Нет.

– Телефон денег стоит.

– Ты... не понимаешь...

– Кое-чего – точно.

И вот тогда:

– Ты местный?

– Ну да. А причем здесь это?

Местный... Какое странное слово...

– А я нет. Из Челябинска. Я познакомилась с Олегом по интернету. Ну, там социальные сети.

Сам понимаешь, как это бывает.

– А Олег – это кто?

– Мой парень... Точнее, теперь не знаю...

– И?

– Сначала фотки, лайки, комментарии – вот вся эта ботва. Месяца два-три, и я вдруг почувствовала, что меня влечет к нему. А потом он взял и приехал. Я как-то даже растерялась сначала. Ведь как оно бывает? По интернету одно, а потом когда видишь человека в реале... так лучше бы и не видеть. А он берет билет и летит. А ты не знаешь, как на это реагировать. Мы провели чудные два дня. А потом он пригласил меня в Питер. Сказал, что комнату поможет снять, работу найдет. Подумала тогда, а чего мне в Челябинске киснуть. Петербург – почти столица. Словом, поехала. Роман у нас покатила как скорый поезд. Со спальными вагонами, вагонами-ресторанами, станциями развлечений и прочим. Квартирку мне он эту снял. Пару месяцев платил за нее, пока я на работу не устроилась. В салон-парикмахерскую. В общем все было – о'кей. Только денег обычным парикмахером, чтобы оплачивать жилье, не зарабатываешь. И тогда Олег нашел эту работу. Статистом. Не знаю, как у тебя, а мне было нелегко.

– Меня тоже не напрягает, – поддакнул я.

– Я и в парикмахерской, и тут. Денег больше... – Юля, казалось, смотрела сквозь меня, сквозь все стены, которые могли оказаться на пути ее взгляда. – И все было нормально, и Олег рядом, и прочее... А вчера я вдруг случайно... совершенно случайно... Я была у него. Он накачался изрядно... А потом уснул. Я решила перебраться на диван, а тут зазвонил его телефон.

Ну какого рожна, подумал я, она рассказывает мне про своего хахалю? Оно мне надо знать?

– Погоди-ка, – сказал я и поднялся.

Она резко вскинула голову, будто боялась потерять меня навсегда.

– В туалет схожу. Я быстро.

В туалетной комнате, глядя на себя в зеркало, я мокрыми ладонями пригладил волосы. Надо заканчивать всю эту затею и отправляться домой. Прогуляться по вечернему городу. До моей комнаты на Фонтанке – в самый раз, чтобы проветрить голову и приготовить ее к безмятежному сну.

Я снова провел ладонью по волосам. Фотка с чуваком в оранжевом свитере... Вспомнился майский заказ, когда мне пришлось статистом сидеть на Марсовом поле и два часа читать Джойса.

В коробке, которую доставил курьер, помимо томика Джойса и инструкции были еще тот самый ярко-оранжевый свитер, кеды моего размера, небольшой рюкзачок. Судя по этикеткам, шмотки были совсем не дешевые.

Мне предписывалось на следующий день с четырех до семи находиться на Марсовом поле. Два часа читать Джойса, сидя на скамейке (на плане она была помечена крестиком), потом обойти Вечный огонь, перейти Садовую, выйти на Лебяжью канавку и пятнадцать минут смотреть на Летний сад. Всего два с половиной часа.

Читать Джойса было мучительно. Потому я только водил глазами по строчкам, время от времени переворачивая страницу. И почему бы не читать его в электронном виде? С телефона, к примеру. Так нет – увесистый томик в суперобложке... Оранжевый свитер приятно щекотал подбородок, буквы скользили перед глазами, не оставляя о себе никакого воспоминания. Скукота. А потому было невозможно не думать о том, о чем думать не следовало. То есть о том, зачем ты, собственно, здесь находишься.

Профессиональный статист, говорил мой приятель, об этом не думает. Надо уметь абстрагироваться от цели. Потому что цель это не твоя. Ты себе мозг ломаешь, если будешь об этом думать. Можешь смеяться, но это путь к нирване. Вся эта чужая жизнь, которую ты обслуживаешь, будучи статистом, должна проходить через тебя как вода сквозь решето. Не задевая, а наоборот – очищая тебя. С другой жизни тебе ничего не обломится, и нечего думать о ней. Ты же не думаешь о всяком встреченном тобой человеке, что там у него да как. Так и здесь: ты просто живешь несколько часов статистом и получаешь за это бабки.

Но, видимо, я далек был от нирваны. И потому, пока переворачивал страницы, украдкой поглядывал по сторонам. Но ничего особенного не видел. Проходили люди. Где-то за каменными блоками горел огонь. За спиной по Садовой шли машины. Вот проехал велосипедист. Остановился, слез, стал копать в колесе. Вот пробежала собака. Кто из всего этого набора являлся событием, обрамлением которого служил я, читающий Джойса?

Или вот: на соседней скамейке – парочка. Ему было лет сорок, она явно младше. Любовное свидание, видимо. Мужик наверняка женат, а то чего бы ему кольцо на пальце держать. Между ними два пакета и два пластиковых стаканчика. И из одного пакета в стаканчики текла жидкость. Винцо...

А вдруг это и есть событие, при котором нахожусь я? Ну, например, ревнивая жена вот этого кренделя решила проверить своего благоверного на прочность и заказала эту ситуацию. И вот я, читающий Джойса, велосипедист, ковыляющий в колесе, собачка – это все статисты, призванные для того, чтобы создать естественную атмосферу для адюльтера.

Я снова глянул на парочку. Он что-то шепчет ей на ухо. Она улыбается. Как мне показалось, растерянно. И вдруг посмотрела на меня и словно бы смутилась, отстранилась от собеседника и убрала свою руку из его руки. Будто испугавшись меня, моего взгляда.

И вот снимок в желтом издании: чувак, то есть я, в профиль в оранжевом свитере с томиком Джойса... Снимали с той, соседней скамейки. Неужели я сам был тем событием?..

Я вышел в зал. И сначала не увидел Юли. Она сидела под столом и, приложив палец к губам, смотрела на меня. Потом глазами показала куда-то в сторону. И я увидел парней в темно-серых костюмах. Один из них о чем-то говорил с официантом. Другой осматривал зал. Взгляд его остановился на мне. Ненадолго. Неужели не признал во мне миллиардера? И тут Юлия на карачках поползла ко мне. Выглядело это забавно, однако я даже не успел улыбнуться – она втолкнула меня обратно в коридорчик, ведущий к туалетам.

Я не помню, как мы оказались на улице. Кажется, я орал: «Где у вас тут другой выход?» Ну прямо как в каком-то кино – миски-сковородки в стороны, повара по углам. А потом еще на улице пару кварталов бегом. Отдышались за поворотом. На Таврической.

– Черт, я телефон на столе оставил, – вспомнил я.

Юля протянула мне мой телефон. Выключен. Попытался включить – не включается.

– Я батарею выкинула, – пояснила она.

– Зачем?!

– Затем!

– Слушай, если ты больная на голову... Может, тебе в полицию обратиться?
– Ну и что мы там скажем? – ответила она, не заметив мою попытку выйти из ее жизни. – Что мы похожи на миллиардера Желудько и его жену? И что их, то есть нас, хотят убить?
– Вот это ты сама придумала, нес па?
– Что?
– Ничего, проехали...
– И что теперь? – спросила она.
– Не знаю, что теперь... Но я домой.
– Хорошо, я с тобой.
Я остановился. Вот тебе номер!

Мы стояли и смотрели друг на друга. Приключение должно заканчиваться вовремя, детка. Я незаметный человечек, проживающий свою жизнь скорее по случайности, чем по призванию, статистом. И в этом свой кайф, другим, может, непонятный. Но я ничего не собирался объяснять Юле. И никому другому. И потом, уже полночь, петербургские белые ночи излетели месяц назад. И я чертовски устал.

Но Юля вдруг взяла меня за руку и снова повторила:

– Я с тобой...

И в этот раз интонация была вопросительно-просительной.

– Если хочешь... – ответил я.

Мы обогнули Таврический сад. Юля шла, глядя прямо перед собой. Вот шмыгнула носом и как-то совсем по-детски вытерла его рукой. Я смотрел на ее профиль, сейчас словно вырезанный из темноты светом фонаря.

– Когда Олег спал, телефон у него зазвонил. Я прошла бы мимо. Но там имя сверкало – Вероника. И фотка какой-то смазливой бабы. Кто такая – не знаю. И какого хера какая-то Вероника звонит моему парню за полночь? Я взяла трубку... Мне эта Вероника не дала слова сказать. Ни привет, ни алле... Будто уверена была, что Олег только и ждал ее звонка. В общем эта бабца выдала, что, мол, заказчик хочет исчезнуть через два дня. У него изменились обстоятельства. Тем более, пресса готова. Деньги переведены. Они... я не знаю, кто такие они. Олег и эта Вероника или еще кто-то... В общем, они остаются следить, чтобы похороны, вся эта шумиха в прессе прошли как надо. А потом могут сваливать. И еще она сказала, что тебе уже отправлено письмо на почту. Ну те, которые мы получаем, когда нас заказывают как статистов.

– Мне? – удивился я. – Я ничего не получал...

Впрочем, я сутки не открывал ноутбук. А телефон у меня был простой, без всякого интернета.

– Я нажала «отбой», когда она спросила: Олег, ты понял? Я сначала ничего не поняла. Расхерачила телефон, чтобы бабы ему всякие не звонили. А потом ушла. А он так и не проснулся. И только потом до меня дошло, когда я наткнулась на эти фотки в сети... На наши с тобой фотки с этим идиотскими подписями... А потом вспомнила, как тогда еще, в Челябине, он звонил кому-то... Я случайно услышала, как он говорил, что кто-то на кого-то похож, процентов на девяносто. Не поняла тогда, кто и на кого. А уже здесь, в Питере, он как-то попросил меня кудряшки вот эти навертеть. Сказал, что так я совсем круто выгляжу А я, дура, и рада стараться. Вот с кудряшками хожу...

Юля наматала на палец локон, отпустила, локон упал, немного спружинил завивкой.

– Ну, не знаю... Может, это бред, и я все это... как говорится, надумываю, а все на самом деле бело и пушисто. Но я прочитала кое-что про этого Желудько, да и Олег болтал всякое... Он там с кем-то общается, они трут все время за политику, за прочее. Словом, этот миллиардер в опалу попал. Его мягко прессанули... Он вывернулся. Только махинации какие-то вскрылись. Словом, у парня могут не только его миллиард отжать, а отжать и жизнь его дурацкую. Вот он и решил финт такой провести: себя замочить в виде своего двойника, а сам слиться куда-нибудь на Фиджи. Там, говорят, весьма ненапряжно можно жить.

И тут она посмотрела на меня. И взгляд ее был необычный. Словно бы она увидела меня впервые. Словно бы перед ней открылось что-то новое, чего она до сих пор не могла видеть. Была

в ее взгляде какая-то жалость или, может, извинение за то, что сдернула с моих глаз приятную вуаль незаметного статиста.

– Ты хочешь сказать, что какой-то там Желудько решает таким образом свои проблемы?

– По крайней мере, пытается. В общем, меня Олег отыскал в Челябине и занялся мной именно потому, что я похожа на жену этого хмыря. А тебя нашли здесь. Прямо под боком. У тебя и прическа такая, как у него. Или ты стригся по инструкции.

Да, в одной из инструкций была картинка со стрижкой, которую мне нужно иметь для очередного заказа. Я пришел в парикмахерскую, показал картинку, и меня постригли.

Мы шли по пустынной Кировской вдоль ограды Таврического сада. Ни людей, ни машин. Темно, фонари, деревья над нами, романтика... И Юля уже не убирала руку, когда я прижимал локоть к себе. Но несмотря на это мне казалось, что мы идем по разную сторону ограды, что прутья решетки, мелькая, то и дело скрывают Юлю, размывают ее изображение, как будто она явилась мне во сне, как всегда странном, выворачивающем наизнанку занесенную в меня явь. И хотелось, чтобы это ощущение, необычное и все же приятное, длилось вечно – такой вот признак счастья.

И вдруг визг тормозов... И Юля рванула вперед, прочь от черного джипа, из которого выскочили трое – все те же темно-серые костюмы. Двое парней побежали за Юлей. Один протянул руку ко мне, и мне показалось, он словно бы хотел ухватить готовый вот-вот улететь воздушный шарик. И дальше что-то случилось... Помню, как схватил парня за руку и дернул его на себя, одновременно выставив вперед колено. Потом был удар дверцей – и еще один, что вылезал с места водителя, крикнул что-то и откинулся на сиденье. А дальше я понял, что бегу вслед за остальными, и в руках у меня пистолет. Кажется, его выронил тот, в джипе. Двое тащили Юлю обратно к машине. Увидев наставленный на них пистолет, остановились.

– Смена парадигмы, парни, – сказал я. И тут подумал, что похож на героя дешевого кинобоевика. Вот этой своей позой, этими словами, звучащими как шутка юмора. Я как будто наблюдал себя со стороны.

Потом происходило что-то еще. Кажется, я загнал парней в джип, забрал ключи... Умел бы водить автомобиль – поступил бы наоборот. Юля к тому времени убежала. Как я ее догнал, не помню... Помню, вдруг увидел впереди в свете фонарей длинную кофту Юли, потом она свернула в подворотню. Ворота, отделявшие двор от улицы, оказались открыты. В подъездную дверь был вставлен кусок красного кирпича. Мы вошли, я отпихнул кирпич.

– Испачкаешься, – сказал я, заметив, что Юля прислонилась к стене.

Мы сели на подоконник, однако быстро сползли вниз, чтобы нас не было видно с улицы. С потолка свисал провод, на нем болтался патрон с тусклой лампочкой.

– Да и черт с ним, – ответила Юля и привалилась к моему плечу.

– Жаль кофту, красивая. И тебе она вполне...

Я скорее понял, чем увидел, что Юля улыбнулась.

– А ты бы и вправду смог бы стрельнуть? – спросила она, кивнув на пистолет в моей руке. Я ведь так и бежал с ним по улице. Глупо было, наверно.

– Не знаю, – ответил я. – Если бы приперли, то... Не знаю. И сдается, что пистолет у них был один. И теперь он у нас.

– Странно это, не находишь?

Я пожал плечами.

– А Олег из них который?

– Тот, что за рулем сидел.

– Не жалко тебе, что я его дверцей так нехило...

– Что мне его жалеть...

Она взяла пистолет, покрутила, и вдруг из рукоятки выскочила обойма.

– Вот так фокус, – сказала Юля, подбирая пустую обойму.

Странно. Несерьезные какие-то ребята...

– Бесплезная штуковина, значит. Даже не поугаешь.

Я аккуратно полой куртки вытер пистолет и сунул его за батарею. Туда же сунул ключи от машины.

– И что теперь? – спросил.

– А ты ничего... – вдруг сказала Юля, глаза ее блестили в полутьме, отражая свет неяркой лампочки. – Я бы с тобой замутила, не будь...

– С нами и так что-то замутили, – сказал я. – Чего делать? Есть варианты? Можно попробовать ко мне добаться.

– Думаю, они и твою квартиру пасут. Лучше вернуться ко мне. Вряд ли они снова сунутся туда.

В подъезд на Шпалерной мы вошли не сразу. Сначала наблюдали за окнами Юлиной квартиры, высматривали лестницу через окошки лестничных пролетов. В конце концов решились. Мяукнул домофон, заставив нас застыть возле полуоткрытой двери и прислушиваться к малейшему шуму в подъезде. Потом были пять этажей. На лестничной площадке последнего всего одна квартира. Юля вытащила ключ, но потом, приложив ухо к металлической двери, нажала на кнопку звонка. И лишь затем вставила ключ в замочную скважину. Ключ не поворачивался. Дверь оказалась открытой. Кто-то побывал в квартире и ушел, не заперев ее.

Только перевернутый стул, валявшийся в середине комнаты, говорил о том, что здесь кто-то был. Все остальное, в том числе разбухшие от воды пельмени и недопитая бутылка коньяка, было так, как мы и оставили при стремительном бегстве.

Юля устало повалилась на кровать. Ее длинное стройное тело вытянулось на желтом покрывале. Полы горчичной кофты, черные джинсы, краешек полосатых носочков...

Заметив, что я смотрю на нее, Юля слегка подвинулась, словно освобождая место и для меня. Но я вернулся на кухню и глотнул коньяка. Так, кажется, должны делать настоящие герои, персонажи фильмов. Положить пистолет, вытереть пот со лба и, глядя на красотку под боком, приложиться к бутылке. Пистолет я положил несколько ранее – за батарею в незнакомом подъезде, пот со лба вытер перед входом в квартиру, красotka лежала сейчас на кровати... Коньяк обжег горло.

– И мне дай.

Я протянул Юле бутылку, она села на кровати. Я присел рядом. Она вернула коньяк, я снова глотнул, она взяла, сделала еще глоток, закашлялась, потом уткнулась лбом мне в плечо. Тишина в квартире, тишина за окном, звенящая предутренняя тишина. Я чувствовал усталость, но эти легкие кудряшки, нашедшие приют у меня на плече, как будто давали новые силы. И мне показалось, что все, что с нами было в эти вечер и ночь, – все это нереально, все это ненастоящее, придуманное кем-то, выписанное каким-то виртуозом пера, а настоящее – это вот слезка, покотившаяся вдруг по Юлиной щеке, вот этот всхлип, это ощущение случайного счастья, вдруг настигшее меня в чужой квартире... Я обнял Юлю. И как будто нажал на какую-то тайную кнопку – слезы в два ручья покатались из ее глаз.

– Ты знаешь... – сипела она, – у меня мать больная, там, в Челябине... У меня нет ничего... И Олег...

– Тише, тише... – моя рука медленно поползла по спине, по мягкой ткани кофты. Вниз, нащупывая твердый обхват ремня на джинсах. И вдруг я почувствовал щекой ее прохладную ладонь. Юля смотрела мне в глаза, последняя слеза таяла, теряя свой ночной блеск. Юля медленно повалилась на кровать, увлекая меня за собой. Кулон – сова, маленькая с двумя большими глазами, которые слегка пульсировали красным в полутьме комнаты, оказался перед моим носом, а затем соскользнул в сторону. Мои губы коснулись груди, небольшой, незаметной, и я услышал – будто неожиданно получив возможность слышать то, что раньше слышать не мог – шорох губ о ткань...

Юля вдруг резко прижала мою голову к груди, всего лишь на мгновение, которого, впрочем, хватило, чтобы я расслышал уханье сердца, частое, тревожное. Это длилось миг – Юля высвободилась, подошла к окну, сунула в рот откуда-то взявшуюся сигарету, щелкнула, не таясь, зажигалкой.

- Ты куришь? – спросил я.
- Иногда. Когда хочется спрятать волнение.

Она стояла возле окна, и я зачаровано смотрел на ее силуэт на фоне светящегося квадрата – тоненькая фигурка, скрытая кофтой, отставленная в сторону рука с исходящей дымом сигаретой. В правом углу, прямо по линии сигареты, заключенный в форточную раму огрызок луны. Он так и не выйдет, подумал я, из своей клетки, не вырастет в рябой кругляк и не сгинет в новолуние. Его могут только разорвать на части узкие перья облаков, и я вдруг увидел, как луну режет на несколько лоскутов неизвестно откуда взявшиеся лезвия ножей...

- Ты не боишься, что тебя заметят? – спросил я, сбросив наваждение.

Юля прислонилась к стене, там же у окна, слив свой силуэт с темным провалом стены. И только рука выносила в светлое пятно окна то и дело гаснущую сигарету.

– Когда сведут Литейный мост, переберемся на ту сторону, на Финбан. Первой же электричкой уедем в Лемболово. Там у меня дача, на первое время... Глянь в сети расписание.

- Они ноутбук забрали, – сказал Юля, и огонек снова вспыхнул у ее рта.
- Черт... А я внимания не обратил...

Мы молчали. Рассветная тишина за окном, воскресенье, сегодня день оживает позже, чем обычно. Мне снова захотелось той близости, что возникла и перестала быть между нами несколько минут назад.

– А ты не думал, – заговорила Юля, – никогда раньше не задумывался, что, натренировав нас как статистов, прикормив дармовым заработком, они когда-нибудь возьмут и пошлют нас на какую-нибудь бойню? На баррикаду... Пройтись по улице с тряпкой в руках, на которой написана какая-нибудь хрень. Делов-то...

- Можно отказаться. Скажи, что занят в этот день и все.

– Ты занят, другой свободен. А в следующий раз тот будет занят, а ты свободен. И потом, кто тебе скажет, куда и зачем тебя посылают. Ты ж статист. Твое дело следовать инструкции. Быть при каком-то событии. Но когда в одном месте собирается критическая масса статистов, то событие может быть именно в этом. В создании массы статистов. Не думал об этом?

– Ты знаешь, у нас все население – это статисты, которые создают легкий и непринужденный фон для кучки творцов реальности. Вот для таких, как этот твой Желудько. И ничего...

– Он не мой, он – твой. Потому что он – это ты. А я – Ольга, твоя жена. И мы можем так и остаться ими...

Юля затушила сигарету, поискала, куда бы выбросить окурочек. Открыла форточку с луной, окурочек улетел в утро.

– Моя младшая сестра, когда я улетала в Питер к Олегу, сказала мне... Ей сейчас семнадцать... Когда мне было семнадцать, я была просто дурой по сравнению с ней. Тогда еще с мамой все было нормально...

Юля замолчала. Как мне хотелось, чтобы она, моя жена, сейчас подошла ко мне, села рядом. Хотелось видеть ее глаза. Но она стояла у стены, пряча себя, свое тело, свое лицо, свои слезы в темноте, бывшей еще темнее от влетающего в окно утра.

– Она мне сказала... Сука ты, Юля... Хорошо помню, как она смотрела на меня. Как волчонок, который понял, что теперь он один на один с этим миром. Что теперь единственное, что у него остается, это клыки и когти... Нет, не было в ней ненависти ко мне. Это была злоба. У нее одиннадцатый класс и мать... Она была права...

- Почему?

– Потому что я сука. Я уезжала. А она оставалась. Вот закончила школу, теперь пойдет в продавищи в какой-нибудь магаз... Из тех, что торгуют всякой всячиной. Ей там в кладовке вставит хозяин. А откажется – вылетит со свистом. В другой магаз. А там своя кладовка, свой козел с немытым отростком... Не этот, так другой... И еще мать... Она уже забывает, что было раньше: завтра или вчера. И вот я, такая вся в лучах надежды, валю в Питер. Не сука ли?

– Нет.

– Я врезала ей по морде... Наотмашь так. Развернулась и вышла. Потому что еще немного, и я бы не выдержала. Не выдержала и никуда бы не поехала. И тогда мне бы вставили в кладовке какого-нибудь магазина... Потом ей звонила, отсюда, маме звонила, деньги какие-то посылала...

– Хочешь еще коньяка? – спросил я.

– Нет, не хочу... А то меня сейчас развезет...

Юля выглянула в окно и снова отошла в тень.

– Странность какая, – сказал я. – Пустая обойма... Кто берет с собой пистолет с пустой обоймой?

– А ты думаешь, нас прямо здесь хотели завалить?

– Ты же сама сказала...

– Я сказала, что кто-то хочет исчезнуть из этого мира. Подложив вместо себя наши мертвые тела. А как наши живые тела станут мертвыми – вопрос фантазии, и тут может быть все, что угодно. Упавший частный самолет, вылетевший на встречу «феррари»... Да любой несчастный случай. С дерева упали на случайно подвернувшиеся колья.

– Любая экспертиза установит, что это не их тела. ДНК и прочее.

– При нас будут документы и личные вещи. И никаких сомнений, что это за пара трупов. Пресса сделает свое дело, а родственники свое. И закопают наши тела на каком-нибудь далеком острове. И будут приезжать раз в год на наши могилки настоящие Желудько и его жена Оля. Изменившие свою внешность. И говорить спасибо.

И Юля вдруг засмеялась.

– Знаешь, будешь смеяться – я есть захотела. Черт...

Она сидела на табурете и прямо из кастрюли вилкой вылавливала разбухшие трупики недавних пельменей. Один, второй, третий...

– Вкусно, но недосолил, – сказала она. И я подумал, к чему это – недосолил, когда здесь все вот так, когда сидим мы двое в квартире на верхнем этаже и не знаем, что делать дальше.

И теперь я смотрел с кровати на нее, жующую остывшие пельмени, и думал про этот чертов пистолет, про тех парней, что так спокойно смотрели на меня у Таврического сада, и не боялись они направленного на них пистолета, но и вперед не лезли, про неполученное письмо, про сигарету, мелькавшую красным пятнышком перед окном... И вдруг такое же пятнышко забилося на наколоте на вилку пельмене, соскочило с него, прыгнуло на стену, запуталось в кудряшках Юли, метнулось на косяк дверного проема и в конце концов остановилось на Юлином животе, прямо на одной из огромных пуговиц кофты.

Пельмень соскочил с вилки, шмякнулся на пол, загремел, переворачиваясь, табурет... Мне казалось, что мы падали на пол целую вечность, пока маленькое инородное тело, выбивая из форточки ущербную луну, тихо проникает в квартиру, пересекает комнату, влетает на кухню и разбивает стекло стиральной машины. Как раз рядом с моей рукой, прижавшей Юлину голову к паркету. Десяток сантиметров вниз и...

– Давай отсюда! – рявкнул я, видя как пятнышко лазерного прицела ползет по стене, отражается от створки мутного стекла навесного шкафчика. Я толкнул Юлю в ванную. Сам прополз к кровати, стащил с покрывала куртку... Зачем мне она, на кой черт! Открытая дверь в ванную комнату частично закрывала входную дверь. Юля, закусив губу, шваброй пыталась открыть задвижку.

Задвижку открыл я, вывалился из квартиры. Юля на карачках поползла за мной, но вдруг остановилась, заметив красное пятнышко на правой руке. Пятнышко соскочило с руки, перепрыгнуло на стену. И Юля снова задвигалась к двери, как замороженная глядя на это пятно. И вдруг оно пропало. И Юля прильнула к полу, вытянув вперед руку, ко мне. Пятно снова появилось на стене, чуть ниже. Юля не двигалась, она только беспомощно смотрела на меня. Я схватил ее за руку и вытащил из квартиры. А потом захлопнул дверь.

Несколько мгновений мы смотрели друг на друга: теперь плохо верилось в упавший частный самолет или слетевший с обрыва «фerrари». Бежать!

И тут внизу хлопнула дверь, голоса. И по глазам Юли я понял, что вниз дороги нет. Нам не успеть добраться до спасительного окна, которым мы воспользовались в прошлый раз. Юля, стараясь не шуметь, поднялась еще на пролет вверх. Там была дверь на чердак, но она была закрыта: навесной замок, разболтанные петли... Я надавил плечом, петля сорвалась, я едва успел прижать замок рукой...

Чердак был низким, в дальней его части светлело окно на крышу. Справа мебельный хлам, пара старых ржавых велосипедов со спущенными камерами. Я наспех перегородил тумбочкой-развалюхой дверь, кинул следом велосипеды. Юля, согнувшись, двигалась к окошку. Под ногами шуршал песок, смешанный с керамзитом.

Возле окна Юля остановилась, дождалась меня.

– Ничего, – сказал я. – Пока они там в квартире все обшарят, пока поймут, что мы сюда залезли, пока дверь свернут, мы по крышам успеем уйти. Там же крыша? – я показал на окошко. Где-то там, за недавней баррикадой, хлопнула металлическая дверь.

Ветхая рама, скрипнув, поддалась. Юля выбралась на крышу, обернулась. На фоне светлеющего неба, стягивающего к краям, за крыши петербургских домов, облачную вязь, Юля выглядела фантастически. Легкий ветерок трогал ее кудряшки, профиль лица нежно вписывался в голубеющую бесконечность.

– Прости меня, – вдруг сказала она.

Юля смотрела на меня сверху вниз, взгляд странный, как будто прощалась со мной. И мне показалось, что она стоит на краю могилы, а я же – на дне этой самой могилы... Или я что-то пропустил? Из всей сегодняшней гонки что-то потерялось за пельменями и коньяком, за пистолетом с пустой обоймой, за теми парнями, что застыли возле джипа у ограды Таврического сада, за фотками, что мелькали перед моими глазами несколько часов назад.

– За что? За то, что ты заставила меня быть героем?

– Героем? – она отвернулась, словно слово это было ей невыносимо.

Кто-то ударил в дверь чердака. Мы побежали по крыше, под ногами гремели жестяные листы. Попытки влезть в другие чердачные окна, выйти в другие подъезды оказались безуспешными. Окна были заделаны намертво. Тратить время на выбивание рам бессмысленно, ведь из чердака доступного выхода могло и не быть. Оставался один путь – вперед по крыше. Но и крыша была конечна.

– Туда, – Юля показала направление. – Там можно попробовать перебраться на другую.

Первый из парней высунул из окошка чердака. И вот они – все четверо – один за другим вываливались из чердачного окна на покатость крыши. Одинаковые: темно-серые костюмы и короткие прически. Кто-то из них Олег, лица я его не запомнил. Впрочем, теперь это уже было все равно. Они искали нас. Мы им были нужны. Может, нас ждала яхта на Средиземном море, или частный самолет, или красный «фerrари», или конная прогулка на породистых лошадях. Как бы там ни было, яхта должна была утонуть, самолет упасть, «фerrари» свалиться в пропасть, а лошадей сбросить седоков под копыта других лошадей, которые непременно разбили бы нам головы.

Еще несколько метров, и крыша кончалась. За ней – пропасть. Другая крыша была в стороне. Соседний дом примыкал к этому как бы уступом. С небольшим, правда, захлестом, в метр, быть может, шириной. Места, чтобы приземлиться, как раз для одного человека. Была еще лестница, что шла по стене дома на крышу. Да, разбежаться и прыгнуть – два метра пролететь над пропастью в шесть этажей и...

– Нет! – крикнула Юля. – Мы не перепрыгнем!

– У нас есть выбор? Я прыгаю первым, ты – за мной!

– Нет! – страх в ее глазах. – Я... я... не могу...

– Тогда вместе, вместе.

Юля оглянулась назад – парни, как казалось, не слишком спешили, были уверены, что никуда нам с этой крыши не деться.

– Вместе!

– Погоди... Все не так!

Юля била себя щекам, словно желая вырваться из ужасного сна.

– Нет! Ты не понимаешь!..

– У нас получится. Мы прыгаем вместе, ты летишь на крышу, на тот угол, – я показывал рукой, куда должна была приземлиться Юля. – А я... а я – на лестницу, я зацеплюсь за нее. Ты знаешь, я в юности «солнышко» крутил на турнике, я смогу, у меня получится...

Парни остановились. Двое справа от нас, двое – слева. И два пистолета медленно поднимались, выверяя каждый свою цель. И вряд ли стоит надеяться, что в них были пустые обоймы...

И мы летим над пропастью, как в том самом фильме, названия которого я не помню. Перед моими глазами металлические прутья лестницы, ведущей на крышу соседнего дома, изгиб, вынос над уровнем крыши. На эту лестницу я и летел.

А Юля летела в другую сторону, и за ней... И за ней тянулась веревка, а навстречу ей с другой крыши тянулись чьи-то руки. Все это мелькнуло перед моими глазами за какую-то долю секунды, и я не понял, почему это так – откуда взялась веревка и как появились руки. И почему лестница, казавшаяся прочной конструкцией, отваливается от стены, и металлические прутья переламываются как спички, и я медленно лечу вниз, словно в каком-то вязком сне. Как будто теперешние секунды имели иное свойство, чем секунды прошлые, обычные, словно они были необходимой частью прозрения, проникновения в суть вещей. Быть может, так оно и есть, и это хорошо известный факт, и только я, лишь пролиставший, будучи не собой, Джойса, у которого в пяти с половиной сотне страниц уложился всего один день, не знал этого. И несколько последних секунд моей жизни, превратившиеся в долгий, если не бесконечный, полет с высоты шестого этажа, оказались будто другой жизнью, в которой сложился пазл, странный, невообразимый, фантастический. И в нем нашлось место и пульсирующему совиными глазами и каким-то внутренним сердцем кулону на шее Юли, и пистолету с пустой обоймой, и огоньку сигареты в окне маленькой квартирки на последнем этаже, и лопнувшему стеклу стиральной машины, и забитыми выходами с крыши, и фотографиям в ноутбуке. И частички этого пазла будут последним, что я увижу. А не увижу я много чего другого. Фотоаппарата в руках стоящего под стеной здания фотографа. Указательного пальца с холеным ногтем, нажимающего на кнопку спуска затвора. Сенсационной фотографии с подписью «Я и самоубийца», поднявшей на некоторое время рейтинг интернет-блога, на страничке которого она будет размещена, фотографии, на которой будет запечатлен автор блога, а позади него падающее на асфальт тело. Не увижу я и разочарования известного блогера, не услышу поток брани: столько потрачено бабла на то, чтобы сделать эту крутую фотку, а пост так и не вылез в топ, этим миром правят блять-дебилы и сука-уроды, а не реальные деньги! Не увижу я и того письма, упавшего накануне в мой почтовый ящик с инструкцией, согласно которой я должен прыгнуть на эту чертову лестницу, и ни слова в ней не было про то, что верхний ее пролет – лишь имитация лестницы. Не почувствую я и пополнения моего банковского счета за выполненную очередную работу статиста. И не узнаю, что куда большая сумма упадет на счет Юли, которая четко выполнит свою инструкцию, и это будет ее первая подобная работа не статистом, смелый ход, ведь не было специальной подготовки, однако был срочный заказ, можно отказаться, но это же ваш шанс, вы понимаете, и она не откажется, потому что у нее большая мама и неблагополучная младшая сестренка. И не увижу я, может быть, слез Юли, размазанных тонкой, почти прозрачной ладонью по щекам – хотя это вряд ли, бизнес, ничего личного, и никакой в помине смены парадигмы.

Иван ЧЕРНЫШОВ

ЗДОРОВЬЕ И ДИСЦИПЛИНА

Рассказ

*Контроль, отрицание и железная воля
(Основные принципы Здоровья и Дисциплины)*

Глава первая,

в которой мы знакомимся с Андрюшей Кульковым, джентльменом

Энергосберегающие лампочки выглядывают из плафонов, словно жала. На отвратительном диване, который весь пропитался потом, лежит больной, весь какой-то *выгоревший* Андрюша Кульков – ему стыдно и неловко. If I never see...

Ему приснился летний ливень; Андрюша наблюдал его в своей давно оставленной комнате – нельзя там было больше оставаться. Кому-то суждено умереть на чужбине. You can never go home. Will you still remember the man I was?

«Я теряю память с пугающей стремительностью. Так беспомощно мы глядим на черепки от случайно разбитой тарелки: прежде чем с сожалением выбросить их, мы в последний раз вспоминаем, что когда-то тарелка была целой».

Андрюша – крупный, но вместе с тем какой-то и тощий. Вроде бы наденет когда пуховик или просто пиджак – и представительный мужчина, а останется на кухне в футболке – и представительность улетучилась (как Елена Летучая).

«В детстве нам почему-то очень хочется и во второй раз сунуть руку в муравейник, это как в ту же реку пресловутую войти, пускай там и вода холодная, зато река та же самая».

У Андрюши толстые губы и смугловатое лицо, крупный нос и большие карие глаза. Даже волосы у него какие-то крупные, крупно пряди спадают, потому что Андрюша из экономии перестал стричься (по той же причине он перестал и бриться).

«Мой приятель (бывший) признавался, что хочет «открывать людям свою душу». Будь я менее зажат, я бы ему сказал: открывать – открывай, но всегда напоминай им, что это – музей, где ничего нельзя трогать, ведь окружающие обычно воспринимают чужую душу не как музей, а как туалет на вокзале».

Андрюше 26 (или 27, или 28), он ненавидит лежать, поэтому сейчас он приподнимается на скромной своей постели (Андрей Белый написал бы «на скромной постели своей», или нет, на «скромном алькове своем»), застывает в неестественной, напряженной позе и оглядывает свои владения, потихоньку предаваясь воспоминаниям.

Иван Чернышов родился в 1992 году в Тюмени. Кандидат филологических наук, закончил ТюмГУ, защитил диссертацию в МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий специалист отдела информационного обслуживания областной универсальной научной библиотеки, ведущий литературного проекта для молодых литераторов Мурманской области «Школа критики». Автор книги прозы «Работа над ошибками». Публикуемый здесь рассказ получил диплом 1-й степени в номинации «Проза» на 15-м литературном форуме имени Николая Гумилёва «Осиянное слово» (2019).

«В туалете на вокзале. Сейчас поедem. Мы, таличане, веселый народ. Золотой дождь лил и лил, лилилил. Мантрой повторяешь: “он же больной парень”. Болезнь и извращение – двоюродные братья. Не то чтобы совсем близки, но и друг другу не чужие. А что такое извращение? Извращение – это то, что мне не нравится.

Начальник туалета на вокзале. Носит ли фуражку? Здесь силовиков полно, их начальство и в штатском опознаешь. Головы как булки хлеба. Обычно без головных уборов. Носят *польты* с *воротниками* и брюки в полоску, о дороговизне которых говорит тот факт, что они ровно сидят на ногах и не скатываются в гармошку».

Временами Кулькову в голову вселяются фантастические картинки, рисующие его не Андрюшкой совсем, а каким-то другим человеком. Таким, какой он есть, он себя не принимает и не любит; сравнивает себя с Обломовым, на ячмень тоже недавно грешил, но, слава Богу, прошло.

«Я американский республиканец, могу себе позволить снимать дом, женат на женщине пинапной внешности. Мы едим много мяса и ходим в церковь. Я будто чувствую руку Иисуса на моем плече. Он всегда одобряет мои поступки, жить радостно и легко».

В квартире у Андрюши мебели нормальной нет вовсе. Съemная эта квартира дорогая бесcовестно, но более-менее просторная и почти в самом центре, минут пятнадцать пешком до центра (двадцать, двадцать пять). Андрюша сейчас живет в городе, где триста тысяч человек народу, так что вы можете себе представить примерно, в каком районе он живет (вы уже знаете: почти в самом центре).

«“Стоик” – не значит “терпеливый человек”. Стоик в любой момент готов на самоубийство – а это-то и выдает в нем человека нетерпеливого. Импульсивного даже».

Андрюша поднимается с постели, надевает носки из верблюжьей шерсти, поверх них еще носки из собачьей шерсти (на которых и вышиты хаски), потом (именно в такой последовательности и с некоторыми затруднениями) надевает синие кальсоны и бордовую кофту с узорами, какие на коврах встречаются обычно – и вновь становится представительным.

«У меня осталась obsессия выбирать третий слева товар на полке. Тяжелая голова как у ВСДшника. Этот диван надо было выбросить лет десять назад. Выхватывание одного предмета, даже если это бутылка воды конкретной марки, все же несет некую неопределенность, “невписанность”, оторванность от реальности. Поэтому есть неопределенный артикль: какая-то бутылка, какая-то пачка чая. Единичный предмет – это король в пижаме».

Если бы мы относились к Андрюше свысока, с иронией, то сейчас пошутили бы, что он-то, конечно, король при полном параде. Но сегодня мы чертовски серьезны, потому что хотим заработать себе *репутацию*, а будучи серьезным до судорог и зубной боли, ее зарабатывать легче всего.

Из мебели у Андрюши вот этот разбитый диван, два стола, компьютерный и письменный, тоже сломанные: из компьютерного выдвигающаяся эта доска для клавиатуры с мышкой не выдвигается, а у письменного ящичек один заклинило (туда-то, как назло, у Андрюши заначка была положена, и сколько раз уже хотел ломать до конца стол, лишь бы деньги высвободить, но все пугаете: столик-то хозяйский, а хозяйка узнает, надает ему люлей – не иначе, не иначе никак).

Еще у Андрюши два мягких кресла, на них в ы х о д н а я одежда вся свалена. Из своих *предметов интерьера* у него только гитара, спасенная из комиссионного, и статуэтка, где три обезьяны что-нибудь да друг другу закрывают: одна закрывает другой глаза, вторая закрывает третьей уши, третья закрывает первой рот... короче, очень *аллегоричная* статуэтка, которую Андрей по весьма приятной цене купил в магазине подарков на углу Ленина и Профсоюзной. Погуляв по комнате с минутку, Андрюша скидывает разом все свои носки (холодно так потому, что дверка балкона старая и не закрывается толком, так что балкон фактически все время будто приоткрыт), потом надевает назад верблюжки, натягивает джинсы, куртку, шарф, шапку, ботинки, выходит в подъезд, запирает квартиру, трижды перепроверяет:

«Закрыто-закрыто-закрыто»

и практически бегом устремляется на волю.

«Идешь по улице и испытываешь разочарование от жизни, если наблюдаешь “дисбаланс”: насколько “не вписана” в пейзаж, в реальность вот эта машина, вот этот прохожий, да и я сам.

Нехватка гармонии, рассматриваешь мир как замысел (дизайн), но “невписанные” объекты служат свидетелями того, что замысел отсутствовал».

А пока Андрюша гуляет, мы вернемся в его квартиру и продолжим осматривать ее, ведь ничто так не объясняет человека, как жилплощадь, которую ему приходится снимать. В ванной у Андрюши стоит пемолукс, и, если хозяйка его увидит, ее лицо исказится гневом: «Как же так, Андрей? – спросит она. – Мы же договаривались, что ты будешь мыть ванну Fairy! Ты же этим чистящим всю эмаль мне сцарапашь! Что ты такое грязное там моешь, чтобы после тебя пемолуксом надо было чистить?»

Андрюша болен – чем именно, я точно не знаю – и, конечно, шутить тут не над чем. Если он болен ипохондрией, то и она прощительна, ведь иной раз так хочется умереть – порой в окно достаточно выглянуть, чтобы умереть захотелось.

Но хоть я и стараюсь быть серьезным повествователем, хандрить при этом мне все равно не хочется. Я мечтаю и сам как-то на ноги подняться, и вас возвысить в *Geistesbereich* куда-нибудь – а как это сделать, если не через юмор? Жизнь пока не научила меня другой реакции, так давайте же не грустить! *Primum vivere, carpe diem*, эт самое.

«Насколько мне удалось отстраниться от своей жизни? Никогда не хотелось быть собой; желание анонимности – желание свободы. Мне не были нужны новые знакомства, диким гнетом на меня давили старые. Почему-то у меня искали ободрения, и я пытался ободрять моих друзей. Ободрял друга перед операцией на мозге, хотя так и подмывало написать со злорадством, что у него-то операбельный случай, а я от моей болезни могу умереть в любой день. Мысли у меня всегда противоречили словам. Когда появлялся собеседник, мне было перед ним неловко».

Под столом на кухне у Андрюши лежит сломанный принтер, Кульков за завтраком складывал на него ноги, а завтракает наш Андрон самой дешевой кашей «Четыре злака», скидывая недооцененное в раковину, отчего она через день засоряется. На обед Андрей ест шаурму, поглядывая ютуб.

Собственно, сейчас он эту шаурму покупает, возвращается домой, разогревает свой обед и кушает очень меланхолично, после чего, борясь с отвращением, возобновляет работу над диссертацией о роли *Сяси* в «Преступлении и наказании». Надо спешить, ибо скоро *конференция*, где надо будет что-нибудь да *апробировать*, а *апробировать* пока совсем нечего.

«Перед возвращением к застарелой – можно ли так сказать? – работе мешкаешь; не хочется надевать пиджак, в котором ходил на ЕГЭ. Он короткий; я смотрюсь нелепо, школьники вообще смотрятся нелепо, они носят кеды с бруксами.

Инбридинг мыслей какой-то. Стремление к строгой и холодной ясности, ведь в жизни, в работе все так неопределенно. Стремление *построить* текст – о доме-то и мечтать нечего! Здоровья и дисциплины – вот чего хочется. *We are doomed (at least I am)*. Память ухудшается катастрофически. Я теряю частицы своей жизни; так с дерева еще летом опадают первые листья».

Сосед Кулькова сверху будто чем-то по полу стучает, ну как будто стулом. Походит тяжелыми шагами, потом еще постукает. Кульков на это сердится и делает погромче стрим, на котором говорится о жизни в тюрьме – Андрюша слушает его фоном и изучает роль *Сяси*. Сосед тоже усердно возится, к вечеру оба стихают, и Андрей идет в супермаркет за пиццей, возвращается, съедает пиццу и ложится спать, не почистив зубы, а во сне он видит лето, родной дворик, дверь в родной подъезд, солнце, деревья, уже чувствует вкус щавеля с дачи – вот он сейчас придет домой, а там этот щавель намыт, весь для него – и хочет, хочет Андрей зайти в подъезд, но нет – он *в компании* каких-то вроде знакомых старичков, и *вынужден* пройти мимо.

А ведь дома его ждет мама!

На другой день все, в общем-то, повторяется, только вечером сосед слушает подкартавливающего на невиданной громкости Алексея Казакова, который признается, что ему скрывать нечего,

и он только рад, если за ним спецслужбы следить будут, а Кулькову это все отчетливо слышно, и он гадает, голый ли Казаков по телевизору выступает, или все-таки немножечко одетый.

На третий день Кульков вот-вот почти определяет исключительную роль *Яси*, но его мысль будто оскопляет сосед, включивший перфоратор. Андрюша хочет идти ругаться, но вдруг понимает, что физически не в состоянии этого сделать – не слушается его тело, как в ступоре каком-то, одно сожаление только, что мысль умертвили. Затем Андрей понимает, что сосед, в общем-то, имеет право сверлить, ибо еще 23 часов нет, вспоминает совет из текста, который надо было переводить по английскому, где не рекомендовалось работать дома, потому что это приводит к *extreme exhaustion, and often causes depression and asthenia, especially among PhD students*, и решает записаться в библиотеку.

Андрей долго кружит по чужому городу в поисках фотостудии, чтобы сделать фото для читательского билета (электронные билеты тут внедрены не везде), но находит разве что торговый центр с кофейным автоматом и на том успокаивается, покупая эспрессо. Умершая мысль как будто начала возрождаться, будто показался самый ее краешек, неявно обозначился некоторый намек, и Кульков, проливая кофе на куртку, бежит домой, затем, боясь еще больше, что мысль не возродится, вынимает телефон и надиктовывает этот *мысленный краешек*, после чего возвращается домой уже спокойно, а там и сосед сверлить перестал.

Мы не приводим расшифровки этой записи, поскольку она сделана совершенно неразборчиво. В качестве компенсации здесь, на предполагаемом месте расшифровки аудио Кулькова, будет неточная цитата из Бахтина: «Быть чужим в этом мире – это право».

Глава вторая,

в которой Кульков намеревается ругаться с соседом

В два часа ночи сосед включает танцевальную музыку, и Кульков, как-то сильно обрадованный тем, что это происходит уже после 23 часов, спешно одевается и бежит ругаться, но весь азарт мгновенно стал сдувать *слой фактов: тамбур закрыт*, у предполагаемой квартиры соседа нет звонка, либо это не его звонок, потому что не указан номер, да и номер-то квартиры можно вычислить лишь по аналогии, а Кульков знает, что в этом городе есть привычка все нумеровать *от балды*. Поэтому Андрей ходит по лестничной площадке, водит плечами и *натаптыкает* невысушенной после похода за пищей обувью (вечно-то он следит-наследит!), все хочет позвонить соседу, но рука его словно приклеилась к туловищу, так что Кульков хочет уже носом нажать на кнопку звонка – лишь бы хоть так победить свою трусость – но трусость не сдастся, и Андрей меняет тактику: он спускается, звонит по домофону и выясняет, что у соседа нет и домофона. Вернувшись в квартиру, раздевшись и накрывшись с головой шерстяным одеялом, Андрей примерно до шести утра слушает видеоблог про тюрьму в наушниках через мобильное приложение ютуба, после чего ложится спать – и не может уснуть, потому что саундтрек наверху сменяется на эго-ориентированный русский рок, – Андрей читал научное исследование текстов русского рока, где убедительно и блестяще-неотразимо доказывался отрыв рокеров от народа, потому что в их текстах наблюдается превалирование *я* над *мы*.

Но вот, похоже (чутко прислушивается Андрюша), кто-то другой пришел ругаться, там будто один мужчина, две женщины и собака, и ругаются, и ругаются, и вот как будто еще один мужчина к дискурсу подключился. Андрюша рад, что проблема решается без его участия, и ему наконец-то удастся заснуть.

Проснувшись после полудня и обуреваемый жадой скандала, тем более что теперь, когда кто-то другой уже успел обрушить основную критику, Андрюша чувствует себя в относительной безопасности. И вот Кульков оделся и уже звонит во все звонки тамбура, и (звони – тебе откроют) ему открывает сосед соседа. Это невысокий желтоволосый и желтобровый парень лет двадцати двух (трех, четырех), с длинными ресницами, до сих пор с прыщами и, как говорится, с прищуром. В салатовых бриджах, которые ему, возможно, подарила девушка или мама, и в серой футболке без надписей. Они с Кульковым маленько беседуют.

– Не знаю, кто там живет. Я его даже не видел, – говорит. – Соседа вообще еще никто не видел. Эдак вот загадочно.

А Кульков признается, что он раздражительный очень, и ему все вокруг мешают, и кутежи в шесть утра мешают.

– А ты что, диссертацию пишешь? – со смешком, с юморинкой сосед соседа спрашивает.

Как мы уже знаем, Кульков-то как раз пишет, а *еще и в этом* признаваться отчего-то неудобно. Андрюша вновь *сникает* и уходит (не прощаясь), и вдогонку ему несется еще один смехок. Выходит на улицу, у подъезда кошка

«мне кажется, у меня животная душа, мне нужно только настоящее, а не перспективы, мне хочется только есть, спать и покоя – и вот я у всех животных в глазах вижу душу свою, даже с нарисованными животными себя больше отождествляю, чем с парнем в зеркале

голова у меня так заболела, я купил нурика, раньше-то эн плюс, я помню, рассказывали ребята, как отбивать; мне это было интересно. Они о себе рассказывали, я удивлялся, сколько у нас общего. И это с такими-то ребятами, они же совсем пропащие, да и я такой же, да

I've been waiting for a guide – как *им* объяснить, что я оказался в чужом, в *вашем* мире, именно поэтому мне и нужен гид – вы-то учились без гидов, сами набивали шишки, а я хочу выучиться на ваших ошибках – нет, нельзя, они ревнуют. Мы ошибались – и ты ошибись. Какая уж тут преемственность знаний? Больше того! Они говорят: мы страдали – и ты пострадай. Еще больше того: Бог терпел и нам велел – кому же велел, для кого же Он сказал тогда: *да минует...*? Это у них мазохизм, причем этот мазохизм проповедуют люди, поставленные передавать знания!»

Постепенно наш протагонист переходит к рефлексии о своих напряженных отношениях с научным руководителем, а я – к размышлениям об Андрее Белом, потому что транслировать мысли Кулькова про научного руководителя здесь точно так же неуместно и к делу не относится, а значит, этот временной промежуток может быть без ущерба заменен чем-либо еще.

Андрей Белый пишет так, будто до него на русском никто не писал, все притворяется, что так писать можно – а попробуйте-ка, прочитайте это вслух! А потом попробуйте прочитать вслух меня. Ну? Я же лучше Белого!

Впрочем, мои тексты пахнут филфаком – другие писатели пахнут иначе:

- Тургенев – *нихтой*;
- Сорокин – *шашлыками*;
- Эдуард Лимонов – *щами*;
- Шукшин и Шолохов – *сеном*;
- Гоголь – *приправами*;
- Астафьев – *рыбой*;
- Пелевин – *картошкой фри*.

Да вообще многие мои ровесники не хотят нюхать такое всякое, но тут не гносеомахия («меньше знаешь – крепче спишь»); нет, это стремление поставить фильтр, стремление к здоровью и дисциплине, мы перегружены информацией, мы строим против нее баррикады.

«По лесенке поднимаюсь, тут в арочке прямо лесенка, все время боязно, что навернешься, сколько... нет, я хотел сказать “скользко”, скольз-с-ко – иногда трудно вырваться из порочного герменевтического круга, я хотел сказать, из неверного понимания, которое уже могло укорениться. Скрипка-лиса, или там, когда я в школе услышал фамилию “Нехлюдов” и на пол-урока залип, соображая, кто тогда, если не Хлюдов.

Затем – еще одна лесенка, какая-то крутая, одни ступеньки узенькие, а другие как плиты как будто. Для чего было нужно строить город в таком неприглядном месте? Вот у нас везде плоскость, если тебе куда-нибудь надо идти, иди по прямой, потом на девяносто градусов поверни. Все прямо, все резко (и ведь это страшно импонирует!). Наш человек – прямой человек, свободный человек, честный человек *en masse*. Если он тебе не рад, то так уж даст понять...»

И Кульков отчего-то сердится и поворачивает домой.

«Нервы так напряжены, что только тронь меня кто-нибудь, и случится истерика. Здоровье и дисциплина. Жестокость и несчастье».

Днем Кульков и Сосед Соседа снова в подъезде пересекались, Андрюша рекламные газеты из ящичка своего доставал, а Сосед Соседа вышел с такой гулять. Снова они поговорили немножко, снова Андрей на соседа жаловался, хотя вроде пока больше поводов не было, а сверх того признался, что действительно диссертацию пишет, и шум его угнетает уж больно.

Как тут Андрюшин собеседник заулыбался! Кульков посмотрел – и видит: солнечная у него улыбка, солнечная. В том смысле, что зубы желтые. Как Солнце. Вот.

– Ну... и о чем же диссертация?

– О Достоевском, – выговорил Андрюша и галопом устремился в квартиру – до того вдруг стало стыдно.

С этих пор у Кулькова возникли подозрения, что Сосед Соседа *караулит* его со своей таксой. Ибо и на другой день, уже, правда, под вечер, они *пересеклись* во дворе (Кульков за пиццей пошел, хотел сегодня мексиканскую взять):

– Диссертацию все свою пишешь, про Достоевского? Как она двигается?

Кулькову очень хотелось ответить: «Как Бейонсе, виляя бедрами», но зажатость давила на него, и он ответил: «Не двигается» (что, в общем, тоже было правдой).

– А ты ленишься, наверное, потому что. Уделяй ей по полтора часа в день.

Вот так самодовольно говорил, а такса его нюхалась неподалеку где-то. Кульков моментально оскорбился.

«Он же меня не знает, почему, для чего утверждать, что я лениюсь?»

Тут Сосед Соседа стал нравоучительно расписывать, как он пленки на телефоны в торговом центре клеит – и никогда не ленился, никогда!

Андрюша кое-как снова разговор на шумящего соседа перевел. Добавил, что слабо представляет, как может такой человек выглядеть. Сосед Соседа согласился и заявил, прищуриваясь:

– О, соседа нельзя увидеть.

– Как это?

А тот пожал плечами и прекратил разговор. И хорошо на самом деле, потому что Кулькову было отчего-то невыносимо произносить последнюю дежурную реплику, которая все равно останется без ответа, но которая нужна для формального завершения коммуникации.

«Не могу я быть благодарным, лучше пусть про меня говорят плохо, чем считают, что на меня можно рассчитывать», – размышлял Кульков, поедая пиццу.

Слайды к презентации готовы, и Кульков решает вознаградить себя, устроив акустический концерт. Он достает гитару, быстренько ее настраивает – и играет сам для себя. Вот какой у него репертуар:

01 *Death in June – All Pigs Must Die (Em G Am C G)*

02 *Current 93 – Oh Coal Black Smith (Em C)*

03 *Death in June – Death of the West (Am C Am D)*

04 *Nick Cave and the Bad Seeds – O Children (Em C Am G D)*

05 *Death in June – Rose Clouds of Holocaust (Em C G Am C)*

06 *Nick Cave and the Bad Seeds – Jesus Alone (G)*

Как видите, очень маленький.

После концерта мысли Кулькова приобретают мрачный характер.

«Есть по меньшей мере три популярных способа, обещающих безумие: но первый отвратителен эстетически и затруднителен технически (способ “манкурта”), а второй и третий способы я проверял. Заявляю ответственно: они бесполезны. Второй – это китайский способ, который пробовал наш любимый артист Епифанцев (капелька на темечко капает), а третий – это который

Достоевский предлагал: пять минут на себя смотреть в зеркало в пустой комнате, именно в глаза себе... Хорошая пара сложилась: Епифанцев и Достоевский! Да... в метании между верой и нигилизмом за веру агитирует страх смерти, а за нигилизм – разум и авторитеты (даже Епифанцев, и тот авторитет)».

Мрачный характер мыслей усугубляется внезапной болью в желудке, Андрюша медленно кладет гитару на пол, видит, как трясется и вместе с тем самопроизвольно сжимается его ладонь, столь же медленно дотрагивается до живота, сперва только кончиками пальцев, но затем и всей ладонью, начинает то гладить живот, то постукивать по нему пальцами, словно в оцепенении, но вот оно проходит, Кульков глотает панкреатин и как во сне идет в супермаркет, где покупает *суп из пакета*. Возвращаясь, Андрюша его готовит и затем долго ест без хлеба, вспоминая, как ел такой же в детстве на даче, кастрюля стояла на крохотной плитке, он даже и ел прямо с плитки, и от мучительной ностальгии слезы Кулькова одна за другой падают в суп.

У соседа лает собака, раздаются как бы сдавливаемые крики, затем, спустя очень непродолжительный промежуток времени, кто-то начинает яростно дергать за ручку двери Кулькова. Андрюша вновь впадает в своего рода ступор, но дверь, к счастью, остается целой: чей-то уверенный голос заявляет: «Женя, нам не сюда», и ручка дергается в последний раз, после чего, опять же, спустя непродолжительный промежуток времени, уверенный голос отчетливо звенит уже из квартиры соседа.

Андрюша решает, что как-либо воевать с таким соседом – себе дороже, и смотрит вечером поучительный фильм Романа Полански «Жилец», примеряя там все на себя (кроме платья, конечно, ибо не было под рукой). После фильма Андрюша чувствует, что он ужасно грязный, и идет в душик, предварительно вымыв ванну запретным пемолуксом. Наверху все это время продолжается разгул веселья.

«Я люблю смотреть в ванной, как с меня грязь сходит, как я ее смываю, и вот она уже на дне ванны, а была на мне, так и понимаю, что теперь чистый. Или я видел фото, как из мужика достали червя-паразита огромного, и мужик рядом с ним ложится сфотографироваться – они примерно одинаковые по длине получаются: вот, мол, какая дрянь во мне жила, а теперь достали, и я могу спокойно рядом с ней лечь. Или вот когда Рогожин с убитой Настасьей лег...»

Окатившись, Кульков испуганно смотрит на свое щедедушное размытое голое отраженье в запотевшем зеркале.

– Мама, это же я! – вырывается у него вслух.

После чего Андрей много-много раз моргает, с усилием наклоняет голову вниз, замигивается и пытается нащупать рукой полотенце. Проходит тридцать секунд. «It's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx, it's a jinx». Кажется, отпустило, паническая атака подавлена – и наш герой goes to take a nap.

Во сне Андрюша видит Научного Руководителя; в ответ на вопрос Кулькова о роли *Сяси* он начинает пересказывать сон про забитую лошадь.

– Это не совсем по моей теме, – заметил ему Кульков.

– Какая разница? Главное же – эффекты, эффекты! – ответил Руководитель. – А вот и Марья Павловна, смотрите!

Тут к Кулькову подошла горбатая старуха и начала его душить.

Глава третья,

в которой Кулькова навещают

Андрюша просыпается не столько потому, что увидел кошмар, сколько из-за горлопанящих шансон соседей, и ему кажется, будто в караоке-вечеринке участвует и Хозяин Таксы. Кульков мечтает то отомстить, то переехать, догадываясь, что ни того, ни другого не сделает. Где-то к двум часам ночи голоса соседей воспринимаются Андрюшей уже совершенно как животные, и

он, словно неохотно, переходит к этой теме рассуждений, попутно, перебивая свои мысли, уверяя себя, что соседи – наркоманы.

(NB: Тяжело после Булгакова писать на тему плохих квартир.)

Кульков чувствует голод, отчего вскакивает с постели и идет на кухню, где жует засыхающий хлебушек, заедает его долькой шоколадки, после чего решает скушать еще один кусок засыхающего хлебушка.

«Надо убить послевкусие. Вкус не должен держаться», – думает Кульков, пока соседи *топают* у него над головой – тоже, видимо, на кухню переместились, и Андрюша уверен, что переместились они *вслед за ним*.

Следующие десять минут Кульков ищет у себя в квартире скрытые камеры. Он обеспокоен, что все знают о нем нечто секретное.

«Нет, давайте разбираться: ни одного постыдного поступка я не припомню», – приходит к оптимистичному выводу Андрюша, и в течение получаса он с удовольствием слушает музыку соседа, пока сосед не включает «Шелковое сердце», что вызывает в душе Кулькова припадок ностальгии, в который незаметно вклиниваются апокалиптические нотки.

«Почему то время было хорошим? Мы меньше знали. Нет, причина не в этом. Тогда не знаю. Может, тогда мы еще надеялись на что-то, а теперь – уже нет. По радио один главврач, по чистой случайности одновременно и депутат, совершенно серьезно несколько раз пожелал слушателям верить в чудо. Уж только на чудо и осталось надеяться, что некий как бы ураган придет, снесет все это ми...роустройство, разорит этот му...равейник и... нет, лучше вовсе не жить, чем жить так, как я».

От последней мысли Кульков внезапно впадает в ярость: он хватается на кухне стул, врывается в комнату и начинает истерично стучать ножками стула по потолку, призывая соседа прекратить кутеж. Остановившись примерно секунд через тридцать, Андрей прислушивается и понимает, что музыка будто стала только громче, а прекрасно выбеленный потолок теперь украшен значительными косметическими дефектами, а кое-где от ударов ножек остался круглый черный след.

Андрюше хочется рвать на голове волосы – сколько-то Хозяйка за смену потолка потребует! – и эта свирепость побуждает нашего героя наконец набрать полицию.

Когда полицейские приезжают, кутеж наверху еще продолжается. Молоденькие и невероятно спокойные лейтенант и сержант проходят в комнату (свет Андрюша решил не включать, чтобы скрыть следы на потолке), кивают, подтверждают Андрюше, что там шумно, выслушивают его историю, как он ходил, звонил, но не дозвонился, и изрекают:

– Вы понимаете, мы больше вас сделать не можем, – это изрек лейтенант.

– Раз он вам не открыл, то и нам не откроет. А без ордера вломиться нельзя, – поддакнул сержант, едва заметно выделив слово «вломиться».

– Но мы составим рапорт, – успокоил Андрюшу лейтенант.

– Составим рапорт, – подтвердил сержант.

– Участковый разберется, – заверил лейтенант. – До свидания.

– До свидания, – попрощался Андрей.

На следующий день недовольство Кулькова возрастает из-за еще одного *посещения*. На этот раз к нему в дверь звонит рабочий, делающий ремонт в подъезде, и просит позвать *Хозяйку*. Кульков бесится неопишимо и боится до спазмов в желудке, переживая, что придется возмещать ущерб за потолок.

«Конечно, ему подавай хозяйку! Я-то, мол, ясно, что никто, даже сквозь дверь понятно. И не хозяина – хозяйку! Дожили до того, что бабы всем управляют!»

И работа над *словом* останавливается, Андрей, заложив руки за спину, ходит по комнате и мысленно возмущается, ругая того, кто открыл этот ящик Пандоры, называемый «равенство», сердится на активисток разных движений, что им нечего больше делать, кроме как бороться за право называться автор_ками и редактор_ками (что это чисто фонетически коряво, им, конечно, дела нет –

*Они не видят себя
Они не слышат себя
Они не знают дела)*

– и настроение портят одним своим существованием.

«Они все извращают, переворачивают. Победу полтора баб в шахматы выдают за преимущество, будто одна эта победа в шахматы разом все достижения другого пола опрокидывает. Эх, неужели они не понимают, что если мы вернемся к традиционной семье, то сколько дела, сколько перспектив разом появится, работа эффективнее пойдет, а сколько сэкономится денег, ликвидируется столько лишнего, интернет очистится от тонн пустого контента, и эти высвобожденные деньги мы на борьбу с раком, старением направим... и как рождаемость повысится!.. Нет, может быть, конечно, сначала этот реакционный шаг ударит кризисом, но уже через поколение все компенсируется качеством. Стоит нам только вернуть традиционный уклад, и уже через поколение мы уже увидим научные прорывы, продолжительность жизни вырастет – уже хотя бы потому, что в жизни будет намного меньше стресса», – строит утопический проект Кульков.

Днем к Кулькову в дверь звонит пожилая и очень скромная толстая женщина, седая, но с густо накрашенными красными губами и шрамом чуть ниже правой ноздри, так что при желании она могла доставать до шрама языком и облизывать его. На голове у нее старый красный пуховой платочек, а в руках несколько газет, видимо, вынутых из чужих почтовых ящиков.

– Это вы в милицию жаловались?

Толстых бабок Кульков не боится и потому смело отвечает:

– Так это вы там без конца буяните?

– Вы что?! Не мы! Я – хозяйка квартиры над вами. У нас уже год никто не живет. Это, наверное, через этаж хулиганят, а вам отсюда слышно.

Кулькова настолько сердит слово «хозяйка», что он не догадывается попросить доказательств – показать ему эту проклятую квартиру – а просто клятвенно обещает толстухе всякий раз теперь вызывать полицию и, возможно, даже подать на *них* в суд.

Вечером в дверь раздается еще один стук... стоп, подождите, нет. Это первый стук, а до того были звонки. Кульков почему-то уверен, что это снова рабочий, злость у него за день накопилась, и он, не глядя, отпирает, а на пороге стоит совершенно не рабочий, а лицо, можно сказать, почти интеллигентное, свеженькое, лет тридцати пяти (четырех, трех) без шапки, с лицом, выбритым до порезов, в коротенькой курточке, в брюках вместо джинсов и в туфельках не по погоде, в штиблетиках таких.

– Здравствуйте, – говорит.

– Вы к кому? – настораживается Кульков.

– К вам, к вам, конечно же, к вам, – радостно отвечает лицо, снимая перчатки *на рыбьем меху*.

– Ко мне? Вы кто? – Кульков вспоминает, нет ли под рукой чего-то тяжелого, вроде бы был зонтик, но им особенно не выгонишь.

– Да я, как бы сказать... – мнется лицо, переступая так, будто, *salva venia*, просится в уборную. – Но впрочем, чего ж вы меня не пускаете? – с неожиданной обидой завершает реплику гость.

Кульков в очередной раз за день оскорбляется и уже почти закрывает дверь, но человек (низенький такой) проворно хватается за ручку со своей стороны, нагло тянет на себя и сыпет при этом словами как бабушки семечками, кормя голубей:

– Не закрывайте, я не с того начал. По поводу соседа вашего сверху, тут есть дело... мы жаловаться хотим, думали, и вы бы тоже, вас наверняка тоже этот шум достает, а я не знаю вашего имени, поэтому на *вы* да на *вы*, а по возрасту и тыкать бы можно.

Кульков задумался: и рад признаться, как мучает его сосед, а в то же время и гордость, хочется показать перед незнакомцем, что он живет без проблем.

– Мы выяснили, что его зовут Моджахамедов Магомед Гамедович, – каким-то полушепотом возвестил гость, неуместно подмигнув при этом, так что Андрюша заметил, что глаза у посетителя голубые и холодные – точь-в-точь глаза Пушкина.

– Да бросьте вы, я ясно слышал, что он Евгений, а такой фамилии быть не может, и отчества такого нет, – презрительно брякнул Кульков.

– А, Евгений, ну и хорошо, – гость поспешил согласиться, сунул перчатки в карманы и теперь приглаживал немытые темные волосы. – Наши источники ненадежные... так что? Обсудим, как нам лучше действовать? До него ни дозвониться, ни прийти... я, может, зря вот так пришел... но как еще прийти? Давайте я в другой раз приду, назначьте время. Надо ведь что-нибудь с ними делать. Полиции он не открывает, я уже вызывал.

«А что он предлагает?» – Андрей вспомнил поучительные сцены из «Жильца» и «Нашей Раши», но озвучить не решился.

– Да вы-ы... собственно, кто? – вырывается у Андрея вместо остроты.

– Я, в общем-то, музейный работник. За прожиточный минимум работаю, – разоткровенничался гость. – В другом регионе родился... ну это... я привык. Но сосед... квартира сверху, она же не приватизирована, нет у нее никакой хозяйки. Она государственная! – последнее предложение гость выпалил полусшепотом и с каким-то довольным выражением лица. – Ее под музей... как сказать... отрядили... определили... полиция приезжает, не можем выселить его, он просто не открывает. Ждем ордера, чтобы полиция могла дверь выломать. Но пока суд да дело... а мы, знаете, там развесим полотна... Маковского повесим, к нам поступил недавно. Подлинник! Подлинник! – с этими словами посетитель достал из внутреннего кармана куртки несколько бумаг и развернул их. – Николай Ярошенко еще поступил. Я с собой пока ношу для сохранности. Шедевры, шедевры!

Кульков рассматривает шедевры и при этом смеется:

– Какие же это подлинники? Это вы из интернета скачали в плохом качестве, тут даже пиксели видно.

– А вы к настоящей картине подойдите – мазки увидите, – парирует Музейный Работник, убирая шедевры в карман. – Не надо пристально ничего разглядывать – так вам все на свете опротивеет, Андрей Ильич.

– Откуда вы знаете, как меня зовут? – снова испугался Кульков.

– Наши источники... но... одним словом, то, что мы через порог болтаем, это непродуктивно. Я или пройду, или мы без вас будем пытаться...

– Пытайтесь без меня, – обрадовался Кульков и захлопнул дверь.

– Сосед ваш, конечно, не выполняет план, – невозмутимо раздалось из-за закрытой двери. – Но они вас как-нибудь иначе достанут.

Кульков, который уже успел дойти до кухни, мигом вернулся и прильнул к глазку. Гость так же стоял у двери и переминался.

– План по дрелям вот не выполняет, – проговорил гость прямо в глазок.

– Какой еще план? – крикнул Кульков.

– А вы откройте, Андрей Ильич. Или в кафе куда-нибудь пойдем.

– Во дворе на лавочке посидим, – сдался Кульков. – Мне потом в магазин сходить надо.

– Завтра, тогда завтра уже, я вас тогда ночь потомлю, – расхохотался гость и моментально скрылся, убежав вниз по лестнице с изрядным шумом и диким хохотом, переходящим в крик.

Глава четвертая,

в которой Кульков узнает правду

Андрюша долго, долго, непростительно долго ворочается в постельке, но, наконец, засыпает, и снится ему, будто кот его, Маркес, благополучно оставленный дома у мамы, разговаривает с ним по-человечески, но не как Бегемот, который будто и правда был прямоходящий, и не как Сэйлем из «Сабрины, маленькой ведьмы», который будто и правда из пасти исторгал человеческие слова, а как бы телепатически посылая ему сигналы. И идут они с Маркесом не куда-нибудь, а прямо-

хонько в рай, и до рая, дескать, ногами можно дойти, даже взлетать как-нибудь без крыльев не требуется, как в том же романе «Мастер и Маргарита» или «Сне смешного человека» или фильме «Ла-Ла Ленд», и водит Маркес Кулькова по раю как Беатриче Данта, и никак нельзя понять, почему именно это – рай, что в нем такого райского, ни радости, ни счастья никакого, но вдруг весь рай мгновенно исчезает, а Кульков кричит *исступленно*, потому что осознает, что уже проснулся, а в одном из его *шикарных* кресел сидит что-то человекообразное.

– А как ты думаешь, на Страшном Суде сколько времени весь Суд займет? – неожиданно изрекает человекообразная фигура каким-то *казенным* голосом, каким Кириллов (диктор, не тот) говорил.

Кульков хватается телефон, который у него всегда рядом с кроватью на полу лежит, смотрит, какое сегодня число, и понимает, что все-таки не сон это, не сон: читается дата.

– Можно сказать, что нисколько не займет, так как времени уже не будет, но скажем тогда не «времени», а «усилий», – размышляла фигура. – Мне все-таки кажется, что много будет судей.

Андрюша уверен, что к нему пришел бандит, и сейчас он лишит его всех богатств, понимает, что богатств нету, и гадает, решится ли бандит позариться на кульковские почки, ведь больше-то поживиться нечем. Понимая, что бандит пока не торопится атаковать, Андрюша вспоминает, какие тяжелые предметы есть рядом, осознает, что никаких – и будто отстраняется сам от себя, решая стать наблюдателем, раз уж ничего в свою защиту сделать нельзя.

Разглядывая очередного посетителя, Кульков понимает, что тот, похоже, пришел в головном уборе, очень может быть, в ушанке; взглянув чуть ниже, Андрей видит руки посетителя, и тут-то принимается кричать снова, потому что у посетителя нет ладоней, а там, похоже, какие-то культяпки – в темноте толком не видно. Посетитель на крики не реагирует вовсе, так что Кулькову даже обидно, оцепенение проходит, и Андрюша соскакивает с постели, пытается проскочить в прихожую, но посетитель молниеносно ловит беглеца, бросает на постель, а сам возвращается в кресло. Андрей понимает, что ладоней у посетителя действительно нет: когда тебя в охапку руками хватают, ты уж это почувствуешь, а тут – будто манипуляторами какими поддели. Но Кульков не сдается, он срывается снова, посетитель снова перекидывает его на постель, но в этот раз Андрюше удастся изловчиться и задеть выключатель.

Свет включается, и Кульков лицезрит нечто совсем нереальное: у него над душой стоит фигура со сверлами вместо рук, с бычьими копытами вместо ступней и с большим динамиком вместо головы. Одета фигура в оранжевые шорты с пальмами и желтую футболку с Дональдом Даком. На кресле, где прежде сидела фигура, покоится пакет, из которого игриво выглядывает бутылка спиртного. Страх мгновенно проходит, и Андрюша принимается хохотать – оно и неудивительно, ведь почти таким рисует Соседа интернет-фольклор.

– Смейся, смейся, – идет звук из колонки. – А он там сейчас картины развешивает, не смотрит, что ночь. Ярошенко там к ним поступил...

– Ты... ты кто? – отсмеявшись и отдышавшись, спрашивает Кульков.

– Сосед. Как это кто? – обиженно отвечает динамик.

И тут *карты раскрываются*, и Кульков узнает, что *наверху* принята специальная программа по работе с населением, куда входят демотиваторы, информационные надзиратели и соседи («Мы все, в едином порыве...»), а основной целью программы является оптимизация числа неверно образованных людей, а уж тем более молодых, а уж тем более гуманитариев. К каждому, насколько это возможно, такому молодому специалисту (помимо того, что *сверху* дается приказ никуда его по специальности не брать) приставляется Сосед, который должен всячески его изводить, пока несчастный не пересмотрит свои взгляды на жизнь. Контролирует все это дело некий всесильный Комитет Здоровья и Дисциплины (H&D), он же занимается и одобрением сетевого контента (одобренный контент снабжается пометкой HD), а его агентов можно распознать по служебному смайлу-позывному «Хд». Однако в той части Устава Комитета, которая касается Соседей, наш Сосед видит некоторые несовершенства, о чем он не стесняется заявить Андрюше:

– Сам подумай, зачем сверлить столько? Ну, разок ты просверлишь дырку, чтобы провод для интернета протянуть, а зачем еще сверлить? А это план такой по сверлам. Правильно этот черт сказал... не выполняю я... потому что недостоверно... нельзя верить... там 36 часов в неделю сверлить сказано, кто в это поверит? Думаешь, я от хорошей жизни в соседи пошел? Оно мне надо, такую хреновину на голове носить?

Далее Сосед рассказывает не вполне реалистичную историю о том, что у него над веком вскочила ужасная бородавка, которая все росла и росла и грозила лишить его глаза, поэтому он и стал Соседом, чтобы заменить голову на динамик, но Кульков не слушает, в этот момент он даже счастлив: подтвердились его самые сокровенные догадки, которые он отметал как дикие и *несусветные*. Единственное, чего Андрей не понимает, так это чем видит сосед, поскольку органов зрения у него не наблюдается. Затем Сосед начинает жаловаться на несовершенство сложившейся системы, незаменимым винтиком которой он является.

– Вот тот парень с таксой, которого ты видел, – он тоже наш.

(Кульков буквально сияет от осознания своей проницательности.)

– Так чего они задумали, там из этой квартиры уже... там сын моего начальника, Геннадий Саныча, вздумал на казенной квартире кувыркаться... а он несовершеннолетний. И этот, с таксой-то который, ему девок туда и водил. Я узнал, стал ругаться, ты слышал, наверное. А он несовершеннолетний. А ему и девок, и водку за двенадцать тыщ – вся судьба уже расписана. На квартиру в Петербурге отец уже ему напил, а если он сейчас такой, так там уже точно будет один разврат. Петербург же – наркомания одна. Так вот он из престижного-то вуза упадет нечаянно с 16 этажа, будут потом гадать, нарочно ли, нет ли...

– А я таких шумов не слышал... специфических, – дерзает заметить Кульков.

Но Андрюшин собеседник снова переводит разговор на тему Страшного суда и сокрушается, что одному всех судить тяжело, и придется назначать помощников.

– Физруков каких-нибудь назначат, волонтеров. Племян мой – волонтер. Виталик. Мой одноклассник физруком стал... Вадик. Вадим Олегович... но они, я так думаю, будут судить справедливо...

Кулькову противно богохульство, и он выражает протест:

– Почему это Божий суд должны осуществлять Вадика и Виталики?

– «Должны осуществлять»! Как ты казенно говоришь! А почему нет? Вот физрук бы стал судить тебя, сказал бы: «Почему в четвертом классе ни за что ни при чем Максима из третьего класса ударил?»

Андрюша удивляется, откуда Соседу известен этот малозначительный факт, но все-таки пытается выкрутиться:

– В четвертом классе я еще за уборку снега грамоту получил, вот одно бы другое уравновесило. Я, собственно...

– Ты это яканье оставь! Я-я-я-я! Jawohl! – делает запрещенный жест гость. – Якать всякая береза умеет, ну, не голосом, конечно, а тем уже, что она стоит, и видно: вот она стоит. Якать всякая собака может, когда лает... нет бы ты сделал умнее, если б как-нибудь сказал: «Нету меня» – и совершенно от нас устранился.

– Куда устранился? Пленки клеить, как ваш этот... с таксой... намекал? – сердится Андрюша.

– И правильно намекал! – поддержал визитер. – Ты еще не понял, что такое справедливость. Надо помучиться несколько лет, прежде чем устраиваться в жизни. Помучиться, пострадать – но *по-настоящему* страдать, а не интеллигентским ковырянием, как ты... а не хочешь страдать – устранийся.

– Почему я должен устраниваться? Почему вы от других требуете того, чего не требуете от себя?

– Ты на нас не смотри, – возмущается Сосед. – Ты на высший пример ориентируйся.

– На кого?

– Христос – вот тебе пример.

– Вы опять от меня требуете невозможного!

– Хорошо. Тогда Вадик и Виталик – вот тебе примеры, – подумав, откатывает назад мысль Сосед.

– Чем они лучше меня? Чего вы меряете людей по Виталикам?

– А как надо мерять? Кошки-собаки-Пастернак? Или как оно там? – Сосед стал злиться уже капитально.

– Да за что вы их в заместители Бога... почему все хорошие, я один плохой? – Андрюша готов как взбеситься, так и зарыдать – вот так вот разом.

– Они хотя бы не снобы, а ты-то чего? Из каких кровей выпал? – бурчит Сосед. – Почему так презрительно смотришь на уборщиц, на дворников? Чем ты лучше? Тем, что научную работу пишешь? Нашелся тут... ученый! – Сосед стал свирепеть. – А все люди одинаковы, вот чего ты не знаешь! Ударь тебя и дворника по пальцу молотком – вы одинаковые чувства испытаете! Боль!

Андрюша очень боится, что его могут побить, вспоминает почему-то о Заболоцком и Хармсе, но почти сошедшее на нет общение заставляет его продолжать пререкания:

– Вот неправда, чем одинаковые? У ученого и дворника не одни и те же эмоции! Все разные, никто не одинаковый! У одного дворника и другого дворника разные эмоции и боль тоже разная! У всех разный опыт, разное воспитание, бэкграунд разный!

– Нет, ну какое он слово выцепил, ты посмотри на него! – гневается Сосед. – Из вражеского лексикона словесами разговаривает!

– Они нам не враги – и уж тем более – теперь, – не может уговориться Кульков.

– На Трампа намекаешь? – недоверчиво спрашивает Сосед, присаживаясь, наконец, назад в кресло. – Да ну, не знаю... разочаровывает он... нет, вот если он завтра войну объявит...

– Исключено! – горячо протестует Кульков (а он, поскольку сам любит рисовать себя *респу-бликанцем*, Трампу симпатизирует).

– Да знаю, что исключено, но просто скучно, – отмахнулся культияпкой со сверлом Сосед.

– К тебе завтра, значит, придет эта вертихвостка Базлаев?

– Эта вертихвостка Базлаев уже пришла, – раздается голосок позади.

Глава пятая,

в которой применяются инвазивные методы

Андрюша выглядывает в прихожую и видит, что входная дверь распахнута (неужели Сосед сверлом отпереть как-то сумел?), а на пороге вновь переминается Музейный Работник, на сей раз – со спортивной сумкой в руках.

– Пустишь меня? – спрашивает он Кулькова.

– Вы чего хотите? – вертится Андрюша, смотря то на Соседа, то на Музейного Работника. – Убить меня? Обворовать?

– Да все нормально, все в порядке, – успокаивает Сосед Андрея. – Я просто думал, он придет уже завтра... но он хорошо сделал... он пришел восстановить справедливость.

– Я пришел благословить этот дом! – поддакивает Музейный Работник, заходит в прихожую, ставит сумку на пол и запирает за собой дверь. – Я сперва только руки вымою, не могу, придя в дом, рук не помыть. Ох, и мыло-то у тебя дешевое...

– Как это «восстановить справедливость»? Что вам нужно? – пугается Кульков.

– Понимаешь, я же из-за тебя работы лишусь, – объясняет Сосед. – Очень ты оказался стойкий. И квартирка теперь в музей перешла, побегал этот вот Базлаев по комитетам, посуетился...

– Я развесил там Мясоедова! – доносится из ванной. – Три подлинника привезли. Представляешь? Где у тебя полотенце-то гостевое? А, нет ничего... я тогда своим платком руки вытру.

– И мы решили с ним, чтоб не ссориться, раз уж я больше не Сосед, а все равно с динамиком, это ж на люди не выйти... мы решили произвести замену, вот Базлаев сейчас всю операцию про-вернет.

– Да-да-да, я сейчас твою голову ему пересажу, а у тебя теперь будет вместо головы динамик, – вышел из ванной веселый, розовощекий Базлаев.

Андрей находит тот самый тяжелый зонтик и успевает нанести всего один удар Базлаеву, после чего Сосед роняет Андрюшу на пол и придавливает своим весом.

– Ну, а мне не больно – курица довольна! – радостно восклицает Музейный Работник, извлекает из сумки шприц и ампулу, лихо ее открывает, бросая осколок на пол, набирает шприцем из ампулы какую-то прозрачную жидкость и несколько раз, улыбаясь, стучает пальцем по шприцу.

– Хорошо играть, коли давай, – командует Сосед.

Базлаев с несмываемой улыбкой, несмотря на отчаянные попытки Андрея сопротивляться, вкалывает Кулькову в руку шприц.

– Тихо-тихо-тихо-тихо, – сюсюкает Базлаев. – Это просто анестезия.

Андрюшу почти моментально начинает «мазать», он еще успевает пролепетать: «Зачем вам это?» и получить загадочный ответ Базлаева: «А как же? Это жизнь», но вот он уже бессилён сопротивляться: мышцы расслабляются, глаза закрываются, Сосед перетаскивает его на кухонный стол, Базлаев торжественно шагает за ними с сумкой.

– Он точно вырубился? – сурово переспрашивает Сосед.

– Вырубился, не переживай, Геннадьич, – подмигивает Базлаев.

– Давай, делай, что надо... режь там это... пересаживай.

– И зачем тебе такая молодая голова? Но, конечно, другой нет...

– Из-за тебя это все, это ты под свой музей квартиру оттяпать решил. Кто вообще в такой музей ходить будет, который на третьем этаже обычной многоэтажки?

– А хоть бы и никто, музей же государственный, даже вход бесплатный, – отвечал Базлаев, надевая резиновые перчатки, извлеченные из сумки. – Никто не придет? А мне-то что? Я билеты порву и напишу в отчет, что были люди. Ты-то сам как вообще в Соседях оказался? Ни в жисть не поверю, что из-за бородавки.

– Ну... как-как... вот так. Вот так с утра встал и понял, что все, не нужно мне ничего. Не нужна мне семья. И жена не нужна, я в ней разочаровался и все с утра высказал, что наболело: на что мне с ними жить, если не люблю их больше?

– Логика, конечно, да-а... – протянул Базлаев, отпиливая Андрюше голову лазерной пилой, также извлеченной из сумки.

– Ну, – отвечает Геннадьич. – Я собрался и пошел на работу, не закрылся, Аня тихонько на кухне плакала. Там никому в глаза не смотрел, Геннадий Саныч на ковер меня позвал: «Что у тебя, печень болит после субботы?» – спрашивает. А я на него, тоже так это... вспылil: «Ах вы, алкаш», – ему сказал – и как это еще на *вы* сохранил обращение? «У вас, – заявил ему так... открыто... – совести нет, ко...», – «коррупционер» я сказал – хотел, конечно, козлом обозвать. Иду домой, снегу много выпало... у Леонова, точнее, с Леоновым фильмом есть такой, «Слезы капали». Вот, чувствовал себя как его герой. Домой не хотел возвращаться, работать не хотел, все потерял. Кто меня выручил? А-а?

– Рассудок и здравый смысл?

– Рот разинул! Капитализм! Зашел я в кафешку погреться, никогда там не ел, считал, что завышают цены, подонки. Зашел – и в этот раз себе на восемьсот рублей заказал... не наелся, само собой, но отчего-то на душе у меня потеплело, что позволил себе потратиться. И – никогда такого не было – на личный телефон Геннадий Санычу позвонил, извинился, чуть ли не заплакал сам тогда в кафе – а он меня не простил сначала-то, но потом тоже смягчился, как мякиш-то он хлебный... отгул дал и сам алкашом обозвал, засмеялся на прощание так. Он-то коррупционер-коррупционер, а я – не стукач, он хотя бы немножко-то ценит это. Не стал увольнять пока, но вот, в соседи перевел.

– Как по мне, так неизвестно, что и хуже, – ответил Базлаев, отсоединяя динамик от тела Геннадьича и прилаживая туда голову Кулькова. – К жене-то вернулся потом?

Раздался скрип, голова Андрея встала на место динамика, украсив собой фигуру Соседа.

– Нет, к Анюте все равно возвращаться не захотел. Телефон выключил, до часу ночи по городу шатался. Решил, что нет, никакой Анюты. Ты смотришь ютуб?

– Бывает, – отозвался Музейный Работник, подключая динамик к шее Андрея.

– Ну, тогда ты знаешь – рай не с женами и не с детьми; рай – с котиками. Рай – там одни коты, и с каждым можно разговаривать.

Базлаев усмехнулся и стал отпиливать Андриюшины ладони.

– С Анютой этой... она же просто тиран. Чуть что не по ее, она мне возражала одним словом: «так». Ну, теперь пускай поплачет.

– Котиками восторгаешься, а детей бросил, – замечает Базлаев, отвинчивая сверла и готовясь прилаживать Геннадичу ладони Кулькова.

– У животных не детская душа (какой противный у меня теперь голос), – возражает Сосед. – Животные, может, все лучше нас понимают. И они уж точно лучше детей.

– Ты еще, поди, из тех «любителей смотреть, как умирают дети»? – подмигнул Базлаев, приделав человеческие ладони Геннадичу и привинчивая сверла к рукам Андрея.

– Ну... – было видно, что Геннадийич приготовился отвечать серьезно. – То, что дети умирают, это, конечно... или... это, *наверно*, жалко, но не страшно – вырастут – нагрешат, а если детьми умерли, то это и в утешение как бы, что без греха. Но, может быть, и дети могут грешить. Когда ребенок мучает животных, как же это не грех? Когда ребенок мучает родителей, нарочно ревет, чтоб своего добиться, что же это, если не злость в нем? А вот то, что умирают животные – это страшно. Не когда они друг друга убивают, или люди – на мясо, а просто когда – от старости. Они-то за что умирают?

– Ты животных просто из оппозиции любишь, только потому, что людей ненавидишь, – недовольно заявил Базлаев, пытаясь отпилить Кулькову ступни.

– Может быть. Ну и пускай. Мне один медведь дороже, чем семьдесят метиловцев, – важно выговорил Геннадич. – Эх, Базлаев, ты такой неаккуратный!

– А чего?

– А чего у тебя кровь повсюду?

– Я операцию по самоучительно смотрел, как делать, не придирайся к мелочам! – Базлаев сильно вспотел, но завершил операцию и теперь снимал перчатки. – Вот Кульков-то уж слайды приготавливал – какая ему теперь презентация?

– А нечего два горошка на ложку... это самое! – сердито крикнул Геннадич, поднявшись. Покрутив головой и проверив, как сгибаются и разгибаются пальцы, он довольно цокнул, сходил в комнату за пакетом, достал из него бутылку кагора и две рюмки, вернулся на кухню и оперативно наполнил их.

– Никогда я еще не был так близок к православию! – слащаво проговорил Базлаев, чокаясь с Геннадичем.

Теперь Геннадич сидел за столом Кулькова с головой, ладонями и ступнями Кулькова, а сам Кульков, превращенный в соседа, лежал на полу. Базлаев сидел на принтере и одной рукой нервно тербил лямки спортивной сумки.

– Благостно! – проговорил Геннадич, опорожнив рюмочку кагора. – Кагор! Храмовое вино!

– За рекомендуемую сумму пожертвований купил! – ощерился Базлаев.

– Нет, в супермаркете взял. А ты, Юря, зря либеральничает. Для карьеры вредно, да и опасны... установки эти.

– Чем это опасны? – насмешливо и торопливо спросил Базлаев.

– Как это «чем это»? – Геннадич был будто на кураже, но на каком-то злобном кураже. – Как это «чем»? Кашей в головах! Все расшатать, 96 гендеров, забыть историю – им только и надо, что насадить хаос – и смеяться над нами, дураками. Только разрушать, но других, себя – никогда, у них там выстроенные доктрины, «свой-чужой», все расшатывают – и свою программу предлагают,

скажут: «Видите, какой везде хаос?» А что это они же его так усиленно создавали, так об этом, конечно, умолчат. А с другой стороны, за что нам хвататься, за церковь? Ну, церковь хорошо... вот мы с тобой кагор сейчас пьем – а это кровь... Его. А ты тут сиди, иронизируй...

– Нет, ну кровь Его – это уж слишком, – протестовал Юря. – По-моему, там все-таки не совсем так... но все равно... не надо мне, чтоб ради меня кто-то страдал, не говоря уж о... Нем. Налей еще. Хорошо, – Базлаев залпом опрокинул еще рюмку. – Нет уж, давай страдать каждый за себя, не надо мне этой соборности, софийности, чего угодно... вот ты тоже тут сидишь, треплешься... а нас потом за наше своевольное...

– Не бойся, Юря, – отпивает кагору Геннадьич. – Пора взрослеть, пора самим действовать. Ты так все будешь как Кульков – маленький мальчик, который не хочет решать никаких проблем.

– Если я начну решать проблемы, Женя, я тоже буду маленький мальчик, просто на побегушках, – заметил Юря, снизу вверх поглядывая на результат своей работы.

– А знаешь, кто тогда будет решать проблемы? – подмигнул Геннадьич.

– Кто?

– Современные женщины! – рассмеялся бывший Сосед.

– Современные женщины?

– Конечно. Современные женщины все за нас решат – хотим мы этого или не хотим! Много среди твоих знакомых успешных мужчин? Скоро президентом женщину сделают, то-то мы тогда завоюем. Я среди своих знакомых тебе только троих успешных мужчин назову: Геннадий Саньич, но он коррупционер, – тут Женя стал загибать пальцы. – Алексей Геннадьич, сын его, и мой одноклассник Егор, который сейчас косметикой торгует. Кос-ме-ти-кой! Эти современные женщины нам не позволят выше мальчика на побегушках подняться.

– Ерунду говоришь какую-то, – отпил еще кагору Юря, вновь показывая, что ему лень разглагольствовать.

– А что так? Посмотри на свою же сестрицу! Во сколько лет она в партию заскочила?

– В восемнадцать, – стыдливо ответил Базлаев. – Но это тут к чему вообще?

– А хорошо уже в восемнадцать лет пристроиться, удобно! Такая бы запросто была чекисткой, в затылок мужиков расстреливала. А что ты морщишься? Женщинам – довольно многим – свойственен садизм. Вот Светлана Баскова... что, мужчине придет такое в голову? Никогда!

– Сорокин же...

– Сорокин там – то да се... – махнул рукой Женя. – У него там и... всякое, а без того, чтоб унижаться. Нет, нет! Вот эти ребята, что у матерей на шеях сидят, они, пожалуй, поумнее нас, они вот лошадей постант... котяшек... они не стали в общество лезть, чтобы там на последней приступочке постоять. Как мы с тобой.

– Да они бы, может, и рады, да их и на последнюю не пускают, – со звоном поставил рюмку на стол Юря и поднялся с принтера, собираясь уходить.

– Вот-вот – не пускают. А кто? – Женя опьянел явно быстрее и уже глядел прищурено-прищурено.

– Современные женщины? – спросил Кульков, пару минут назад очнувшийся и решивший о себе напомнить.

– Кто у нас проснулся! – обрадовался Юря. – Не болит ничего?

– Ты не зря кандидатскую пишешь, ты неглупый человек, – обрадовался и Женя.

– Я не защищусь, – Кулькову нравился его новый машинный тембр, но металлические кульпки вместо рук пугали настолько, что он так и не решился на них взглянуть, хоть и ощущал *мертвящий* холодок там, где раньше были ладони.

– Я понимаю, – кивнул Женя, допив кагор. – Можно и к 27 годам превратиться в развалину. Это возможно. Реально. Да.

– Я вас оставлю, – легонько поклонился Юря и направился к двери. – Мне завтра Крамского завезти обещали.

– Давай, давай, – Геннадьич проводил взглядом хирурга-самоучку. Затем с ним произошла как будто вспышка гнева, и он хлопнул ладонью по столу, да так, что опорожненная бутылка подскочила, упала со стола и разбилась о принтер. – А ты чего валяешься? Шуруй на зарядку!

– На какую зарядку?

– На зарядку, на зарядку! Раз-два, раз-два! Здоровье, дисциплина, здоровье, дисциплина!

С этими словами Геннадьич, обойдя осколки, поднял Кулькова и сквозь его волю вытащил на улицу, заставив, угрожая забытой Юрей лазерной пилой, натираться снегом и проделывать другие физкультурные упражнения... словом, эта сцена не была оригинальной и во многом совпадала с подобной в «Джентльменах удачи», разве что это было ночью; Андрей хоть и покрикивал, сопротивлялся, но редким прохожим да сознательным жителям двора до Кулькова и его странного вида не было никакого дела, так что почти весь комплекс физкультурных упражнений он, насколько ему теперь позволял его новый облик, насильственно проделал, ну, и кончилось тем, что Андрюша упал, изможденный, в сугроб, после чего он помнил только, как спуска какое-то время Геннадьич вез его на невесту откуда взявшейся машине в больницу и громко выражал опасения, что Кульков может подхватить пневмонию, и поплевывал в окошко, чтобы не сглазить.

Глава шестая

Косоротый

Андрюшино пребывание в отделении больницы для соседей описывать скучно, да и нечего, иммунная система после превращения дает сбой, всякая зараза липнет, ничего удивительного, в общем, что заболел.

Больница, как водится, была местом запредельно мрачным – с пациентами, привязанными к койкам (даже и нельзя было понять, за что) и мычавшими то что-то неразборчивое, то выражавшими явный Todeswunsch; был там и пациент, отравившийся просроченной всего на 12 часов лапшой вок.

Андрюша лежал в палате, вяло обдумывая произошедшую с ним трансформацию и пытаясь докопаться до ее причины, но уже на третий день это копанье ему осточертело, и в своих размышлениях Кульков остановился на неточной цитате из Спинозы: «Чем больше у действия причин, тем меньше в нем совершенства».

Но на четвертый день Андрей, разглядывая свои сверла, пришел к выводу, что в этом действии совершенства не было вовсе, что все, с ним происходящее, – это одна сплошная несправедливость.

С соседями по палате Кульков не разговаривал, даже почти не смотрел в их сторону (и не мог понять, чем он смотрит и почему изображение такое качественное), кроме единственного случая, когда к одному из соседей пришла девушка, высокая блондинка со странно-тонкими волосами, но с удивительно здоровым цветом лица; ее серые глаза были такими светлыми, что внушали отчаянье. Андрей повернулся и секунд десять разглядывал парочку, она схватила его за руки чуть выше локтей, сжимая их так, будто она рукава постиранной кофты выжимала; Кульков не мог это наблюдать, он отвернулся и вспомнил статью, в которой доказывалось, что счастливые пары трогают друг друга чаще, но для наблюдателя это противно.

«Вообще, прикосновения противны», – подумал Андрей.

Вечером Кулькова пришел навестить он же сам, точнее, его голова на теле Евгения Геннадьевича. Евгений Геннадьевич принес дешевеньких апельсинов (6 шт.), какие обычно идут на сок, киви (2 шт.) и газированный напиток со вкусом мяты (0,5 л).

– Вот тебе тут витаминчики... а больничка, конечно, дрянь. Сам в ней лежал. И свет отключали, и тараканы тут бегают... и не хирурги, а всякая шваль работает. Даже Юря тутошним хирургам не уступит. Фу, и вонь-то здесь какая! Но ты кушай киви, Андрюша, – Евгений Геннадьевич уселся на краешек койки Кулькова, не спеша, правда, отдавать пакет. – Тут вот случай был, на всех сайтах

было. Мужу руку раздробило, так местный хирург ему просто все там разрезал, кость вынул – и зашил. Так и повисла рука у того.

– Не хочу я ваши гадости слушать и ваши киви есть (да и как мне их есть теперь?), – разозлился Кульков. – Сами меня в урод превратили, а теперь... с апельсинчиками ходите!

Соседи по палате слушали диалог Андрея с Евгением Геннадьевичем с оживлением, любопытством и (куда без него) злорадством.

– Ты сам виноват! – укоризненно выпучивает Андрюшины глаза Геннадьич. – Сам не захотел нам на уступки идти. Сам, сам себе такую жизнь выбрал! Ладно. Слушай еще одну историю про местную больницу, да я пойду. Был в этой больнице косоротый доктор Ренатик. Его так называли за маленький рост, такой был шкет, что никак Ренатом не назовешь – только Ренатик. А официально-то, он, конечно, Ренат Чеплашкин по паспорту. И косоротым он стал от нервного тика. Перекосило рот ему – да такой и остался. Может, это и не тик называется, но, во всяком случае, что-то нервное. Самые злые из наших языков говорят, что рот у Ренатика перекосился, когда он жену с соседом застучал, но слишком это на анекдот похоже, не хочется верить. Другие утверждают, что его довели коллекторы, потому что Ренатик брал микрозаймы, отличаясь, что тоже для доктора нехарактерно, нерациональным использованием денежных средств: мог, шикую, на работу на такси приехать, мог роллов-филадельфий на обед набрать. Да ты слушай, не перебивай, я тебе пока апельсинку почищу, у меня теперь снова руки есть, а с руками хорошо – я теперь спиннер крутить могу, догоню хоть тренд – жаль, что руки у тебя не очень, надо сказать, ловкие, мелкую моторику в детстве мог бы и лучше развивать, но что есть, то есть, а Ренатик, значит, дай, я долечку попробую, не кисло ли, Ренатик после того как косоротым стал, так у него даже суп изо рта проливаются, не может рот закрыть, губам не сомкнуться никак. И все смеются: «Косоротый-косоротый». Так что он уже без маски-то этой врачебной и не ходил, типа как Бэйн из Бэтмена, смотрел? Молодежь, практиканты, открыто уже смеялись, Ренатик, говорили, злодей. Вот какое в городе происшествие ни случилось, а они смотрят, мониторят это нарочно, да сразу же Ренатику приписывают. Если в кране нет воды... сам понимаешь. Просто так выдумывали что-то. Ренатик мимо идет, а они ему: «Ты нас, Ренатик, случайно не подорвешь?», «Ты, Ренатик, давно в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка – прим. ред.) записался?», «Не ты ли, Ренатик, вчера на Шмидта женщину резал?» Ренатик, ясно дело, оскорбляется – малышня его тут желторотая, сопливая, натурально травит. Взял он очередной микрозайм (уж не знаю, как) и на пластическую операцию в Петербург записался. Уехал – и не возвращался потом никак, даже в розыск объявили. Эти-то все шутники – а шутки про Ренатика потихоньку переходили от практикантов до медсестер, от сестер к врачам, от врачей – в бухгалтерию, так что и главврач над ним смеяться начал – шутники-то тоже говорили сначала, мол, новый красивый Ренатик Питер покорит своей красивой рожей, так что его в театр возьмут, в кино, в рекламу памперсов на роль счастливого отца – смеялись да смеялись, а косоротого все нет и нет. Потом от каких-то знакомых – незнакомых – слух пошел, что утопился он в Петербурге. А уезжал-то осенью – вот, говорят, весной всплывет. И всплыл, что характерно. У ментов глаз наметан... так что Ренатик теперь в этой больнице призраком людей пугает. Увидишь ты его, Андрей, знай: это он нам в наказание сделал, больно мы насмешливые стали. Ладно. Я пойду. Пора, как говорится, седлать коней.

Геннадьич, охая, поднялся, пожелал Андрюше здоровья и дисциплины и удалился из палаты, прихватив пакет с *гостинцами* с собой.

– А я эту легенду знаю, – заявил голосом точь-в-точь таким, какой теперь у Кулькова, сосед, к которому приходила блондинка.

– И что? Ты видел Ренатика? – точно таким же голосом спросил другой сосед.

– Нет, – покачал динамиком тот сосед. – Но если у него рот перекосило от измены, то чему тут удивляться?

– Как раз это и удивительно! – возразил другой сосед. – Жену застучать – сплошь и рядом!

– Но он ведь не думал, что это с ним случится, – осмелился встрять в беседу Андрей.

– А ты, поди, тоже не думал, что соседом станешь? – осадил Андрюшу второй сосед.

– А для меня все равно измена удивительна, – констатировал сосед № 1. – Я даже в универе удивлялся, что девочки из группы, двадцатилетние, уже с лысеющими встречаются. Мне это было больно видеть.

– Тут деньги, брат, деньги роль играют, – воодушевленно сказал сосед № 2. – Может себе позволить – двадцатилетнюю покупает. А вот меня если и удивляет что, так некрасивые бабы. Ехал в автобусе, напротив меня толстая баба дремала – с короткими крашеными хной волосами, настолько плавно переходящими в такого грязного, седого цвета шапку, что мне казалось, что это двухслойная прическа, а лицо у нее натурально квадратное – я даже почти поверил, что это раз-малеванный мужик. «Да нет же, это баба», – говорил я себе и в то же время сомневался, что нет, это может быть и мужик, а когда она открыла глаза, я заметил, что и ресницы-то она красила как неопытный трансвестит, и я подумал: «И что, вот эти ее губы накрашенные целует кто-нибудь?» – и мне ведь жалко ее стало – если ее не целуют, – и того, кто ее целует, тоже жалко стало – если конечно, такой и правда имеется.

– Давайте, как и раньше, попробуем не разговаривать, – попросил Андрюша, отвернувшись под хихиканье соседей к стенке и, с трудом орудя сверлами, накрылся с головой коротким одеялом.

Ну, нет же – когда мы кого-нибудь слушаем! – продолжают соседи соревноваться в том, кто какую мерзость вспомнит пожестче, попокастнее – словно вынуждают Андрюшку сбежать от них в туалет под их мерзкий компьютерный хохот – забежал Андрей в туалет – так в мужском даже дверей нет, все просматривается, и накурено так, будто это центр Шанхая.

«Господи! Что Ты позволяешь нам вытворять с собой! – патетически воскликнул Кульков и тут же смолк, коря себя, во-первых, за то, что сказал это вслух, а во-вторых, за то, что позволил себе такие мысли в таком месте. – Какое дикое кощунство, что мысли о Боге приходят в туалет!»

Однако, походив по туалету, качая динамиком, Андрей пришел к выводу, что в его поведении нет ничего удивительного:

«Но, право же, где еще современный человек остается наедине с собой?»

Покачивая динамиком и заложив сверла за спину, Кульков вернулся в палату, у входа в которую была табличка со странным словом «Контрактубекс», улегся на койку и вновь (с трудом) укрылся с головой.

– А в другой палате мужик просыпается, а над его постелью – петля. Кто-то из больных пошутить решил так, – продолжают смаковать истории соседи. – А ведь мог бы спросонья и голову просунуть.

– Да это про Филимонова, я слышал, его тут травили, – поддакивает соседу сосед. – Уток в другой раз ему к койке наставили...

– Ну че, как там в сортире дела? Все еще они понос прямо в раковины сливают? – обращается сосед к Андрюше, но Кульков не слушает: то ему кажется, что он совершенно спокоен и ото всех *абстрагирован*, то он ощущает всю свою незащищенность. И такие начинают в голову мысли набиваться тягучие, мрачные, меланхоличные!

«Вот мне плохо сейчас, а когда было хорошо – то хорошо было потому, что было спокойно, и разве я был тогда благодарен Богу и всякому, что не шли ломать мое спокойствие? А теперь... с другой стороны, теперь-то мне чего жаловаться, уж после того, что они со мной сделали, в кого превратили... я теперь точно буду при деле – в роли соседа, мучить кого-то... зато... как говорили раньше – принадлежность к классу. Ведь хорошо в стаде-то – есть да спать. Впрочем, можно и работать, но только для отвода глаз. Они меня раньше мучили, теперь самого в соседи поставят – так ведь обе роли плохие».

Уставший мозг Андрюши не может найти никакого выхода из этой ситуации, нельзя и предположить теперь никакого возврата к маме, к прежним, сытым временам, но – впервые за долгое время – Кульков сознает, насколько старательно он раньше, вспоминая *былое*, вытеснял из памяти настоящую причину своего бегства в чужой город, причину, может быть, постыдную, делавшую Андрея без вины виноватым, ведь он же сбежал, сбежал – и слова другого не подберешь!

– сбежал, как говорится, *запутавшись в бабах* – Маше и Мариночке. От первой, конечно, всякий бы сбежал, ибо то была х а б а л к а , властная и мстительная, думавшая только о карьере (а, мы же что-то из подобных мыслей Кулькова уже чуть раньше приводили. Еheu. Прости, читатель, плохо с памятью, гингко этот совсем не помогает).

В общем, Маша стремилась подчинить Кулькова и превратить в некий объект, нужный ей для статуса (а Кульков, как мы помним, мог быть очень представительным). Амбиции, понимаете ли. Амбиции эти привели уже к тому, что она открыла какой-то дом русско-финской дружбы (у нее отчим – финн, по энергетике они тут занимаются), и больше всего стремилась в эту Финляндию переехать (или хотя бы в Санкт-Петербург; а отчим ей ничем не помогал, даже несмотря на *дом дружбы*). Это она и *назначила* себе Кулькова в кавалеры, тот и не протестовал особо, все же Машенька была красивая, высокая, полногрудая и *пробивная*. Но подчиняться он, конечно же, не мог, и его начало тянуть к подруге детства, миниатюрной кареглазой брюнетке Мариночке, а та, уж как назло, оказалась наркоманкой, и немногие вечера, что Кульков с ней проводил, сводились к созерцанию лежащей на диване *размазанной* подруги – сейчас Андрей внезапно вспомнил струйку ее слюны, *нежно* сочившуюся изо рта на подушку, и как она, очнувшись, первым делом доставала из сумочки голубой платок с фиолетовыми цветочками и, улыбаясь, вытирала слюнку, а потом долго чесалась, сидя на подушках.

Весьма рано для *пробивной* Маши стало явным, с кем Андрей иногда проводит время, и хотела она за Андрюшу постражаться, облить конкурентку кофе, например, но решила, что одним видом все свое превосходство Кулькову покажет, что и получилось, а он только больше Машеньку возненавидел – и импульсивно их бросил, сорвался, уехал, маме что-то про научную работу сказал.

И стоило из-за них срываться с *места*?

– Да нет, не стоило, конечно, – слышит Кульков где-то над ухом.

Андрюша разворачивается и понимает, что это ему снится, потому что у него снова есть голова и руки, он на зеленом каком-то газончике, чуть ли не на футбольном поле или на поле для гольфа, никак нельзя понять пока что, нет, кажется, для гольфа, а прямо перед ним – кто бы вы думали? – конечно, перед ним тот самый Ренатик косоротый и стоит.

«В наказание мне этот сон», – Андрюша думает.

– Вот... попалась бы тебе Серебряная Рыбка, – говорит Ренатик. – Выполняла бы твои желания. А условие одно: за каждое желание от жизни тех двух девушек (плюс твоей мамы) отнималось бы по году.

Андрюша не отвечает ничего, и тогда Ренатик делает прогноз:

– Ты ведь согласился бы! И причитал, что... ну, как ты можешь... нервно... что это... пакостно... и подло... а все равно бы согласился. Вся ваша суть... интеллигентов.

– Никогда! – отвечает Андрей. – У мамы чтобы жизнь отнимать?!

– А если только у тех девушек, но по два года жизни за желание?

Андрей задумался.

– Вот так, вот так! – хохочет косоротый, и при этом половина головы у него будто бы отстегивается, что делает его похожим на канадцев, какими их изображает нравоучительный мультсериал «Южный парк».

Глава седьмая,

в которой Андрюша идет на ковер, и происходит развязка

На следующий день Андрюшу выписали, хотя он и жаловался на серьезное недомогание. О выписке, как оказалось, похлопотал Евгений Геннадьевич, который, едва Андрюша покинул больницу, схватил его под руку и, лепеча что-то про злую совесть, подтащил к машине и пропихнул внутрь. Андрей особенно не протестовал, понимая, что сейчас что-нибудь может разрешиться, да и не разгуливать же по городу в таком виде (хоть больничка и на знатном отшибе).

Геннадьич сел за руль и по дороге заговорил с Андрюшей, причем вновь на странные темы:

– Какая, Андрей, по-твоему, самая страшная смерть?

Андрей начинает размышлять над этим вопросом, но Геннадьич его опережает:

– Самая страшная – это о которой ты точно знаешь: как, когда, во сколько... и ничего не изменить никак.

Спустя пару минут Евгений Геннадьевич выдал еще один водоворот мыслей, который Андрюша от стеснительности оставил без внимания:

– Вот как говорится: «Жил – дрожал и умирал – дрожал», – а ты, Михал Евграфыч, можно подумать, не дрожал *на ковре* у своего губернатора? Мы все только и можем, что дрожать. Уж перед всяким... а знаешь, что еще страшно? Паучьи глаза. Или нет, не страх, но будто трясет, аж уши шевелятся: убей, убей эту сволочь.

Наконец, они приехали к весьма известному административному зданию, на фасаде которого по не вполне ясной причине красовались латинские символы H&D, зашли со служебного входа, поднялись на лифте на верхний этаж, прошли по коридору и оказались в приемной, завешанной грамотами и благодарственными письмами. Помимо этих наглядных проявлений почета, в приемной было громадное, во всю ширину комнаты окно, перед которым стоял громадный, тоже во всю ширину комнаты, письменный стол, на котором сиротливо лежало позолоченное (а может быть, и золотое) пресс-папье в виде яблочка. За столом сидел невысокий мужчина лет сорока пяти с крупным носом, черноволосый, но заметно лысеющий, с удивительной формой бровей, напоминающей взмах птичьего крыла. Слева от стола стоял, заложив руки за спину, Юря Базлаев, справа стоял, положив одну руку на стол, человек, известный Кулькову как Хозяин Таксы. Все трое были одеты в черные костюмы и серые рубахи. Начальник выделялся благодаря красному галстуку *с отливом* – у Юри и Хозяина Таксы галстуков не было.

– Геннадий Саныч Кораблев, Юрий Николаич Базлаев, Гарнир Палыч Шлехтовский, – Геннадьич представил Андрюше этих джентльменов. – Андрей Ильич Кульков.

Андрюша зачем-то счел нужным поклониться.

– Он Гарнир Палыч потому, что имя не заслужил. Узнали про его... грехи-грехишки, – ухитрился шепнуть Андрюше Геннадьич.

– Вы, Евгений Геннадьевич, понимаете, что пересадка н-незакон-н-ная? – гнусаво выговорил Геннадий Саныч.

– Он все понимает, – ответил за Геннадьича Юря.

– Тогда вы подождете в коридоре, – приказал Кораблев.

Евгений Геннадьич покорно ретировался.

– Вы с н-ним говорили? – обратился к Базлаеву начальник.

– Галлюцинирует, – слащаво ответил Базлаев. – Заявил, что Христа в перекрестии батареи увидел.

– А вы ему что?

– А я ему сказал, что все-то Христос у него маленький.

– А он-н вам чего?

– А он мне сказал, что зато я-то какой большой.

– А вы чего?

– А я его обвинил, что он только и может, что стрелки переводить, и что это совсем не по-мужски, а по-женски.

– Н-ну, по-жен-нски кон-нечно... н-но ты тоже должен-н пон-нести ответствен-н-н-ность, – пригрозил пальчиком Кораблев. – В квартире операцию делать... мн-ного крови было?

– Крови-то много, а сукровицы совсем не вытекло, – потупив глазки, признался Юря.

– Сукровицы? Что это за слово «сукровица»? Леон-нида Ан-ндреева, что ли, обчитался? – внезапно *жахнул* кулаком по столу начальник.

Совершенно неожиданно Базлаев обиделся, да так, что с силой смахнул со стола пресс-папье и раздраженно, даже истерично крикнул:

– А ты обчитался Пригова и Джойса, и поэтому считаешь, что можешь ставить себя выше! «Наследник – ублюдок» – такая дрянь!

– А Гарн-ниру Палычу н-нравится, – неожиданно робко запротестовал Кораблев.

– Да, мне, конечно... и Курлыцкий, Сергей Игоревич, тоже отзывался... – торопливо попытался встрять в разговор Хозяин Таксы, но Базлаев его перебил:

– Много твой Гарнир понимает! Он вообще технарь!

Тут Кораблев встал из-за стола, поднял *яблочко* с пола, вернул на место, подошел к Гарнир Палычу, хлопнул того по плечу и произнес:

– А мн-не н-нравятся компьютерщики, он-ни р-ребята грамотн-ные.

– А в этом деле вон Андрей Ильич – специалист, – Базлаев обиженно кивнул на Кулькова.

– Да, рассудите вы, Ан-ндрей Ильич, – повернулся к Андрюше Кораблев. – А вы пока выйдите, я один-н с Ан-ндреем Ильичом поговорю.

Юря и Гарнир Палыч с достоинством поспешили к выходу. Проходя мимо Кулькова, Юря лукаво улыбнулся, а Гарнир еле заметно покрутил пальцем у виска. Кораблев это увидел, и, когда джентльмены уже были в дверях, начальника будто всего передернуло, и он высоко-высоко прокричал:

– А ты, Гарн-нир, за свои выходки вообще... отчества лишаешься, пон-нял? Теперь ты просто Гарн-нир, а н-не Палыч!

– Я-то за что, Геннадий Саныч? – возмутился просто Гарнир.

– Ладн-но, стойте, н-не уходите. Да, я вспыльчивый, – сел за стол, пыхтя, начальник. – Зазовите н-назад этого... б... баловн-ника... ср-р-р-рамн-ного.

– Баловник срамной, это вас! – ехидно выкрикнул в открытую дверь Юря. В дверь просунулась голова Геннадьича (ну, точнее, Кулькова).

– Заходи, заходи! – сделал нетерпеливый жест Кораблев. Геннадьич осторожно зашел, встав между Юрей и Гарниром. – Ах, как мне тяжело! – стал жаловаться Геннадий Саныч. – У мен-ня все время н-настроен-ние скачет. То з-злоба, то я... как б-барашек... кроткий. А этот Юр-ря мен-ня только передразн-нивает, мои н-настроен-ния копирует. З-зеркало, н-не человек! Подо всё подстраивается! Ах, Ан-ндрей Ильич, Ан-ндрей Ильич! Ладн-но. Н-надо прин-нимать решение.

После этой реплики Геннадьич, Юря и Базлаев вытянулись по стойке «смирно», и Кульков понял, что сейчас болтовня кончится, и действительно что-то решится.

– Зн-начит, так, – Кораблев снова встал из-за стола, но оперся на него кулаками. – Пересадка была н-незакон-н-н-ная, замен-ните Ан-ндрею Ильичу голову н-назад.

– Ура! – невольно воскликнул Андрюша, но мгновенно осекся. – Извините.

– Поезжайте н-назад в больн-ницу! Н-немедлен-но! – не глядя на присутствующих, указал на дверь босс.

В больницу ехали молча. Неизвестно, зачем ехали Гарнир и Базлаев; Кульков думал, что они конвоируют Евгения Геннадьевича, дабы тот не сбежал, но в таком случае было странным, что именно Геннадьевич сидел за рулем.

Операция прошла в немного более комфортных условиях, но, очнувшись, Андрюша не без негодования обнаружил, что за то время, пока его голову весело и гордо носил Евгений, его щеки обозначились куда более явственно – видно, от обильного питания.

После трехдневной реабилитации в «человеческой» палате за Кульковым зашел Юря, и они снова поехали *на ковер* – на этот раз на маршрутке, которую ждали около тридцати минут. Базлаев, казалось, несколько раз порывался заговорить с Андрюшей и даже будто имел в запасе пару заготовленных реплик, но так и не решился озвучить ни одну из них.

Приехали; у Кораблева на столе появился ноутбук, с которого он слушал радио, управляя работой устройства через модные смарт-часы. Гарнир, как и в прошлый раз, стоял справа от шефа, положив руку на стол.

– Добрый ден-нь, Ан-ндрей Ильич, – поздоровался босс и, не вставая из-за стола, даже протянул Андрюше руку (тот ее слабо пожал). – Мы рады, что все н-након-нец улажен-но.

– Я только надеюсь, что больше этот человек меня не станет беспокоить, – неожиданно смело, памятуя о скачках настроения шефа и возможности надавить на него, выпалил Кульков.

– Кто? Евгений Геннадьевич? Н-не переживайте, н-не будет, – успокоил Андрюшу босс. – Мы же его без головы оставили.

– Как? Он умер? – вырвалось у Кулькова.

– Н-ну у н-нас же н-не склад голов, – развел руками Кораблев.

– Он знал, что обезглавят, но больно уж совестливый был, – негромко отозвался позади Кулькова Юря. – Недельку всего хотел человеком снова побыть.

– Н-не переживайте, – стал возиться с часами шеф. – Мало ли должностей, где голова н-не н-нужна? Это повышение!

– Конечно, повышение, – поддакнул Гарнир.

– Да, – умиротворенно скрестил руки на пузе Кораблев. – А вам, Андрей Ильич, еще раз н-наши извинения, можете возвращаться к н-научной работе, с завтрашнего дня вам н-назначен новый сосед.

– Как? А музей?! – встревожился Базлаев.

– Н-не переживайте, сосед будет работать только в н-ночную смену.

– А, ну тогда хорошо. До свидания, Андрей Ильич! – с этими словами Базлаев практически вытолкнул Андрюшу, который снова будто оцепенел и не посмел ничего возразить против решения начальства, хотя меньше минуты назад был уверен в своей силе воли и возможности давить инакомыслие с той решительностью, с какой девочки-подростки давят прыщи своим кавалерам.

И вот Андрюша оказался на улице. Он понимал, что, в сущности, ничего не поменялось, а все, произошедшее с ним, – только одно большое неудобство, и теперь ему доходчивее некуда подтвердили, что никаких перемен не предвидится – однако на возражения сил у Андрея почему-то не хватало. Охранник смотрел на него снисходительно, мимо проходившие девушки не обращали на такого красавца никакого внимания – все шло своим чередом, даже без каких-либо намеков на возможные экзистенциальные прорывы и сдвиги.

Кульков вздохнул и побрел пешком в квартиру, лениво отгоняя мысль о том, что можно вернуться *домой*, что можно вернуться и поспорить с начальством, что и то можно, и это – нет, ничего нельзя, все он себе запретил. А почему? Почему? Нет, не понимаю я Кулькова – не путался он в бабах, не кроется никаких причин в прошлом, и он ведет себя так, потому что сама по себе его личность такая – да, впрочем, личность ли он, или только характер? Не раскрывается он передо мной, не вижу в его душе ничего, но ведь это просто я смотреть не умею, как же можно допустить, что вот передо мной живая душа дышит, а я, слепой, ее только нащупываю и гадаю: личность / не личность?! Всякий из нас – личность, мы же это понимаем, в школе нам это твердят, а на практике-то мы до того любим и видим только себя, что другим в праве на личность уж слишком легко отказываем – и сам Кульков такой же, и для него Раскольников или там Свидригайлов (это всё одно) – больше личность, чем тот же Юря Базлаев, а ведь и Юря – личность, да, и мы это, повторяюсь, знаем, но знаем-то в теории да на отдалении – хоть эта сказочка и стара, но проводи эксперимент, поставь перед нами Юрю, заведи его в нашу комнату, до того стеснит он нас, что невыносимо станет – вот тебе и доказательство: если теснит, то личность, это *другое* нас теснит, чужое, второе лицо. Да и, может быть, комфортнее было бы всем поодиночке жить, как Жириновский учил, да станем ли? И так плохо, и сяд плохо. И тебе, Кульков, плохо!

А отчего тебе плохо? От всего: как начнешь *ворошить*, сразу видишь, сколько боли ты неаккуратно хламом засыпал.

И ведь тут драма! Мать, женщины, собственное положение в жизни – ни к чему нет постоянного отношения, стабильности, *позиции* – всё и дорого, и от всего готов отказаться, хоть с крыши прыгнуть. Всё в жизни ценно, всё, каждая клеенка, мешок для мусора, файл – и вместе с этим ничего тебе не нужно – нафиг! И ведь отчаянье, что не так живешь, что я не могу на тебя повлиять (хоть я же тебя и придумал – *se non è vero...* – а ты вон как встал от меня независимо), что у тебя

только мечты «как бы жить лучше», в гармонии хотя бы с совестью. Но жизнь проходит, ничего не меняется, так и не дожждется тебя мама, иссякнет терпение твоих женщин, а сам ты поседеешь и износишься, глазом моргнуть не успеешь – и как же действовать-то, как? Как порвать с этой рутинной разом, посвежить, приступить, приехать, разом все уладить – эх, мечты-мечты, за которыми только мамины слезы (и Гоголя слезы незримые) – нет, не сложилась жизнь, не повезло – но выстрадаано – и этим, может, что-нибудь окупится.

– Кульков! – неожиданно раздался позади Андрюши оклик.

Андрей обернулся и увидел кота Маркеса. Кот теперь стал антропоморфный, статный, выскокий, в русском народном костюме и красных сапожках. В лапе кот держал картонный стакан с кофе *из ларька*.

«Как он держит стакан? У него же лапки», – успел подумать Андрюша.

– Пойдем, Кульков, прямо в рай! – Маркес подошел к Андрюше, отдал ему кофе, взял его под свободную ручку – и они пошли – в рай, где нет Соседа, Здоровья и Дисциплины и Научного Руководителя, в рай, где живут коты, а наркоманка Мариночка сладко чешется, сидя на подушках, в рай, где мама живет через дорогу и можно ходить к ней пить цикорий, в рай, где не нужно работать до изнурения, в рай, где нет панических атак и расстройства желудка, в рай, где кругом растет щавель, который не обносится пылью от проезжающих машин, в рай, где все бесплатно и без принуждения, в рай, которого нет нигде.

– Нет, Маркес, – остановился, выпустил руку Маркеса, хлебнул кофе и обжег язык Андрюша.

– Еще рано нам с тобой в рай. Мы будем за него бороться.

– Так, значит, второй раунд? – после второго глотка кофе кот исчез, а на его месте стоял ухмыляющийся Юря Базлаев.

– Второй раунд, – подтвердил Андрюша.

– Так, значит, ничего не изменилось? – спросил я.

– Нет, автор, – ответил Андрюша. – Изменилось мое отношение.

– Вот это самое главное, – обрадовался Юря. – Идем домой, я тебя провожу.

Контроль, отрицание и железная воля – основные принципы Здоровья и Дисциплины.

ЛЮБОВЬ ПОД АБАЖУРОМ

Рассказ

I.

На нашем курсе было шесть «матерей». В университет их зачислили с рабфака без вступительных экзаменов. На лекциях они сидели сплоченной группой в конце аудитории, по факультетским коридорам передвигались по двое, по трое; на переменах дружно курили на лестничных клетках. Рвения к учебе не проявляли, изошренно шпорили на экзаменах. Габаритами они тоже отличались от нас, вчерашних десятиклассников. Плечистые, широкие в бедрах, косматые (в конце восьмидесятых модно было ходить с небрежным взрывом на голове), они поглядывали на сокурсников свысока, возомнив себя безоговорочными лидерами филфака.

Жили «матери» так же кучно, как и сидели на занятиях: занимали две комнаты в общежитии по соседству с факультетом. Возглавляла рабфакровский коллектив вездесущая Неделюк. Она быстро выбилась в старосты курса, все обо всех знала, а если не знала, то придумывала для преподавателей невероятные истории о прогульщиках, в которые ученые мужи охотно верили. Фантазией она обладала неумейной, была остра и резка на язык.

Неделюк всегда сопровождала застенчивая Люда Воронкова. Баскетбольного роста, худая, плоскогрудая Люда максимум тянула на третьекурсницу, в компании ворчливых «мамаш» выглядела откровенной малолеткой.

Воронкова превосходила «матерей» не только ростом, но и умом. Ее познания в языках, особенно латинском, нещадно эксплуатировались обособленным дамским контингентом. На немецком Люда тоже охотно раздавала консультации соседкам. На самостоятельных и контрольных в душных аудиториях щеки ее покрывались горячим румянцем. Она работала сразу на нескольких человек. На переменах жадно курила, делая частые, мелкие затяжки, и напряженно улыбалась, словно витала еще в заоблачных лингвистических высях. В окружении воспитанниц рабфака она оставалась на удивление совестливой. Списывать на экзаменах, засунув шпаргалку под резинку чулка, было не в ее правилах. К литературе Люда интереса не проявляла. Она без труда отличала ямб от хорея, порой цитировала Вергилия, но глубоких мыслей по поводу прочитанных книг, коими блистали отличники с первых рядов, не имела.

– Ей надо было идти на точные науки, – однажды сказала мне Неделюк, получив «четыре» по старославянскому не без помощи Люды. – С другой стороны, как бы мы без нее учились?

В маленькой «материнской» комнате на четвертом этаже панельного общежития всегда было чисто, по-домашнему уютно. В центре студенческой обители стоял круглый стол под клеенчатой

Сергей Миронов родился в 1970 году в г. Калининграде. Закончил журфак Санкт-Петербургского университета. Работал в петербургских и калининградских газетах. Печатался в калининградских альманахах «Ойкумена», «Молодые голоса», журнале «Нижний Новгород». Лауреат премии «Золотая роза» в номинации «Лучший рассказ» (2020). Живет в Калининграде.

скатертью. Под столом, прикрывая дощатый облупленный пол, лежал выгоревший ковер с бахромчатой грязно-серой оборкой. На комод, на кружевной салфетке, потрескивая вещал радиоприемник ВЭФ. За ним, на полке у стены, завешанной мешковатым покрывалом, в хаотичном порядке хранилось разноцветное содержимое дамской косметички. Но главное, над столом, в опасной близости от голов висел ярко-красный матерчатый абажур, склеенный в местах разрыва коричневым скотчем.

Вечерами в эту комнатку набивалось человек десять-пятнадцать. Приходили студенты с нижних этажей и из ближнего общежития. Общество было преимущественно женским.

Как-то после одного такого заседания под абажуром Неделюк посетовала на нехватку мужчин в их тесной компании. Я понял ее намек и задумался, кого бы заслать к ним в гости, помня про почтенный возраст подруг и крутой нрав старосты курса.

Подходящий вариант у меня все же нашелся. В те годы я общался с Матвеем. В народе его звали Фомой. Помешанный на заушных текстах Гребенщикова, он всегда ходил с флейтой и гармошкой. Таскал их в собственноручно сшитом вещевом мешке. Тогда я тоже был повернут на «Аквариуме». На почве этой болезни мы и сошлись.

Фома учился в Институте рыбной промышленности и хозяйства. Был жаден до общения. Пребывал в перманентном состоянии духовного единства с окружающими. Мог ненароком обнять бомжеватого прохожего и в сердцах бросить ему: «Брат! Дык елы-палы!» С дамами он предпочитал игривый стиль общения, бравировал цитатами из Хармса. Близко к тексту пересказывал «Вываливающих старух», чем вызывал у слабого пола длительные приступы спазматического хохота. Бронебойным оружием Фомы был Хтей. С ним он и пожаловал в комнату под абажуром.

Хтей работал оформителем в драматическом театре. Изготавливал декорации, расписывал сценические панно. Иногда проводил нас без билета на премьеры. Я посмотрел несколько постановок и понял, что в скором будущем любовь к театру мне не грозит. Тогда мы слушали рок и упивались свободой самовыражения. В одночасье мир вокруг нас оказался удивительно многообразным. Мы разбирали его по слоям, проникая в гущу непонятной начинки, докапываясь до самых глубин, в которых в свободном доступе, как на библиотечной полке, маячили произведения теперь уже разрешенных писателей, художников, музыкантов. Нужно было только дотянуться до их творений.

Хтей выражал себя в акварели. Точной, крепкой рукой в мельчайших деталях он выводил своих героев на маленьких листах альбомной бумаги. В каллиграфических миниатюрах завсегда таям комнаты № 43 он явил доисторических птиц, экзотических рыб, подводных каракатицких существ в панцирях с отрисками большого пальца, что добавляло правдоподобия обитателям морских бездн. Создавал он и тонкие человеческие образы: хитрый псарь, веселый пастух, мечтающий о славе скрипач...

Обычно Хтей сидел за столом, попивая жидкий чай, а перед ним лежала стопка рисунков. Будто карты, он раздавал нам миниатюры, сопровождая быстрые действия причудливыми смешками. Рисунки он клал лицевой стороной на скатерть, а взявший карту должен был перевернуть ее и придумать название миниатюре. Я тоже участвовал в этой забаве, но несколько отстраненно. Мне нравилось наблюдать за тем, как творческий процесс охватывал ленивую поначалу аудиторию, которая в умственном состязании постепенно возвышалась до поэтических образов, а к концу карточного сеанса скатывалась к дешевым коридорным пошлостям.

Хтей спокойно относился к противоречивой оценке своего таланта. Он смотрел в стол и мелко, как бы про себя посмеивался, периодически поглядывая на скромную Наташу с романо-германского отделения. С ней у него вскоре завязались отношения. Хтей зачастил в общежитие. Появлялся в угловой комнате не только вечером, но и днем. Да еще со своим знакомым Чадиным.

В отличие от Хтея Чадин был серьезным, задумчивым интеллигентом. (Впоследствии он стал довольно известным в городе культурологом, автором нескольких познавательных книг и гума-

нитарных проектов.) Но той теплой весной глобальные идеи только зарождались в его светлой голове наряду с нежными чувствами к подруге Наташи – Ольге.

К концу сессии отношения этой четвертки вырвались за пределы общежитской комнаты.

Ко мне судьба тоже проявила благосклонность. Я перевелся в Санкт-Петербургский университет на факультет журналистики. Через год ко мне приехал Фома. Увлеченный свежими веяниями в музыке и искусстве, художествами и сленгом Митьков, он давно мечтал погрузиться в колоритную атмосферу Петербурга. А тут еще кстати в здании Двенадцати коллегий намечался бесплатный акустический концерт Гребенщикова, в ту пору окрашенного в белый цвет и походившего на Дэвида Боуи. Вместе со мной Фома проник на концерт в актовый зал, перевоплотившись в студента Санкт-Петербургского университета. После выступления божества, осып от восторженных эмоций, он между делом сказал, что недавно побывал на двух свадьбах, и это благодаря мне.

Сначала на Наташе женился Хтей, а следом, преодолев психологические барьеры, Чадин сделал предложение Ольге. Долго она не думала.

– Старик, ты отлично умеешь создавать семьи, – посмеивался надо мной Фома. – Тебе пора открывать брачное агентство. Журналистика когда-нибудь отомрет, а институт семьи вечен. Тут есть над чем поработать.

– Интересная мысль, – улыбнулся я в ответ. – А ты там никого себе не присмотрел?

– Где?

– В комнате под абажуром.

– Нет, – категорически махнул рукой Фома. – «Матери» не для меня.

– А Люда? Умная и очень даже ничего, – скромно поинтересовался я.

– Она симпатичная. – Фома остановился. – Ты знаешь, какой у нее рост?

– Сто восемьдесят пять, – сымпровизировал я.

– Сто восемьдесят девять, – уточнил он. – Я – пигмей, а она – дылда. С таким ростом ей еще долго маяться на пару с безнадежной Неделюк.

Воодушевленный встречей с Гребенщиковым, Фома улетел в Калининград. Я же был приятно удивлен тем, что, сам того не подозревая, принял негласное участие в основании двух брачных союзов.

Университет я закончил в 93-м. С пятого курса за мной уже числилось место в «Вечернем Петербурге». Я сотрудничал с отделом информации. Постепенно сходил с коллективом редакции, регулярно публиковал статьи и заметки. После университета я собирался продолжить работу в «Вечерке» штатным сотрудником, но планы мои изменились после того, как мне предложили поехать на полгода в Германию и поучить немецкий в Гамбургском университете, да еще за счет спонсоров.

В начале 90-х Западом болели многие. Знакомые и студенты из моего окружения придумывали всевозможные трюки, чтобы рвануть в Европу. Некоторым удавалось заключать фиктивные браки с возрастными иностранками. Двое художников с Невского уехали на лето в Италию в молодежный лагерь и не вернулись, третий – осел в горном шале у подножий швейцарских Альп, найдя в лесистой местности чудную поклонницу своих пейзажей.

Тогда было много подобных историй. Я не собирался следовать примеру знакомых. Мне хотелось посмотреть, как там живут.

С одной стороны желание, как и решение, вполне объяснимое, с другой – опрометчивое, если учесть, что места в «Вечерке» после долгого отсутствия мне никто не гарантировал. Понимая это, в редакции я больше не появился.

В Гамбург я поехал автобусом из Калининграда. Перед отъездом навестил родителей, встретился с Фомой. Хтея увидеть не удалось. Он продолжал работать в театре. Создавал первые арт-объекты из янтаря, а вечерами вступал в роль молодого отца. У него родился глазастый улыб-

чивый малыш с вьющимися поэтичными бакенбардами. Сына называли Кимом. Фотографию младенца мне показал Фома. Чадин потомством пока не обзавелся, а Люда и Неделюк не вышли замуж.

Подруги переехали в другое общежитие. Без приглашения я заглянул к ним в гости. Меня встретили приветливо, как старого знакомого. Нынешнее жилище молодых учителей было еще меньше студенческого. В центре комнаты по старой традиции стоял обеденный стол, застеленный белой клеенкой. С потолка свисал тот же красный абажур. Его ветхая ткань, кое-где прошитая нитками, пестрела росписями тех, кому в лихие студенческие годы довелось под ним выпить не один стакан горячительных напитков.

Заметив, что я разглядываю размашистые художества дипломированных филологов, Люда протянула мне черный фломастер:

– Распишись!

Я поставил краткую подпись на качнувшемся абажуре рядом с замысловатым иероглифом Хтея.

– Это он придумал?

– А кто же...

Люда внимательно смотрела на меня из-за абажура.

– Ты вообще не изменился. Все такой же гордый и интересный. – Она достала из серванта бутылку красного вина. – Значит, в Германию?

– Ага, – кивнул я в сторону воображаемого Запада. – Немецкий учить.

Тут в разговор вступила Неделюк. Она лежала с температурой под двумя одеялами.

– Саша, привези Люсе немца!

Староста поправила очки и окинула меня критическим взглядом, будто пыталась понять, способен ли я выполнить ее поручение.

– Город кишит туристами, а мы снова паримся в общаге!

Неделюк хлебнула вина.

– По-твоему, немец – банка пива? Вот так просто взять его и привезти? – осадила подругу Люда.

– Может, вам проще здесь познакомиться? – спросил я неуверенно.

– Ну-ну, с ними у нас познакомишься, – перевернулась на бок Неделюк. – Она заметно поправилась за последние три года. – К ним не подступишься. Ходят группами в сопровождении гидов. Да и с кем знакомиться? Со стариками?

– Молодежь приезжает по обмену, – попытался я ее успокоить. – В конце концов, есть Немецко-русский дом.

Неделюк заворочалась, протерла платком очки и снова потянулась к бокалу.

– Саша, ну какая мы молодежь? – Она недовольно уставилась на Люду. – Молодежь мы были на первом курсе, да проболтали драгоценное время. Теперь вот расхлебываем... Привези немца, – приказным тоном напутствовала меня староста. – Можем дать фотографии.

Я ничего ей не обещал, но фотографии взял.

2.

В лингвотеке Гамбургского университета меня встретили настороженным шепотом. Русские сюда еще не проникали. В статусе пришельца с недружественной планеты я просуществовал неделю. Потом со мной начали тихо разговаривать. Последней из преподавателей ко мне смилиостивилась пожилая Гертрауде. К своему удивлению, она обнаружила, что я не опасен, общителен и весел.

Вслед за Гертрауде симпатией ко мне прониклась стайка американцев во главе с веснушчатой, похожей на медвежонка Патрис. Видя, что я с трудом вхожу в их сумбурный групповой щебет, Патрис дала команду говорить со мной разборчивее. Сама же перешла к активной жестикуляции в кафетерии на большой перемене, пока не выбрала языком общения начальный немецкий.

Патрис была до назойливости болтливой и удивительно прожорливой. В обед она съедала по два больших йогурта. Сначала пробовала йогурт на кефире, а распробовав, – картинно морщилась, обсасывая пластмассовую ложечку. После недолгих раздумий она быстро расправлялась с малокалорийным продуктом и придвигала к себе йогурт на сливках. Завершался полдник мощным американско-молочным десертом с двумя бананами, которые быстро уничтожались под кофе.

В лингвотеку Патрис приходила с кипой американских газет. Читала она в основном последние полосы. Ее интересовали погода, светская хроника и спорт. Как и все американцы, она была не в меру шумной и беспардонной. По утрам на всю аудиторию от нее пахло зубной пастой и стиральными порошками.

В конце учебного курса Патрис устроила прощальную вечеринку. Она пригласила нас в дом своего немецкого друга и попросила, чтобы каждый пришел с каким-нибудь блюдом. Я принес пиццу, Моника приготовила спагетти, Ивона – бигос. На десерт Патрис подала мороженое с кусочками банана, посыпанное тертым шоколадом и политое вишневым вареньем.

Пришла в гости к виду горделивая Ив. Она ничего не приготовила. Зато охотно демонстрировала голодной публике длинную черную юбку, купленную в Кении. Страстью Ив были автомобильные путешествия по Африке. Она побывала в нескольких национальных парках и следующим летом собиралась в тур по Танзании. В Гамбург Ив приехала к своему немецкому другу, который оплатил ей языковые курсы.

На вечеринке не было Мадины, перебравшейся в Германию из Ганы, и Наоми. Ее, по сведениям Патрис, не отпустил ревнивый муж – бизнесмен. Со своим женихом Наоми познакомилась на Филиппинах. От меня она узнала, что в России говорят по-русски. Протяженность российских границ ее шокировала, а средняя температура января за Уралом повергала в ужас.

Наоми не ходила с нами в кафетерий. На перемене после первого часа она бегала в мини-маркет за сладостями. Мадина там же покупала йогурт, печенье и мороженое. На вопрос «Откуда ты приехала?» она мечтательно и хрипло отвечала: «Ich komme aus Ghana!»¹ Немецкие звуки давались ей с огромным трудом. Даже короткие фразы она рождала в муках, будто выталкивала изо рта тяжелые камни. «Ich komme aus Ghana-a-a», – шептала она заученно и протяжно, раскачиваясь на стуле. В ее темных глазах то и дело вспыхивали огоньки ностальгии по жизни, проведенной под жарким африканским солнцем.

К Патрис я пришел с Райнером. Он состоял в «Союзе немецких студентов» – организации с вековыми традициями и разветвленной сетью филиалов по всей Германии и Австрии. В «Союз» вступали студенты из семей с достатком выше среднего и выходцы из дворянских сословий.

Предки Райнера фом Хофе были крупными землевладельцами в Восточной Пруссии. Его дед жил в родовом поместье на Мазурах около Алленштайна². После войны Мазуры отошли к Польше. Дед Райнера покинул усадьбу в 44-м и обосновался в Баварии. Родители фом Хофе продолжили семейное дело. Отец Райнера возглавлял концерн по переработке сельскохозяйственной продукции, производству комбикормов и удобрений.

Всю вечеринку Райнер сидел с кислой миной, изредка улыбаясь в ответ на байки Ив об автогонках по саванне в окружении носорогов. Масштаб торжества был явно не его. Вместе с приятелем Патрис он нажимал на шнапс и бигос, который высоко оценил. Как и большинство немецких студентов, он любил хорошо поесть и выпить. К приезжим относился с легким пренебрежением, но до оскорблений и дешевых издевок не опускался. Особый жизненный уровень Райнера под-

¹ Ich komme aus Ghana – Я из Ганы (нем.).

² Алленштайн – г. Ольштын с 1946 г., Польша.

черкивали за пределами дорогие часы и белая идеально выглаженная рубашка с чистым, сияющим белизной воротником.

С Райнером я познакомился в небольшом арабском кафе у лингвотеки. Я уминал карривурст и листал учебник немецкого, когда меня аккуратно похлопали по плечу. Я отвлекся от сосиски: передо мной стоял симпатичный молодой человек. «Давно хочу завести дружбу с русским», – заинтересованно сказал он и представился.

Мы разговорились. Райнер отнесся ко мне без шаблонных предубеждений. Рассказал о печальной истории деда, потерявшего родину и землевладения. Он четко понимал, по чьей вине на долю его семейства выпало столько лишений. После окончания университета Райнер собирался поехать в Польшу с родителями, которые два года назад нашли отцовский дом и даже в нем ночевали. Усадьбу у озера предприимчивые поляки превратили в отель.

В десятом часу вечера наша компания распрощалась с Патрис и Хубертом.

– Американцы – скучные люди, – сказал Райнер, садясь в такси. – Еще нет и десяти, а мы едем домой. Они совершенно не умеют развлекаться. Им нравится, когда их развлекают. После они долго об этом рассказывают. Вот эта девица в африканской юбке... Как ее...?

– Ив, – напомнил я.

Райнер зевнул и поежился на переднем сиденье.

– Немецкий она решила слегка поучить из разнообразия. Со своим великовозрастным другом она тоже общается из разнообразия. Вот посмотришь, скоро к тебе придет длинное, нудное письмо о том, как ей замечательно жилось в Гамбурге.

Ив действительно написала мне письмо. Спустя полгода после окончания курсов я получил от нее послание на шести листах зеленой бумаги, пропахшей терпкими духами. Это был детальный, приправленный натуралистическими подробностями рассказ о ее похождениях по тоням Амазонки.

Вместе со мной Райнер вышел из машины. У подъезда сказал:

– В субботу разведемся как следует. Учебный процесс утомляет. Заодно познакомлю тебя со своим другом. Его дед был крупным торговцем в Данциге¹. Ты ведь поедешь с нами в Сан-Паули? Я кивнул.

– Отлично, – стиснул мне руку Райнер. – Гамбург – удивительный город. В нем компактно соседствуют роскошь и нищета, милосердие и снобизм богатеев.

– Разврат и культура, – добавил я.

– Вот именно, друг мой! Ты все правильно понимаешь.

В субботу около полуночи мы отправились в Сан-Паули. Нас вынесло из вагона подземки, наполненного пестрым ночным людом, и мы смешались с толпой, хлынувшей на Репербан. Народу было так много, что все это плотное гудящее шествие напоминало исход болельщиков со стадиона после футбольного матча.

Пахло жареным мясом и специями. Из открытых окон быстро глазели потные арабские лица, а за ними суматошные подмастерья в белых халатах длинными ножами срезали с вертелов запекшееся мясо. Отовсюду сыпались пятнистые бомбы витринного света. Вывески баров и эротических шоу поражали масштабом и резким, ядовитым буйством неона. В какофонии звуков и световых перестрелках, погружаясь во тьму и всплывая на свет, плыла и колыхалась людская толпа. У каждого здесь была своя цель, была нужда и была надежда. Туристы, панки в зрелом возрасте, нищие в лужах мочи у подъездов, пьяный мастурбирующий юноша под объемной вывеской Peep Show, мужчина модельной внешности в стильном дорогом пиджаке, уплетающий на ходу безразмерный хот-дог, – все смешалось в ночном районе всеобщей вольницы. Респектабельный, зажиточный Гамбург, живущий по строгим законам, остался где-то далеко, возможно, в моем воображении. Здесь царили другие законы, и нам предстояло решать, следовать им или нет.

¹ Данциг – г. Гданьск с 1946 г., Польша.

По мере погружения в развлекательные кварталы я понял, что наша троица явилась на Репербан в качестве любопытных созерцателей человеческого безумия. Самым консервативным из нас оказался Луц. Он вообще производил впечатление странного, заучившегося студента, для которого выход в Сан-Паули в компании сверстников, страдающих пикантных зрелищ, обернулся серьезным насилием над собственной личностью, устремленной к вершинам науки.

Они были абсолютно разные: аристократичный, подтянутый, готовый к любым приключениям Райнер, и нескладный (под два метра роста), практически лысый к тридцати годам, длиннолицый, губастый, в маленьких круглых очках Луц. Луц Домбровски, чьи родовые корни терялись в вольном ганзейском городе Данциге.

Мы остановились у забора, как попало заклеенного рекламными плакатами. Пока Луц решился перейти через запретную черту, Райнер просочился в расщелину между пролетами забора. Я последовал за ним. Там, на узкой улице, в искусно освещенных витринах первых этажей, как в вольерах, прохаживались полуобнаженные проститутки. Все они заученно преподносили себя: некоторые почитывали журналы, кто-то натирал загорелые ноги кремом, а кто-то делал вид, что не замечает зевак с отвисшими от удивления челюстями. Были тут и бывалые дамы в деловых костюмах. Некоторые витрины пустовали.

Как заведенные, мы крутили головами налево и направо. Луц неожиданно сделал несколько оборотов вокруг своей оси, панорамным взглядом окинув соблазнительные женские тела, которых, как по заказу, становилось все больше и больше.

– Согласитесь, все-таки неприятно, – сказал Райнер, не отводя глаз от маленькой, похожей на куклу азиатки, – иметь дело с женщиной, измученной за день десятком мужчин.

Воспитание и откровенная самовлюбленность не позволяли ему снизить до услуг асоциальных незнакомок, но поглазеть на женский зверинец в разноцветных лучах прожекторов он был не прочь.

– Это не только неприятно, но и опасно, – заметил Луц и прокашлялся в кулак. – Для чего нам тогда семья?

– Вот когда в семье не все в порядке, мужчина идет сюда, – вразумил друга Райнер.

Тут, как будто в подтверждение его слов, из толпы выделился неприглядный тип в шляпе, сдвинутой на глаза. Он откликнулся на приглашение дамы в розовом купальнике, поманившей его длинным пальцем под оранжевым маникюром.

– Ich komme, mein Schatz¹, – крикнул мужчина, поднимаясь по ступенькам, застеленным красной ковровой дорожкой. – Ich komme gleich².

Мы переглянулись. Луц сморкнулся в бумажный платок.

– Нам, кажется, пора перекусить, – верно предположил Райнер.

– Давно пора, – подтвердил Луц, увлекая нас к выходу в город.

В деревянном баре, затерянном в прилегающих к Репербану улочках, мы очутились глубокой ночью. В меню преобладали напитки, в основном крепкие. Из небогатого выбора еды спросом пользовались гамбургеры, чипсы, картофель фри и сосиски с горчицей. Мы взяли по бутылке «Хольстена» и большую тарелку чипсов – слабое утешение для трех пустых желудков. Вокруг было жутко тесно и неуютно. За нами шла нескончаемая шумная возня. Кто-то настойчиво терся о мою спину. Пару раз чей-то локоть врезался в руку Луца, и пенный фонтан из его бутылки обдал хмельным ароматом мою куртку, а брызги пива из бутылки Райнера угодили в тарелку с острыми чипсами.

Я не сразу понял, что шуршали в толпе девицы в белых растянутых майках, надетых на голые тела. Они норовили влезть грудью туда, где вряд ли можно было протиснуться боком. Некоторые из них ловко запрыгивали на столы и застывали в мечтательных пляжных позах, глядя в потолок,

¹ Ich komme, mein Schatz – Иду, моя детка (нем.).

² Ich komme gleich – Уже иду (нем.).

на котором как бы подразумевалось яркое солнце, а на самом деле на сетке, натянутой над головами по периметру зала, как мусор, валялись банкноты африканских государств, обесцененные гиперинфляцией.

Райнер заказал два шнапса, Луцу взял еще пиво. Напитки нам доставили быстро. Полная азиатка, пронесшая над собой поднос на вытянутой руке, задержалась у нашего стола, несмотря на то что Райнер тактично попросил ее удалиться. Она пыталась что-то объяснить нам на непонятном стрекочущем языке, но мы, занятые беседой и чипсами, не слушали официантку и изредка поглядывали на ее внушительные округлости, прижатые к краю столешницы. Вдруг она запустила руки под оборчатый вырез майки и выложила на стол большие темные груди. Следом бросила на стол сытую десятимарочную бумажку. Так она оценила свой смелый поступок.

Возникла непредвиденная пауза. Первым действия возобновил Райнер. Он выпил шнапс, за ним я опрокинул рюмку, а Луц, гляннув на нас, с усилием проглотил застрявшие в горле чипсы. С невозмутимым видом Райнер положил возле увесистого бюста двухмарочную монету. Девица громко выругалась, но деньги взяла.

– Незнание английского языка мешает им зарабатывать деньги, – сказал уверенно Райнер. – Наверняка они работают нелегально. Да и собрали здесь непонятно кого. Страшные лица, кошмарные фигуры.

– Хотите увидеть красивое лицо?

Не дожидаясь ответа, я достал из внутреннего кармана паспорт и из-под обложки извлек фотографию Люды. Снимок был сделан в общежитии. Люда сидела за столом под расписным красным абажуром и сосредоточенно смотрела в окно, мечтая о долгожданном заморском принце.

– Ого! Вот это лицо! – Райнер мгновенно оценил фото. – И кто сия прекрасная леди?

– Моя знакомая. Учились вместе в университете.

– Твоя однокурсница? – Луц уставился на Людин фотопортрет и многозначительно поиграл складками на высоком белом лбу.

– Угадал. Она отлично знает немецкий. Без пары. Ждет встречи с серьезным немцем, – заинтриговал я Луца.

На этот раз он умно пошевелил редкими бровями. Люда ему явно понравилась.

– Да, я планирую посетить Калининград, – возможно, только что решил Луц. Он положил перед собой фотографию и продолжал изучать женский задумчивый профиль. Обзорная прогулка по Репербану завершилась для него приятным сюрпризом. – После окончания университета я буду работать в Польше, во Вроцлаве. Надо подумать, как оттуда до вас добраться.

– Ну это очень просто. От Вроцлава до Варшавы, а дальше напрямую автобусом, – успокоил я озадаченного коллегу и спрятал фотографию в надежное место.

Поручение Неделюк было выполнено. Легко и изящно, без видимых усилий. Кандидатура Луца являлась небезупречной, но вполне подходящей. По росту и национальной принадлежности он соответствовал запросам подруг. Кроме того, он происходил из порядочной семьи. Внешностью, правда, природа его обделила, но по этому поводу он не комплексовал, а целью поставил побороть подростковую застенчивость. Но главным достоинством Луца был гарантированный рабочий контракт. Найти работу с дипломом о высшем образовании мечтал в Германии каждый выпускник университета. Рассматривались любые варианты трудоустройства: в восточных землях, в совместных предприятиях на территории бывших государств соцлагеря, да где угодно.

Мы рассчитались с подобрешней официанткой, наградив ее скромными чаевыми, и вышли на улицу.

Ночная вакханалия продолжалась. Подогретая крепкими напитками, клокочущая толпа курсировала вдоль заведений, предлагающих невероятные развлечения. У подъездов стояли малолетки, приглашая в гости озабоченных смельчаков. Повсюду гремела танцевальная музыка. Я вяло реагировал на сплясанные вспышки маяющих вывесок. Едкая реальность постепенно ускользала от меня, прячась в туманной пелене засыпающего сознания.

Мы нырнули в грязное брюхо подземки. Перепившие и оглохшие обитатели Сан-Паули разъезжались по домам, бездомные ехали ночевать в укромные уличные места и на вокзалы. Рядом со мной на твердое сиденье приземлился волосатый дед, отдававший противоречивыми ароматами прожитой жизни. Он был доволен прожитым днем. В его мокром матерчатом рюкзаке позвякивали бутылки, собранные в окрестностях гульнувшего Репербана.

Поезд выбрался на поверхность. На Эльбе горели огни. Корабли издавали глухие, утробные звуки. Всеми силами я боролся со сном. Райнер молчал. Луц дремал, сложив на груди руки. В ту ночь сквозь меня прошли тысячи звуков. Я был просвечен рентгеном реклам. Я сказал столько слов! Зачем? И теперь все, что я мог – бесцельно сидеть, идти, лежать, спать... Каналы восприятия закрылись. Репербан улетучился. И уже из дальнего прошлого ко мне явилась стройная девочка, одетая весьма условно. Мы встретили ее в одном из подземных гаражей, где вместо машин стояли ее напарницы, такие же молодые, такие же полуголые и дешевые. «Ну что же вы такие нерешительные? – спросила она, выйдя к нам из темноты. – Сюда приходят по делу».

На кровать я упал в одежде. Голова гудела. Легкое кружение в голове медленно вращало комнату. Поворот предметов против часовой стрелки свершался беспрепятственно, можно сказать, плавно. Я постепенно сползал в ущелье сна, что в реальности приближало меня к краю кровати. Так я и заснул на животе, упершись рукой в паркетный пол, который утром пришлось отмывать тягучим моющим средством.

Через неделю я уехал в Калининград. В лингвотеке нашу группу одарили сертификатами об окончании курсов немецкого языка – уровень для начинающих. Это событие мы отметили скромным чаепитием в нашей аудитории. Пришли преподаватели. Герттрауде торжественно пожала мне руку и на английском с ужасом пересказала кадры расстрела танками Дома Советов, прокрученные в прайм-тайм по всем немецким новостным каналам.

– Что происходит в России? – недоумевала она, перейдя к цитатам из утренних газет. – Коммунисты снова рвутся к власти? Парламент распущен. Будьте там осторожней, мой друг!

Я возвращался домой, терзаемый одним лишь вопросом: что делать дальше? В азартном, беспринципном мире 90-х мне предстояло найти свое место.

3.

С дипломом Санкт-Петербургского университета меня приняли в отдел информации центральной областной газеты. Журналистом я проработал три года. В редакцию то и дело приходили замордованные диким рынком горожане с мольбами решить их житейские проблемы, в области бушевали криминальные войны, работники социальной сферы не получали зарплаты, а мы дружно следовали трусливой политике главного редактора, рапортуя о мизерных успехах портовиков и освещая деловые встречи властей региона с иностранными делегациями, пачками привозившими специалистов по инвестициям в экономику области.

Зарплата молодого корреспондента была еще позорнее официальной линии газеты, а гонорары – смехотворными. Чтобы пойти вразрез с цензурой главреда, я начал писать художественные миниатюры о персонажах своего времени: учителях, торгующих на рынке турецким ширпотребом, офицерах, вынужденных таксовать по ночам, чтобы прокормить семью... Некоторые из этих миниатюр сложились в рассказы.

Луц приехал весной. Он действительно работал в Польше в крупной компании с немецким капиталом. Предприятие производило лифты для жилых домов.

Стояли солнечные майские дни. Люда ожидала приезда гостя в приподнятом, волнительном настроении. Выходные подруги посвятили уборке в комнате. Неделяк вымыла окно. Люда надрайла пол, пропылесосила ковер. На столе появилась новая скатерть. Из химчистки я привез два старых атласных покрывала. Винные пятна на них не вывелись. Это расстроило Неделяк

и раззадорило Люду. Вокруг стало свежо и чисто. Завелся дух новизны. И только полинявший бледно-розовый абажур, испещренный автографами разбежавшихся по жизни филологов, был неподвластен спонтанным переменам в жизни подруг. Его покосившийся овал грузно свисал с бугристого потолка на тонком проводе, подсвечивая с высоты прожитых лет вазу с тюльпанами на круглом столе.

Завтра мне предстояло доставить Луца в общежитие. На этом моя добровольная миссия по привлечению потенциального жениха заканчивалась.

Накануне приезда видной персоны я допоздна задержался в редакции. Виной тому стала пыльная тяжелая штора, напоминавшая театральные занавесы. За шторой на журнальном столике возле раковины Карабанов хранил графин с огнеопасной прозрачной жидкостью. Перед тем как перейти к рабочим вопросам, Алексей Геннадьевич тихо, почти шепотом, говорил:

– Александр, проследуйте в актовЫй зал!

В первые месяцы журналистской деятельности мне было неудобно и совестно начинать рабочий день в редакции не с кружки крепкого кофе. Однако по мере знакомства с сотрудниками газеты я убедился, что минимум пять мэтров местной словесности соблюдают по утрам тайный ритуал за портьерой, считая его легкой разминкой перед погружением в творческий процесс. Мое посвящение в профессию проходило под чутким руководством Карабанова. Как выяснилось, стесняться традиций тут было не принято.

Вечером, когда Луц собирался в дорогу, рисуя в воображении заманчивые черты Люды, Карабанов проводил со мной поучительную беседу на тему «Основы журналистского мастерства». Сам он тяготел к крупным публицистическим журналам. Писал очерки о капитанах дальнего плавания, земляках-космонавтах, заслуженных врачах, живописцах. Меня призывал покончить с мелкотемьем и найти своего героя. В помощь он выписал мне адреса известных в городе личностей и настойчиво просил встретиться с ними для подготовки серьезных материалов, которые по его плану должны были оформиться в книгу о тружениках края.

Я всячески препятствовал воплощению этих замыслов. Меня больше интересовали социальные и экономические вопросы. Писать о закрывающихся предприятиях и челноках, оккупировавших российско-польскую границу, в газете никто не отваживался. Об этом, как и о свирепствующей цензуре в главном областном издании, я и сказал Карабанову.

– Ерунда, – обронил безучастно Алексей Геннадьевич, продолжая стучать по отполированным клавишам пишущей машинки. – Не теряйте время, молодой человек, на бесполезную борьбу. Ищите свой материал. – Карабанов вдруг превратился в принципиального наставника. – Держите курс на книгу!

Он встал из-за стола. После скупого напутствия почесал большим пальцем аккуратную морскую бородку и в задумчивости отодвинул штору:

– Пора, Саша! Пора! В добрый час!

Он разлил водку по граненым стаканам и из тумбочки достал банку соленых огурцов.

Не помню, сколько в тот вечер мы совершили совместных проникновений за штору. Домой я вернулся под утро, а Карабанов остался в редакции дорабатывать очерк о председателе областного отделения Союза художников.

Луца я встретил на автовокзале. Он был в своем сосредоточенно-пасмурном настроении. Однако наградил меня дружеской улыбкой. По дороге в гостиницу он заявил, что поедет к Люде завтра, ибо устал от тряски в автобусе, хамства таможенников, хочет принять душ, отдохнуть и выпаться. Более того, он вызвался доехать до общежития без моего сопровождения. Я не возражал, наоборот, был доволен, что спокойно допишу статью, которую мне предстояло сдавать в понедельник.

Я простился с Луцем у гостиницы. Через пару дней он обещал мне позвонить и пригласить на пиво. Я побежал на остановку и уже из громыхнувшего дверьми трамвая увидел его, нескладного

и худого, все еще стоявшего с нелепым полосатым чемоданом на колесиках у гостиничной вывески.

Через несколько дней мне позвонила... Неделюк. Она всегда пребывала в недобром расположении духа, но в этот раз голос ее сплошь пронизывали гневные интонации.

– Саша, ну кого ты нам привез?! – кричала она в трубку. – Посмотри, какие немцы понаехали в город: породистые, холёные! А это кто? Два метра сухостоя, тростник болотный в тертых джинсах!

– По росту он подходит, – пришлось мне оправдываться. – К тому же, из хорошей семьи.

– Может, и из хорошей, да с дурными манерами, – не унималась Неделюк. – Даже цветы девушке на первом свидании не подарил. Еще и спрашивает, на чем бы вы хотели поехать в центр: на трамвае или такси?

– У них не принято дарить цветы женщине, которую видишь первый раз, – вступился я за Луца.

– А ты бы ему объяснил, что без цветов у нас с женщиной не знакомятся, – напирала Неделюк.

– Таня, вы все это затеяли, а я теперь виноват, – взбесила меня староста. – Радуйтесь, что он вообще приехал.

Но Неделюк меня не слышала.

– Он еще и в Польше работает! И фамилия у него польская! Ну какой же это немец?

Она продолжала награждать Луца нелицеприятными эпитетами, пока я не бросил трубку.

Какого черта я ввязался в эту историю?

Возвращаться к пресному репортажу об открытии нового трамвайного маршрута не хотелось.

Луц мне не позвонил. А я не появился в общежитии после этого разговора.

4.

Прошло семнадцать лет. С подругами я не общался. Периодически виделся с Фомой. Он работал дизайнером на мебельной фабрике.

Хтей стал художником по янтарю. В краеведческом музее я долго рассматривал два его изумительных парусника, выполненных по заказу городской администрации.

Чадин иногда мелькал на местном телевидении в новостных программах. Комментировал культурные события, выдвигал проекты обустройства исторической части города.

Я покончил с журналистикой. Поработав в нескольких рекламных фирмах, я основал собственное агентство по производству наружной рекламы и даже накопил на двадцатипятиметровую студию на городской окраине. Но случилось это после того, как я развелся.

С Анастасией я промучился полтора года. Жизнь под диктатом властной женщины с деспотичными замашками Неделюк очень быстро превратилась в ежедневное испытание. Романтические отношения двух влюбленных легкомысленных созданий вытеснила отвратительная семейная грызня. Вечерами я сознательно задерживался на работе. Приходил домой в девятом часу с одной лишь целью поменьше до отхода ко сну лицезреть эту истеричную особу, распространившую свою гегемонию на весь периметр съемной квартиры. Анастасия встречала меня в гостиной, победно восседая на диване за семечками и пивом, готовая перейти в наступление, стоило мне изречь что-нибудь, что выходило за рамки ее представлений об идеальном муже. Во мне ей не нравилось всё: прическа, одежда, обувь, привычка читать на ночь, пятничные походы в баню с друзьями. Ее бесил мой рабочий микроавтобус. Она считала мой верный «пыж»¹ ржавой рухлядью на колесах и однажды отказалась в него садиться, что меня сильно обрадовало. Она терпеть не могла ходить со мной в гости к своим «просвещенным» подругам. Впрочем, я сам отказался от этого мутного занятия. Тогда она стала намеренно задерживаться допоздна на женских посидел-

¹ «пыж» – «пежо» (авторск.).

ках, которые нередко заканчивались в ночных клубах. Ее подруги были дамами преимущественно разведенными, занятыми бесконечными поисками спутника жизни.

Дело шло к разводу. Я не решился первым подать заявление в силу слишком правильного воспитания и надежды родителей на внуков, ей же все еще нравилось ошпаривать меня кипятком бессознательного гнева. Она получала от этого удовольствие, которое подпитывала постоянными скандалами. Правда, случалось, Анастасию посещали приступы терпимости к вечернему посетителю ее владений, и она превращалась в мягкое, податливое существо, позволявшее до себя дотронуться.

Наши отношения подытожил некий Валентин. По выражению домохозяйки, он был человеком харизматичным, деловым и перспективным. Ездил на старом «лексусе», подвозил Анастасию с работы, дарил цветы. Валентин стал ее близким другом, вернувшим «вкус жизни». Об этом она мне сказала, собираясь в гости к подругам, куда был приглашен и Валентин.

– Ничего, посмотришь, как надо относиться к женщине, – говорила Анастасия, активно ретушируя щеки тональным кремом. – Глядишь, и все у нас наладится. Может, поумнеешь.

Вслед за ней я ушел из дома. И не вернулся.

После развода мужчины бросаются в две крайности. Первая – всепоглощающая, порой бесполовая работа с утра до поздней ночи; вторая – затяжные хмельные приключения с темными личностями, зачисленными по понятиям улицы в верные друзья. Я пошел по первому пути, хотя соблазн скатиться по скользкой наклонной плоскости в омут питейного беспредела преследовал меня довольно долго.

Работал я допоздна. Бывало, и по выходным. Наружная реклама – прилипчивое дело, которое поглощает целиком, стоит лишь вникнуть в тонкости рабочего процесса. Не успеешь покончить с одним заказом, тебе несут следующий с пометкой на сопроводительном бланке «сделать завтра к двенадцати».

На второй год после развода я позволил себе снять однокомнатную квартиру в новом доме. Анастасия с Валентином снимали двухкомнатную. Мой уход был для нее полной неожиданностью. Скандала по вечерам, она и думать не смела, что я способен на столь радикальный поступок. Теперь она пилила мозг Валентину.

В редкие выходные я упивался целебной тишиной в своей комнате. Мне даже не мешало сплое твяканье престарелой дворняжки, жившей надо мной вместе с бабулей-пенсионеркой. Я наконец вернулся к чтению и составил длинный список из книг, отложенных в родительский шкаф до лучших времен. Я воскресил занятия цигуном, а по пятницам мы традиционнo парились в бане.

Моя комната напоминала петербургское коммунальное жилище на Тамбовской, в котором я провел четыре студенческих года. Стол, диван, шкаф, два стула у стены. Тот же набор дешевой, простецкой мебели для одинокого квартиранта, только в более современном исполнении. И квартирант, равно как и студент-пятикурсник, в том же состоянии житейской неопределенности, только с горьким осадком на душе после развода.

Зато теперь я был свободен. Никто не повышал на меня голос. Порой буянили заказчики и понимало начальство, за сутки исполнявшее с моей помощью капризные желания клиентов. К подобным выкрутасам директора я относился спокойно. Может, это и к лучшему, что из меня не вышло пропитого провинциального очеркиста и вместо ежедневных алкосеансов за шторой, погубивших Карабанова, я довольствовался прохладным пивом по пятницам в компании коллег по рекламному цеху.

5.

Встречи со старыми знакомыми всегда происходят неожиданно в непредсказуемых местах. Неделик внезапно нашлась в банке. К тому времени я обзавелся собственным делом, при-

личным микроавтобусом, снял небольшой офис и цех. Постепенно круг наших клиентов расширился, и вот теперь мне предстояла встреча с управляющим банка. На горизонте маячил крупный контракт. Можно было взять на обслуживание солидную организацию.

Управляющий опаздывал. Он вообще не любил вовремя возвращаться с обеда. Я ждал его у приемной в надежде заинтересовать нашим предложением.

Ожидание начальства, рулящего финансовыми потоками, – занятие неприятное и утомительное. Мало того, что транжиришь драгоценное рабочее время, так еще маешься в неведении: серьезные намерения у заказчика или тебя пригласили, чтобы подшить в папку очередное коммерческое предложение?

– Вам чай или кофе? – вывел меня из раздумий женский голос. – Зураб Муратович будет через пятнадцать минут, – вновь послышалось из приемной.

– Можно кофе.

Я отложил в сторону эскизы и сметную документацию. В дверях с белой кружкой, помеченной логотипом банка, стояла Неделюк.

– Саша, это – я! Ты не обознался.

Тучным телом она затмила почти весь дверной проем. В облегающей белой блузке с синим корпоративным платком под приподнятым воротником и черной выше колен узкой юбке она смотрелась довольно привлекательно. Ее новый банковский образ дополняли прямоугольные очки в толстой темно-синей оправе и остроносые лакированные туфли на высоком каблуке. Пахло от нее модными, знойными духами.

– Отлично выглядишь, – протянула она мне кружку. – Моложавый, привлекательный.

– Да и ты хороша, – принял я кофе и на шаг отступил от ее массивной, борцовской фигуры.

Неделюк села рядом со мной, закинув ногу на ногу и рискуя по швам распусть кричавшую юбку.

– Делись новостями. Как дела на личном фронте?

– Новостей нет. Давно развелся, – сказал я, впечатленный ее близкими складчатыми формами.

– Понятно. Работаешь воскресным папой, – рассудительно заметила Неделюк. – Мальчик? Девочка?

– Не угадала, – улыбнулся я, почуяв знакомые наступательные нотки. – Радость отцовства меня миновала.

– Значит, сгораешь на работе, – приблизилась она к истине. – Решил утопить себя в бизнесе. Я снова улыбнулся.

– А вы как поживаете? Как Люда?

– У нас...

Неделюк резко поднялась, одернула юбку и быстро поправила прическу. Вскликая с кресла, она глянула на свое отражение в зеркале, висевшем в приемной.

– Тихо, потом поговорим. Гафаров идет!

Неделюк встала у стены, превратившись в источник сплошной сияющей радости. Я последовал ее примеру и присоединился к почетному караулу.

Хороший секретарь узнает шаги босса по звуку каблуков на лестничной клетке. Неделюк это делала блестяще. Было видно, что в банке она работает не первый год и местом своим дорожит.

Гафаров появился в коридоре в сопровождении зама – светловолосой короткостриженной женщины в темно-зеленом костюме. Дама чинно следовала за шефом, неся глянцевый кожаный портфель управляющего.

– Реклама нас продвинет? – спросил Гафаров не без иронии и пригласил меня в кабинет.

– Обязательно, – заверил я управляющего.

Неделюк повесила в шкаф ароматный плащ босса и закрыла за нами дверь.

От Гафарова я вышел ни с чем. Он принял к сведению наше предложение. (Контракт с банком мы заключили в следующем году.)

В субботу мне позвонила Неделюк. Голос ее был полон тревоги.

– Как ты думаешь, зачем я тебя набрала?

– Не знаю, – сказал я, продолжая склеивать фрагмент акриловой буквы. – Обещала рассказать о себе, о Люде.

– Вот именно, Саша. Ты, как всегда, прав. – Она сделала паузу и грустно вздохнула. – Обо мне рассказывать нечего. Твой случай, только радость материнства мне хорошо известна. Очень хорошо, – добавила она. – Тут дело в другом. Надо Люду спасти!

– Что случилось? Заболела? Что-то серьезное? – спросил я, не отрываясь от работы.

– Лучше бы она заболела! – Неделюк замолчала и шмыгнула носом. Потом снова вздохнула.

Похоже я недооценил масштаба их личной драмы.

– Не пойму тебя, – сказал я раздраженно и отложил букву.

– Что непонятного, Саша? – с новой силой завелась Неделюк. – Бабе пятый десяток, а мужика рядом нет. Чахнет она!

– Только и всего? – вырвалось у меня непроизвольно. – Я-то думал...

– Думал он... А о чем ты думал, когда разводился? – сорвалась она на крик. – Из скромного секретаря она вдруг превратилась в базарную тетку. – Думал, бизнес – это всё? Есть деньги – и семьи не надо? – Она призадумалась. – Гафаров тебе нервы еще поматает. Сдашь заказ – оплаты год будешь ждать. Вот посмотришь! – И после паузы, успокаиваясь, закончила: – Может, тебе и хорошо с тупоголовыми клиентами, а ей одной плохо.

– Таня, что ты от меня хочешь? Я вообще-то занят.

– Найди Луца! – взмолилась Неделюк.

Ого, этого я никак не ожидал! У Люды, видно, тоже не сложилось.

– Да сами его найдите! Соцсети вам в помощь!

Я вышел на улицу и закурил.

– Мы его уже нашли, – заверила меня Неделюк. – Тебе нужно только объяснить ситуацию: мол, ждем с повторным визитом! Остальное мы берем на себя.

Я не раз замечал, что деловые мужчины ничего не смыслят в простых житейских вопросах. В быту ими управляют жены или любовницы. Не знаю, чем на профессиональной стезе занимался муж Неделюк, но мне показалось, что он не выдержал всепоглощающей энергетики сумасбродной женщины. Теперь я сдерживал ее наступление.

Этот бестолковый разговор мне порядком надоел, но из приличия я его продолжил:

– Когда-то, очень давно, вы отвергли нормального парня. После встречи с Людой он мне даже не позвонил. Сейчас вы хотите, чтобы я как ни в чем не бывало снова его пригласил. У него, небось, семья, дети. А вдруг он – молодой дедушка – страшный и дистрофичный? – Я бросил в урну окурки. – Упустили красавчика...

– Да, Саша, все надо делать вовремя, – согласилась Неделюк. – Волос у него больше не стало. Он такой же худой и стройный, но отнюдь не страшный. Вполне достойный европеец, – проинформировала меня Неделюк. – Открой его страницу в Фейсбуке и сам убедишься, что выглядит он неплохо. Многим мужчинам свойственно хорошееть после сорока. К тебе это тоже относится.

Неделюк замолчала, пытаясь понять, готов ли я влезть в новую авантюру?

– Короче, мы на тебя надеемся.

Я сел за компьютер, бросил печальный взгляд на недоделанную букву и открыл Фейсбук.

Луц охотно вступил со мной в переписку. Он жил в Дрездене. Работал в известной страховой компании. В составе тургруппы посетил Петербург и Москву. На деликатный вопрос о семейном положении ответил просто: жениться пока не довелось, холостяцкая жизнь его вполне устраивает. Работой доволен. Такой ответ не стал для меня неожиданностью. На Западе и к сорока не все созревают для семейной жизни.

О Люде у Луца остались приятные впечатления. На предложение приехать к ней в гости еще раз он ответил утвердительно после недельных раздумий, чем ввел Неделюк в состояние эйфории, явно преждевременной.

– Саша, ты – гений! – звенела она мне в ухо на фоне отдаленных Людиных оваций и многократного YES!

6.

Луц появился в Калининграде осенью. Судя по быстрому согласию на встречу с Людой, не так-то радостно ему жилось в музейном Саксонском городе. По немногочисленным фотографиям на его интернет-странице, сделанным на фоне исторических памятников Дрездена, я пришел к выводу, что он не особо изменился с тех пор, как подруги развернули его с порога общежития. Выглядел Домбровски действительно хорошо. Был абсолютно лыс, поджар, розовощек. Не расставался с круглыми очками, забавно висевшими на длинном приплюснутом носу. Предпочитал короткие плащи и узкие джинсы. Носил деловые туфли, реже позировал в белых кроссовках на яркий носок – дань сегодняшней моде.

На сей раз Луц ехал к подругам в ранге «достойного европейца». Повторное изгнание ему не грозило. Его ждали с распростертыми объятиями, как последнюю надежду в решении затянувшегося личного вопроса Люды.

«Надо купить красивый букет, – подумал я накануне решающей встречи, назначенной в центральном городском парке. – Что-нибудь из экзотики: лилии или орхидеи. А то зайвится с гвоздиками или вообще придет без цветов».

О своем намерении подобрать Люде солидный букет я сообщил Луцу. Он согласился и сказал, что в выборе цветов полностью доверяет моему вкусу.

Лилии я купил в павильоне у нашей заказчицы. Она тактично поинтересовалась, кому предназначен столь весомый букет, а узнав, – долго колдовала над его оформлением. Все это время я терпеливо вдыхал дурманящий запах популярной экзотики.

На улице разум мой просветлел. После второй сигареты вернулись привычные жизненные ощущения. Осталось передать букет Луцу. Насыщая городскую среду обильными потоками приторной сладости, я спешил к главному входу в зоопарк – там мы условились встретиться.

За полчаса до свидания на экране смартфона высветился комичный профиль Луца.

– Друг, извини, я опаздываю, – виновато бубнил он в трубку. – Вчера допоздна писал отчет о командировке в Гданьский филиал нашей компании. Сегодня дописывал. – Луц замолчал и дистанционно высморкался. – Сейчас беру такси и лечу в парк. Пожалуйста, подходи туда. Ты с цветами?

– Через полчаса у тебя встреча с девушкой, с дамой, – поправил я себя, – а ты строчишь отчет. Ты вообще нормальный? – задался я резонным вопросом.

Меньше всего мне хотелось присутствовать на их свидании. «Увертюра к главному действию», как говаривал Карабанов, вновь не сулила ничего хорошего двум одиноким страдальцам. К тому же, я планировал отдать цветы и вернуться в мастерскую. В понедельник нам предстоял сложный монтаж. Нужно было основательно подготовиться к выезду.

Снова пересилив себя, я вызвал такси. Наверняка Люда уже дожидалась избранника в парке, а Неделюк дежурила поодаль в предвкушении волнительного события.

К назначенному времени я опоздал на пять минут. Луц прохаживался у скамейки перед фонтаном, где судьба готовила ему финальное испытание.

– О, какие прекрасные цветы! – просиял Домбровски и беззастенчиво улыбнулся.

Складывалось впечатление, что в парке он торчит далеко не первый час.

Луц сграбастал меня длинными руками и вместе с букетом прижал к твердой плоской груди.

– Рад тебя видеть, – разжал он цепкие объятия и выпустил меня на волю, внимательно осматрив с головы до ног.

– Взаимно, – безропотно сказал я и вручил ему цветы.

Чутким, подвижным носом Луц проник в гушу раскидистого букета и почему-то отпрянул от цветочного великолепия, испачкав кончик носа желтой пыльцой.

Я обернулся. Навстречу нам с протянутыми руками, чуть не плача, шла Люда. Вдруг, распахнув пальто, она побежала. Луц смахнул с носа пыльцу рукавом плаща и, разведя в стороны огромные руки, как крылья, бросился к Люде. Он бежал и в экстазе тряс букетом, будто хотел разметать лилии по грунтовой тропинке.

Они сошлись. Теперь Луц обнимал Люду, но в тысячу раз крепче и пламеннее. Он закружил ее над дорожкой, усыпанной кленовыми листьями, и аккуратно поставил на землю. Его гибкие, крючковатые пальцы, как лапки паука, нервно бегали по ее клетчатой драповой спине, словно перебирали клавиши рояля. Спрессованный букет застрял между ними, но постепенно полз к земле, оставляя тонкие шлейфы пыльцы на подоле Людиного пальто и голубых джинсах Луца.

Я подобрал лилии и сел на скамейку. Молодые держали друг друга в объятиях и о чем-то увлеченно болтали. Похоже, одиночество их добило.

Сцена была трогательной, хоть снимай на камеру. Дурные предчувствия не оправдались.

Я выдохнул с удовлетворением и посмотрел на часы. В мастерской лежали неупакованные стенды. Я ждал, когда остывающие эмоции пары улягутся, чтобы в конце концов избавиться от цветов.

Первой из оцепенения вышла Люда. Она застегнула пальто, удостоила меня счастливым взглядом и, взяв под руку, повела Луца к выходу.

– Цветы! – крикнул я им вдогонку, на что Люда, не обернувшись, лишь вальяжно махнула рукой в мою сторону, а Луц огласил окрестности парка победным кличем.

Я всегда считал себя человеком спокойным и миролюбивым, но в тот вечер в отношении навязчивого букета во мне пробудились коварные мысли. Я подумал, что бы такое сделать с цветами, и не заметил, как на скамейку кто-то подсел.

– Не расстраивайтесь. Цветы всегда к радости, – услышал я женский голос.

Рядом со мной невеста откуда возникла аккуратная дама в бирюзовой шляпке с розовым бантом. Было в ее чуть сдвинутом набор головном уборе что-то из моды восьмидесятых, когда осенью ходить с непокрытой головой отваживались немногие. Полупальто горчичного цвета и коричневая без изысков сумочка с крупным золотистым замком вполне соответствовали среднему возрасту незнакомки.

– Приятно видеть счастливых людей, – прошептала женщина и с завистью посмотрела вслед удаляющейся паре. – Тем более, если их счастье проверено годами.

– Чье счастье? – в недоумении спросил я.

Дама в шляпке придвинулась ко мне.

– Люды и Луца.

Миниатюрной рукой в бордовой замшевой перчатке она проникла в сумку и вытянула оттуда, будто из сейфа, заранее приготовленную фотографию.

На ярком глянцевом снимке Люда в эффектной свадебной шляпке стояла в обнимку с Луцем на ступенях готического собора. Проникшись торжеством исторического момента, Домбровский выглядел показательно серьезным. Люда же светилась от радости, уткнув блестящие алые губы в остатки рыжевато-бакенбарда молодожена.

– У них и потомство имеется? – спросил я, пытаясь сдержать прилив внезапного хохота.

Я отвернулся от бирюзовой шляпки и интеллигентно закатился в кулак, содрогнувшись всем телом так, что завибрировала скамейка.

– У них сын – Клаус, – представила члена семьи незнакомка. – Мальчику четырнадцать лет. Занимается баскетболом. Подает надежды. Я зову его Колей.

В кармане куртки я нашел платок и протер влажные глаза. «Это же надо было так попасться: в парковой постановке отлично сыграть роль, отведенную мне Неделюк. Ей бы не в банке работать, а писать любовные пьесы для ведущих театров!»

Я вновь разразился хохотом.

«Ну-да, Люда ведь чахнет», – вспомнились мне роковые слова Неделюк.

На этот раз я смеялся открыто, глядя в большие, раскосые глаза незнакомки. Именно ей, по сценарию Неделюк, мне предстояло вручить многострадальный букет. На другой поступок в этой ситуации я был просто не способен.

– Простите, меня сегодня потряхивает, – виновато покосился я на осторожную дамочку. – Это скоро пройдет.

Я взял себя в руки и спросил:

– Вас как зовут?

– Виолетта, – ответила она гордо, сделав акцент на двойном «т» в конце своего необычного имени, имевшего приятный фиалковый оттенок.

Не представившись, я протянул ей цветы.

– Спасибо, Саша! Замечательные лилии. Обожаю этот аромат. Глубокий, обволакивающий.

Виолетта поставила сумку на скамейку и прижала лилии к груди.

– Люда мне о вас часто рассказывала. В городе я недавно. Приехала в Калининград из Вентспилса. Работаю в школе. В разводе. Детей нет.

Чудеса продолжались. Я призадумался и сказал:

– Ну вы в курсе моего семейного положения.

– Ага. – Виолетта придвинулась еще ближе. – Мне импонирует ваша открытость, а больше всего – готовность прийти на помощь близким людям. Сегодня я в этом убедилась. – Ее припущенное простое лицо озарилось доверительной улыбкой. – Вы же сейчас свободны?

На этот вопрос можно было дать только один ответ. Утвердительный.

Через полгода мы расписались. Пышных торжеств не устраивали. Свадьбу отметили в тесном семейном кругу. Пригласили близких друзей. Люда и Луц прислали поздравительную видеозапись. От Неделюк приехал курьер с вазоном красных бархатных роз.

В жизни чаще случается то, к чему не готовишься. Радость и горести приходят неожиданно. Последние годы я жил наотбой, дневал и ночевал в офисе и мастерской. Главными событиями будней и выходных стали плановые сдачи заказов. Я давно уже изваял себе маску самодостаточного человека, погруженного в мир собственных вымыслов о работе и о семье. Но видимо, чего-то я не учел.

Виолетта принесла в дом тепло и спокойствие. Она боролась с моими причудами улыбкой и убеждением: в корректной форме отучила от дурацкой привычки сморкаться в банное полотенце и долго смеялась (приблизительно так, как я тогда в парке), найдя в кладовке пакет с моими носками, которых без дырок набралось лишь три пары.

Очень скоро я понял, что брак – компромисс интересов, вкусов, противоположных желаний. Благодаря осознанию этой простой истины наш союз оказался таким крепким и стойким, как тот букет лилий в смятом целлофане, подобранный мной с парковой дорожки.

...На годовщину совместной жизни я получил от Люды короткую смс-ку:

«3:1».

«В мою пользу», – написал я в ответ и подумал, что Луц попал в хорошие руки.

Ганна ШЕВЧЕНКО

РУССКИЙ БОСС

I

– Это здание
построено в тысяча девятьсот тринадцатом году
по проекту
архитектора Воскресенского;
задумывалось
как доходный дом,
но в девятьсот четырнадцатом
здесь устроили госпиталь,
потому что раненых
удобно было подвозить
с Белорусского вокзала,
а в смутные времена
тут обосновалась женская пересыльная тюрьма,
но об этом стараются не вспоминать, –
так говорил главный инженер,
мой новый руководитель,
водя по коридорам здания,
спроектированного в форме восьмерки,
и путь наш напоминал
бесконечное скольжение
по ленте Мебиуса.

2

О нем же в интернете:
«Реконструкция 2000-х годов позволила зданию дореволюционной постройки
стать современным бизнес-центром класса Б
с офисами от 20 кв.м, конференц-залами, круглосуточным доступом,
современными инженерными системами, коммуникациями
и профессиональной управляющей компанией».

Ганна Шевченко родилась на Украине, в г. Енакиеве. По образованию финансист. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Арион», «Новая юность», «Сибирские огни», «Новый берег» и др. Автор четырех сборников стихов, в том числе «Домохозяйкин блюз» (М., 2012), «Обитатель перекрёстка» (М., 2015), «Форточка, ветер» (М., 2017), «Путь из Орхидеи на работу» (М., 2020), и книг прозы «Подъемные краны» (М., 2009), «Забойная история, или Шахтёрская Глу-бокая» (М., 2018). Лауреат Международного конкурса им. Фазили Искандера (2017). Живет в Подмосковье.

3

Здравствуйте, я поэт,
зовут меня – Ганна,
вот уже второй месяц
я занимаю должность
менеджера по клинингу
компании «АльфаКом»,
находящейся
в бизнес-центре «Лесная, 43»
рядом с метро Белорусская.
Работа несложная;
контактирую с арендаторами,
составляю договоры,
руководжу бригадой уборщиц и дворников,
приехавших на заработки из Киргизии.
Дочь, смеясь, называет меня «русский босс».

4

Уборщиц двенадцать –
Наргиза, Динара, Гулчехра,
Акылай, Гулфери, Жумагул,
Айгуль, Гулбаркан, Алтынай,
Зинат, Алиса, Наргул;
и два дворника –
Ойбек и Тимур.

Постройтесь, пожалуйста, в ряд,
возьмите тряпки и метлы,
сейчас мы сделаем мир прекрасней,
перила, окна и двери
будут чисты, как звон монеты,
катящейся вниз
по ступенькам.

Гулфери (губы твои, нежны, как жасмин),
почему ты снова оставила под унитазом лужу,
выливай аккуратнее грязную воду,
а ты, Жумагул (волосы твои черны, как ночь),
почему не отскребла жвачку
на лестнице со стороны парковки,
Зинат (лицо твое светло, как заря),
офис 217 жалуется,
что не вытерла пыль со стола –
в технической карте указано,
вы обязаны это делать
каждое утро.

Поливайте цветы! Протирайте стены!
Проверяйте коврики у турникетов!
Если шваброй не получается выбрать пыль из углов,
наклоняйтесь и делайте это руками!
Уберите в карманы мобильные телефоны!
Хватит сидеть в интернете!
Девочки, почему вы молчите, что в туалетах сломаны ершики?
Пересмотрите, пересчитайте – будем подавать заявку на «Комус»!
Тимур!
Почему конкуренты бросают пакеты с мусором в наш контейнер?
Пусть заключат договор,
иначе пожалуюсь
начальнику отдела аренды!
Почему я не могу до вас дозвониться,
когда вы нужны мне, Тимур?

5

Первый офис,
куда я пришла перезаключать договор
числился под номером 616.
Турагенство называлось «Глобус»,
В карточке значилось,
что генерального директора
зовут Артем Петрович.
На первый взгляд ему было
лет двадцать,
небольшой, хрупкий, с
модным хохолком,
он походил на цыпленка.
Когда я представилась,
он посмотрел на меня как на лису,
забравшуюся в курятник.
– Какова цена за один квадратный метр?
Я ответила.
– С НДС?
Я ответила.
– Мы подумаем.

Я оставила визитку с номером телефона
и электронной почтой,
но ни на следующий день,
ни через день
не получила от него реквизитов.
Пришлось снова идти в 616-й офис.

– Какова цена за один квадратный метр?
Я ответила.

– С НДС?
Я ответила.
– Мы подумаем.

Шли дни.
Я заключала договоры с другими компаниями,
но от Артема Петровича не было вестей.
Однажды я встретила его на улице.
На переходе он ждал,
когда зажжется
зеленый сигнал светофора,
и держал за талию свою секретаршу.
Перейдя дорогу, они поцеловались
и дальше пошли отдельно,
как два чужих человека.
У девушки нечеткая внешность,
лет через десять он не вспомнит ее лица.

Я догнала его возле лифта,
напомнила о себе,
получила еще одно обещание.
Вечером забила в Гугл его имя
и нашла страницу Вконтакте.
На юзерпике Артем Петрович
стоял на фоне вечернего моря
в темных очках.
На своей стене он размещал
только ссылки на статьи
из бизнес-пабликов:
«Чек-лист интернет-маркетолога»,
«10 бесплатных инструментов для создания инфографики»,
«10 советов о карьере 20-летним».

Следующим утром
я пошла в наступление.
Войдя в кабинет Артема Петровича,
твердо сказала,
что с сегодняшнего дня
наша компания
прекращает уборку в его кабинете.
Через час договор был перезаклучен.

6

Понедельник, 15 июня.
На офис
потомственной гадалки
совершено

разбойное нападение,
неизвестные унесли
свечи,
иконы,
карты Таро
и хрустальную пирамиду.

7

Лицо Гулфери – спутниковая тарелка,
глаза – линейный сигнал.
На работу она ходит в хиджабе и длинной юбке.
Однажды я заметила,
как она смотрит в Ватсапе ролик,
где щекастый малыш,
сидя на руках у пожилой киргизки,
улыбается беззубым ртом.
Я спросила: – Ваш? –
она смущенно кивнула.

Директор не жалуется Гулфери,
говорит, ленивая,
я и сама много раз замечала,
как она
вместо того,
чтобы мыть унитазы,
сидит в туалете,
забившись в угол, и читает сообщения в Ватсапе.
За это уборщиц принято штрафовать,
но я жалею ее и прощаю,
потому что она героиня,
спасающая от нищеты
большую киргизскую семью.

8

Мне нравится описывать людей –
увиджу человека, и начинаю
рисовать словесный портрет.
Годятся все – шарообразный охранник на входе
со стороны парковки,
тонкий и звонкий бариста
в кофейне напротив торгового центра,
клюшка-старушка,
раздающая рекламные флаеры
у самого спуска в метро.
Но мой генеральный директор для этого не годится!
Совсем не годится.

Как описать человека, не имеющего особых примет?
Средний рост, средний вес, среднее лицо,
средние руки, средние ноги, средняя голова...
Почему он не стал преступником?
Ни один человек
не смог бы составить
его фоторобот.

9

Светлана Ивановна из офиса 506
не разрешает уборщицам
пользоваться
общественным туалетом
на пятом этаже,
гонит их вниз,
в подвал.
Хочется спуститься в столовую
и плюнуть ей в десерт.

10

Бизнес-ланч.
Он и она.
Сидят друг напротив друга,
столовыми приборами
орудуют
красиво и чувственно.
Салат из капусты
подносят к губам так,
словно хотят поцеловать.
Она запивает,
будто позирует
для рекламного фото.
Он улыбается
со смущением мальчика,
обнаружившего папины запретные журналы.
Похоть и плоть.
Страсть и огонь.
Устроили черт знает что в корпоративной столовой.

11

Написала стихотворение,
Выложила в Instagram
с фотографией липы,
растущей рядом с парковкой –
Тимур и Ойбек

поставили по сердечку.
Как они нашли мою страницу?

12

Вот и все.
Мир белых воротничков
отторгает меня –
генеральный директор
поставил в известность,
что с первого числа
следующего месяца
я уволена,
сказал, что не любит поэтов
(и зачем я зафрендил его в Фейсбуке?)
Не любит, так не любит,
пойду дальше своей дорогой.
Вот уже шагаю по Москве
в поисках новой работы,
и путь мой
напоминает
бесконечное скольжение
по ленте Мебиуса.

Андрей РЕЗЦОВ

РАССКАЗЫ из цикла «Мои училки»

Мужчина умирает раз шесть

Мужчина умирает раз шесть
Вот он в армию пошёл и умер там
Вернулся домой совсем другой чужой незнакомый человек, родители поседели, но промолчали
Вот он её встретил, но это она его выбрала, приручила вмиг «К ноге!», женился и умер там
Вернулся из ЗАГСа совсем другой чужой незнакомый человек, родители постарели, но промолчали
Вот он на работе, если не спился, то спелся с начальством и честного труженика затюкал, незаслуженно сел на его место и умер там
Вернулся с работы совсем другой чужой незнакомый человек, родители умерли, поэтому промолчали, жена растолстела и подурнела, но промолчала
Вот он нашёл, на кого тратить не совсем заслуженные деньги, жена пусть плачет, – некрасивая, злая, пошёл из ресторана сразу в будуар с новой и умер там
Вернулся от другой совсем другой чужой незнакомый человек, жена постарела, но промолчала
Вот он с приятелями отдыхает, жена пусть плачет некрасивая, старая, любовница пусть плачет тупая жадная, схватило сердце прямо в бане и умер там
Вернулся из больницы совсем другой чужой незнакомый человек, жена умерла, но не подала вида, промолчала
Играл в домино во дворе, злой небритый, жалел себя, не повезло в жизни, а мог бы, мечтал же о многом... и умер там
Вернулся или не вернулся после этого всего – это уже не важно

Мой друг – охранник в банке

Не все знают, что мой друг – охранник в банке – свободно изъясняется по-французски. Основная трудность этого европейского языка, на котором только во Франции говорят 48 миллионов человек, заключается в том, что очень много окончаний в словах не произносятся. Автомобиль Пежот будет Пежо – самый простой и яркий пример.

Андрей Резцов родился в 1963 году в поселке Лобва Новолялинского района Свердловской области. Окончил мехмат МГУ, кандидат физико-математических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Новая Юность», «Вышгород» (Таллинн), альманахе «Артикуляция». Живет и работает в Сиднее, Австралия. Предыдущая публикация в «Волге» – рассказы из цикла «Как нелепо возвращается зима» (2019, № 3-4).

Моему же другу – охраннику в банке – эта трудность далась легко. И всё потому, что в языке охранников в банке вообще ничто не произносится. Не только окончания. Именно поэтому, а не по другой причине, никто никогда не видел и не слышал разговаривающих охранников в банке. Они разговаривают между собой, но не произносят ни начало, ни середину, ни окончание слов охранников в банке. Со стороны наблюдателю кажется, что охранники в банке не разговаривают, но это неправда. Охранники в банке очень разговорчивые, даже излишне болтливы. Они сами знают этот свой недостаток и борются с ним. Самых болтливых просят говорить пореже.

И ещё охранники молча пишут стихи в стиле японского поэта Басё:

*Ветку дерева качает за окном ветер
Я выйду в сад ждать тебя
Ты не придёшь опять
Ветку дерева ломаю
Не заглушить боль в руке болью в сердце*

...

*Наточил карандаши утром Понедельника
Хорошо начинать всё новое с начала рабочей недели
Один карандаш сразу же сломался
Остальных боюсь коснуться я
Грубые руки у точильщика карандашей*

...

*Я за тобой ухаживал в школьные годы
На других одноклассниц и не смотрел даже
Снег времён осыпал мою голову
Ты всё также красива
Я не смотрю на других никогда*

...

*В рыбе мне попаласть косточка
Прижимаю её языком к десне, жду сигнала
Из глубины моря выпрыгнул кит и сказал мне Фырх-Фырх
Это он разрешил избавиться от косточки
Ой, где же она?*

...

*Старый дом сносят
Осталась лишь крыша и труба
Когда и крышу у них снесёт, всё улетит в трубу
«Я твою трубу шатал!» – радостно приветствовали в беляшечной
Это в Йошкар-Оле было*

...

*Мне говорит сосед, что какой-то шайтан ворует сливы
Хороши эти сливы для Умешу (Умэсю)
Сегодня будем ждать в засаде вора
Мой самурайский меч всегда со мной
И ремень широкий кожаный тоже, его и применю*

...

*Поел суп со щавелем
Ловко нарубив в него яйца вкрутую
Эх, нужно ли добавлять сметану?
Молчит моё сердце, не отвечает про сметану
Буду просто смотреть тебе в глаза, любимая*

Марширующие приветствуют стоящих на трибуне

Сюжет для романа про попаданцев

Людам старой формации или нервным не советую читать

После удара ледорубом по голове Троцкий (точнее, его дух, душа) неожиданно для себя перенёсся на несколько лет назад в 1917 год и вселился в... Сталина. В России Сталин-Троцкий начал копать под Троцкого (настоящего, но ещё не стукнутого ледорубом). Сталин-Троцкий знает, понимает, чувствует Троцкого как себя, поэтому легко строит козни, ведущие к... удару ледорубом в Мексике. Новый стукнутый по голове Троцкий (точнее, его дух, душа) неожиданно для себя перенёсся на несколько лет назад в 1917 год и вселился в... Ленина. Назовём его, для порядка, Ленин-Троцкий. И так далее и тому подобное.

В итоге течение времени в отдельно взятой Мексике не имеет смысла, удары ледорубом и вселения фактически произошли мгновенно, но многократно (незаметно для ударявшего. Он только сильно устал почему-то, и рука заболела, ледорубить устала). После десятков и сотен тысяч рокировок Троцкого все видные деятели революционного движения в России являются фактически копиями одного и того же Троцкого. Внешне они разные, есть и женщины и иностранцы, но это один Троцкий, пытающийся захватить власть, путь и под именем другого. Троцкий подписывает расстрел Троцкому. Троцкий пытается Троцкого. Троцкий спит с Троцким (это Автор несколько перестарался, но тела-то разные, сойдёт), чтобы опорочить Троцкого. Марширующие Троцкие приветствуют стоящих на трибуне Троцких. Троцкие хоронят Троцких, подло убитых Троцкими. Сосланный в лагеря Троцкий пишет письмо Троцкому, обличая Троцкого и Троцкого и ещё двенадцать Троцких.

Что этим хочет сказать Автор? Опорочить или выявить суть?

Математкулов Арктангенсиз Абдуназарович – учитель математики

Позвонили прямо в школу и прямо оттуда. Им нужен Математкулов Арктангенсиз Абдуназарович – учитель математики.

Через пять минут, когда Арктангенсаз только вошёл в кабинет директора, туда же ввалились трое в хороших костюмах.

И увезли Математкулова.

С математиком вышел говорить сам Премьер-Министр. Был добр и даже радушен. Обнял слегка, но официально, без сердечности.

Предложил прямо с сегодняшнего дня начать работать Министром Культуры.

«У меня, – говорит, – есть для тебя Кабинет. Там мой портрет».

При этих словах оба встали и молча стояли по стойке смирно секунд двадцать.

«Вольно! Садитесь! В этот Кабинет ты вписываешься по всем параметрам. Не надо делать никаких перестановок, ремонтов. Деньги государственные сэкономим».

«Да, приступай к работе прямо сейчас», – добавил Премьер-Министр и сам обрадовался своим словам. Он перешёл на ты так легко и непринуждённо, как и подобает лидерам.

«Я нечётко различаю Барокко и Рококо! Возможно, это помешает моей работе на посту Министра Культуры», – осмелел математик Математкулов.

«Не переживай ты, Арктангенсаз Абдуназарович! (Хорошая память на имена всегда пригодится главе правительства.) У тебя уже есть заместитель по Рококо, его зовут Рококадзе. А завтра приступает к работе заместитель по Барокко по имени (Премьер Министр хорошо и весело, но достойно прыснул в кулачок) Барокков – Обаминский. Я сам подбирал имена их новые, теперь официально зарегистрированные. Им поручено одеваться в стилях Рококо и Барокко соответственно. Как втягиваешься в Культурку, насобачишься, я их назначу лучшими писателями или поэтами, имена заменим на нужные. Кадрами мы не бросаемся. Ты уже в обойме, Математкулов», – успокаивающие слова так и лились из уст главного Министра.

«А можно мне с женой посоветоваться?» – выдавил из себя Арктангенсаз Абдуназарович. В ответ услышал: «Нет у тебя жены, испарилась словно вода из чайника, у мамы своей живёт. Теперь у тебя любовница Любовницына Зоя. Хороший она человек и сотрудник, товарищ женского пола, умеет плести корзины и петь бурятским горловым пением. С ней не будет скучно!»

Программистов П.П. был неплохим программистом

Программистов П.П. был неплохим программистом.

Часто работал он из дома, зачем программистам ходить в офис?

После многих часов продуктивной и не очень работы, после этих бесконечных кликов мышью и бацов клавишами, Программистову надо выйти на воздух, к людям, потолкаться между ними, ощутить себя частью большого целого. Да и полезно пополнить запасы чипсов и пива.

Приходит как-то раз П.П. в ближайший огромный супермаркет «Мега-Рубль», быстро находит нужное, загружает найденное в корзинку и направляется к кассе самообслуживания, чтобы побыстрее всё закончить.

Там много терминалов. Делает пасы, словно фокусник, терминал попискивает, считывая штрихкоды. Пара минут, заплатил и можешь идти.

На этот раз П.П. не повезло. На одной бутылке пива этикетка была чуть смята, видимо, случайно на конвейере пивзавода, но вновь крепко приклеена, и поэтому штрихкод не читался.

Пришлось звать дежурившую в кассах самообслуживания сотрудницу супермаркета, пусть она вручную номер штрихкода наколачивает или что-то другое делает.

Та подошла, помогла. У неё на бейджике Программистов прочёл «Супермаркетовченкова С.С.».

«Прикольное у Вас имечко!» – сказал П.П., хотя не склонен был склоняться к знакомству с ним сотрудниц супермаркета. Так получилось. Наверно, настроение было весеннее, игривое.

Девушка ответила сразу, видимо, делала это не в первый раз: «Мой прадедущка стоял у истоков Советских Супермаркетов, создавал их, организовывал.

Вот и решил он поменять свою неблагозвучную фамилию на Супермаркетовченков, что более соответствовала его профессиональным успехам».

Программистов не унимался (Наверное, слишком засиделся он в тишине своей комнаты перед компьютером. Душа искала общения): «А что за прикольное имечко было у Вашего предка? Торгсинов или Промторгов?»

«Его звали Шереметьев-Романов, а по матери Аксаков-Достоевский, что никак не подходило партийно-хозяйственному работнику», – ответила Супермаркетовченкова С.С. и даже не покраснела.

У Программистова была подобная ситуация. Его прадеда звали Анархистов. Он дружил с самим Кропоткиным.

После Октябрьской революции решил начать новую жизнь, устроился в кинотеатре писать-рисовать Программу показов кинофильмов.

Постепенно и фамилию поменял на Программистов.

Это и рассказал П.П. так понравившейся ему С.С.

И добавил даже: «У Вас наверняка отличная карьера в Супермаркете? Фамилия обязывает».

«Ой, всё наоборот. Времена сменились, теперь всюду узкая специализация. А моя фамилия слишком общая, не конкретная.

Директором у нас в супермаркете Директорофф, Главным Бухгалтером – Бухгелтер-Гловских. Сёстры Кассиршины сидят на кассах.

Охранниками руководит Гвардинерин. Самый дотошный из них Пыталов раньше работал в Полиции.

Мясникян и Рыбадзе отвечают, соответственно, за свои отделы.

Меня сюда направили, но вчера на работу взяли стажером Сэма Обслужидина.

Похоже, меня скоро попрут отсюда.

А куда я с такой фамилией устроюсь?» – Девушка чуть не заплакала.

Программистов успокоил её своим ещё одним рассказом. Он всегда мечтал стать разведчиком. После школы успешно поступил в Академию имени Андропова.

И вдруг обнаружил, что с ним в группе учатся Нелегало, Диверсантидзе, Связнов-Закордонный и два брата Шифровальдины.

Учёба в Академии у Программистова почему-то не заладилась.

После этого П.П. уже не мог остановиться. Он рассказал, что испытывает огромные трудности при поисках новых проектов, заказов. Потенциальные клиенты ищут более специализированных программистов. Человек с общей, надутой, как воздушный шарик, фамилией Программистов их не интересует. Подавай этим клиентам, этим буржуям либо Сипласпласова, либо Джавуджиева, либо Датабазникову. Иногда интересуются ещё Лёней Машининым, но никогда простым Программистовым П.П.

Наш ансамбль был популярен

В молодости я был солистом Народного Коллектива «Свистуны Волжско-Камского Бассейна». Наш ансамбль был популярен, и мне даже сулили Заслуженного Артиста Республики Башкирия.

Гастроли были так часто, что дома я появлялся редко. Но я не был женат, некому было пилить меня и возмущаться долгими отсутствиями.

Выезжали и за границу, сначала в Монголию, затем в Болгарию.

На очереди была Румыния, но тут произошло нечто, что повлияло на всю мою будущую судьбу.

Нас вывезли в Западный Берлин.

Нужно было бодро, профессионально и оптимистично просвистеть за улучшающееся сотрудничество между СССР и ФРГ (трубы мы у них закупали для газопроводов).

Выступали мы несколько раз в разных залах на пару с их ансамблем Губных Гармошечников из Гамбурга.

Выходили врознь, играли, веселились и уходили со сцену в обнимку.

На самом деле, за кулисами сразу же вновь делились на две правильные группы согласно цветам флага.

Но зрители верили в зародившуюся дружбу и рукоплескали от души.

Я должен был выходить в паре с Гансом, вот мы и познакомились немного.

Однажды... (я этот день никогда не забуду) после концерта я возвращаюсь в свою кабинку для переодевания.

У меня была отдельная – солист же, свистун почти Заслуженный.

Бац! В моей комнате нахожу Ганса, а вместе с ним бутылку шнапса и штрудель.

Он шипит тихо-тихо, намекая на подслушку, и нашу и их.

Пьём молча, закусываем без кряков или бляхов.

Всё это делаем быстро, почти молниеносно, чтобы успеть до переключки личного состава в каждом Ансамбле.

Закончив стратегические запасы Ганса, достаю свою водку и кильку в томате, хлеб черняшку и лучок репчатый, в газету «Труд» завернутый.

Так же быстро всё выпиваем и съедаем. Ганс уходит, чуть покачиваясь, словно он моряк из Гамбурга, а не Губной Гармошечник.

Через минут десять на поверке узнаю, что нам предстоит ещё один концерт. Какие-то большие шишки из нашего ГазСтроя и их Трубопроката прилетели на переговоры.

Вот мы и на закуску к ним идём. Везут нас.

Как я вывистел свою программу, какую энергию использовал, не знаю.

Сложнее всего было не рассмеяться, когда Ганс играл своё соло на губной гармошке после моего на свистке. Это была своего рода переключка.

Шнапс и водка тоже переключались внутри наших артистических тел, но мы же мастера своего дела!

Концерт завершился на ура. Буржуи и наши товарищи пошептались, посовещались и пригласили нас всех поужинать с ними. И с выпивкой.

Вот здесь я уже ничего не помню.

Но ещё долгие годы после этого я играл на губной гармошке в Западной Германии, отзывался на имя Ганс.

Он же (как я узнал позже) успешно дул в свисток, получил даже Заслуженного Артиста Республики Башкирия.

Обратно поменяться удалось лишь в тот момент, когда Ельцин дирижировал сводным Оркестром по поводу вывода Советских Войск.

Мы перемигнулись с Гансом, ловко поменялись местами. Я захватил с собой, вынес в штанине в специальном кармане бутылку шнапса и штрудель.

Уверен, что и Ганс не преминул сконтрабандировать водку и кильку.

Иногда я даже скучаю по губной гармошке, но не может же Заслуженный Артист Республики Башкирия играть на этом нетрадиционном для Волжско-Камского Бассейна музыкальном инструменте?!

Тяжёлая Водка

Расскажу вам Научные Новости про несправедливо забытый интересный пищевой продукт. Это так называемая Тяжёлая Водка.

Используется для производства Лёгких Коктейлей и Непосильно Тяжёлой Пиццы.

Во время войны фашисты пытались наладить производство Тяжёлой Водки. Они хотели тоже поесть Тяжёлой Пиццы.

Думали (справедливо!), что это хорошая еда для Подводников и Танкистов, Артиллеристов орудий большого калибра и Пулемётчиков в Дотах и Дзотах.

Враги даже переоборудовали мирный завод в Норвегии по производству Тяжёлой Воды. И гнали Тяжёлую Водку.

Что-то у них не получилось, где-то они просчитались, какую-то важную мелочь не учли.

Их Танкисты начали проигрывать танковые дуэли,

Подводники тут и там начали наткаться на подводные минные заграждения,

Артиллеристы и Пулемётчики справедливо обрели название «мазилы».

Вражеские эксперты пришли к выводу, что их Тяжёлая Водка не слишком-то тяжела.

Скорее даже легка.

Подводники и Танкисты мёрли как мухи от новой в их рационе Тяжёлой Пиццы.

Попробовали давать её Итальянским Экипажам. Так те схватились за ножи и переметнулись в Красные Бригады!

Бункер Фюрера в Берлине укрепили блинами Тяжёлой Пиццы. Не помогло!

После Войны Тяжёлая Водка некоторое время очень ценилась в Американских секретных лабораториях.

Их «Опенгеймеровка» была настояна на чернике, которую специально чернили чёрными чернилами. Опен Геймер – Играющий В Открытую Игрок. Поэтому Американские исследователи пили Тяжёлую Водку в открытую, не скрываясь за лабораторными шкафами.

Не уступили в этом соревновании и советские учёные-ядерщики. Судя по названию, «Курчатовка» хорошо должна была идти под курицу или индейку, но её пили без закуски из лабораторных колб или (что случалось чаще) из платиновых тигелей.

Выяснилось, что Тяжёлая Водка была известна на Руси задолго до Атомных Проектов.

Бывало, Хозяин поставит перед (потенциальным) Работником штоф Тяжёлой Водки «Архангельский Мужик».

И смотрит, как тот её оприходовать будет.

Если работник слаб, всё больше книжки читать или есть пирожки с рыбой любит, такого гнали в шею.

Но перед этим пороли на конюшне, чтобы в следующий раз сдюжил и показал себя геройски в питейном деле.

Надежду давали трезвеннику. Чтоб потренировался на Лёгкой и Средневесовой Водках.

Даже знаменитую Окрошку «Огуречик, не ходи на тот конечик» делали не на квасе, а на том, что можно квасить.

Главное в жизни – успеть!

Главное в жизни – успеть!

А уж куда успеть или что сделать успеть, – это второстепенно.

Один не успел, так ничего о нём и не известно.

Другой успел, но плохо, но мало, но не то, но не так, но не он, а за него успели другие.

Третий и не пытался успеть, всё делал ме-длен-н-н-н-н-но, и вдруг успел.

Его жена была сначала не рада, но вскоре обрадовалась, но не успела она обрадоваться, как другая успела.

Мужик сам не рад, но всё он делал ме-длен-н-н-н-н-но, обе тётки успели выйти на пенсию, побыть пенсионерками, а он всё ещё делал всё ме-длен-н-н-н-н-но.

Я подготовил, написал и послал

Я подготовил, написал и послал Эссе на Конкурс

И только после этого обратил внимание на правила этого соревнования интеллектуалов

Тексты должны быть сравнительно небольшие

А мой получился гигантским, как айсберг в океане

Организаторы конкурса посоветовали порезать моё Эссе на два меньших по размеру

Что я и сделал

Некоторые буквы Русского Алфавита симметричны, словно они рождены, чтобы их рубили пополам

Я быстренько располосовал на две одинаковые новые части А, В, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, С, Т, ...

Букву О можно аж на четыре части распластывать, но моё Эссе не такое большое

Резать приходится с умом, например, А и Д вертикально, а В и Е горизонтально

Пришлось познакомиться с несимметричными представителями нашего родного Алфавита

Как я мучился с Б, Г, Р, ... знают только мои соседи снизу (я так громко орал, нервничая)

Два получившихся текста вновь послал на Конкурс

Радостно включил телевизор посмотреть, наконец-то, фигурное катание, хоккей и «Как до 90 лет оставаться Привлекательной»

Вдруг получаю емейл от организаторов конкурса

Быстро читаю, спешу, пропускаю слова, никак не могу уловить смысл

«...Количество знаков и пробелов осталось практически тем же, оно даже возросло из-за несимметричных разрезов букв Б, Г, Р, ...»

Пока я проверял месседжи, моя любимая передача «Как до 90 лет оставаться Привлекательной» закончилась

А я так и не узнал «Как же оставаться привлекательным!»

Прямо в Рубилку

«Ташшы яго прямо прямо в Рубилку! Будем рубить в Рубилке!» – раздалось над моим ухом, когда я неудачно выставил вперёд локоть, чтобы дверь Метро не расквасила лицо некой старушонки. Бабушку расплющило, да так, что несколько подростков, греющихся в вестибюле, захохотали.

«За что?» – заорал я, понимая, что это меня тащат в Рубилку: «Я хотел помочь, но не справился с весом двери и мощностью пружины!»

«А чтобы ловчее дверь ловил. Старушонку-то убило дверью, земля ей пухом. А ты, толстяк зажавшийся с хилыми руками, не поймал удар. Мог бы своей рожей спружинить, соколик. Теперь тебе на Рубилке покажут Как Дверь Ловить Ротом, Но Чтобы Зубы Некоторые Остались», – это снова она – сотрудница Московского Метрополитена.

Подростки вновь захохотали. Было видно, что все они беззубые, с какими-то странными, словно бы взрослыми, но порубленными-укороченными телами. И казались эти пацаны наспех склеенными из обрубков рукой дворника или плотника, который не сильно парится в поисках гармонии восстановленного им из кусков тела.

Уже через несколько дней я занял своё место в вестибюле, радостно похохатывая, когда слышал, что какого-то очередного хилого неумеху тащат на Рубилку. Всё неплохо срослось, но косо и криво.

Ещё через неделю я понял, что старушка одна и та же. Ловкая, гибкая и артистичная. Она иногда даже отсыпает нам, пацанам в вестибюле, семечек из большого кармана своего измызанного пальто. Её муж работает оператором Рубилки, дочь – смотрительницей в Метро (это она орёт «В Рубилку!»). Зять сначала тащит проштрафившихся в Рубилку, а после этого заботливо сшивает, но плохо, как мы знаем.

Его зовут Пётр

Его зовут Пётр (пишется и произносится через Ё).
Пётр просыпается утром и сразу же знает, что он Пётр.
Я же так и не знаю Как Меня Зовут,
Пока соседи не поприветствуют меня.
Они знают моё имя, я не знаю их имён.

Пётр просыпается утром и сразу же идёт в душ.
Я же так и не знаю В Каким Порядке и Что Делать,
Пока лёгкое гудение труб у соседей не напомнит мне: – Душ!

После душа Пётр ест полезный для здоровья завтрак и пьёт кофе.
Я же так и не знаю Что Делать После Душа,
Пока противный свист чайника соседей не напомнит мне: – Кофе!

После завтрака Пётр направляется на работу.
Я же так и не знаю Какие Мои Планы После Завтрака,
Пока хлопанье дверей автомашины соседей не напомнит мне: – Пора ехать на работу!

Пётр: Сегодня всё было так же, словно бы по нотам, по правилам распорядка социалистического общежития.

Соседи улыбаясь поприветствовали меня: «Реал Мадрид выиграл!»
Они знают моё имя. Меня зовут Реал Мадрид Выиграл.
Немного странная фамилия Выиграл. Наверное, мои предки венгры.
Но мой отец точно испанец. Его имя Мадрид.

Лёгкое гудение (труб у соседей?) больше напоминает мне скоростной международный поезд.
Вот он подъезжает к железнодорожной платформе, на которой я стою.
Брызги дождя ветер загоняет даже под крышу. Это мой душ.
Это мой поезд.

Противный свист (чайника соседей?) больше напомнит мне таковой скоростного международного поезда.

Я быстро-быстро вхожу в свой вагон и сажусь на своё место первого класса.

Сейчас мне принесут кофе и свежие газеты.

Он собирается отъезжать и пытается отогнать неразумных людишек, подошедших слишком близко к краю платформы.

Какие-то хлопки (это двери автомашины соседей?) больше напоминают мне о Новом Годе, чем о работе.

Я в отпуске. Я путешествую. Читаю газету и пью кофе.

Кофе обычный, хороший, но не какой-то особенный.

А в газете стихи:

*Я по крыше ночной пройду.
Она ждала меня, страдала
И четыре раза в году
Вдруг куда-то пропадала.*

*Снег выпал – крыши нет.
Верхние квартиры – в белом.
Ищут оправдома, чтоб тет-а-тет
Поговорить, убедить сделать.*

*Или дождь три дня лил...
Верхние квартиры мечтали о снеге.
Весь дом дождь затопил,
Каждый этаж с вёдрами бегал.*

*Крыша вернулась, как и ушла, –
Незамеченная никем из спящих.
Я по крыше пройду. Вот дела!
Друг я её настоящий.*

Утренний кофе с сырниками

Сижу... Восседаю на веранде, пью утренний кофе с сырниками, что в тарелке и в сметане
Наблюдаю жизнь, неспешно текущую вне веранды или резво проскакивающую вдалеке по улице

Вижу мужчину в соломенной шляпе (у меня такая есть, купил в Бурано), выгуливающего собачку

Так себе зверёк, небольшой и ничем не особенный, размером со средний предновогодний тазик салата Оливье

На мужчине лента с ключом

К ленте приторочен фотоаппарат

Или наоборот, вижу фотоаппарат на его же спец-ремешке, к которому прищипандорен ключ

Мужчину я этого знаю, он фотограф и ключевед – открыватель всего

Зовут мужчину Хаггенндорн-Обнимашкин (сложная семейка у него)

Западные люди знают нашего (наблюдаемого мною) мужчину как Хаггенндорна

А мы кличем его по второй части сложной фамилии – Обнимашкиным

Буржуины ценят в Хаггенндорне его талант фотографа, подмечающего на просторах нашей необъятной Родины каждую вонючую свалку

Соотечественники зовут на помощь Обнимашкина, когда надо что-нибудь открыть, а ключ затерялся

Например, Вы пошли к сарайчику за дровами, чтобы согреть воды и помыться, постираться

А ключ унесла жена на свой завод, куда войти можно только по свистку, а выйти нельзя никак и никогда

Жена же возвращается всегда, варит борщ и снова уходит на завод

Вы думаете, мучаетесь: «Как же она возвращается, если выхода нет никому и никогда?»

В Вашу глупую башку никак не помещается, что Вам присылают следующий, новый, в заводской смазке дубликат Вашей жены, только что отлитый из чугуна на конвейере, где жена и работает моделью

Вы зовёте Обнимашкина открыть замок, висящий на двери сарайчика

Ваш пёс (размером в ползавода, о котором мы поговорили выше) не кормлен несколько дней, он рад встрече с Обнимашкиным

Всё происходит Тик-Так, Обнимашкин обнимает пса, тот счастлив

Все остаются довольны после объятий этого человека

Улицы и площади всех городов мира заполнены статуями счастливых людей, после обнимания их нашим товарищем

Помните памятник Гагарину на Площади Гагарина в городе Гагарин? Шучу, в Москве!

Так тот космонавт был обнят Обнимашкиным

Ленин с поднятой и указывающей рукой (таких памятников всё меньше остаётся)?

Это Обнимашкин так обнял, без одной руки, та была свободна у обнимаемого

Но кепку обнял

Чу! (Это так в лучших литературных произведениях изображают нечто новое и пьянящее)

Это Хаггендорн-Обнимашкин направляется ко мне обнимать

Мои училки

В школьные годы я любил всех наших девчонок и парочку училок

Теперь я люблю всех училок, девчонки для меня слишком юны

Если встречаю симпатичную женщину, сразу же говорю себе, что она – училка

Даже если эта «училка» выписывает мне штраф за превышение скорости и выглядит как офицер полиции

Часто училки маскируются под бухгалтеров, врачей, работников торговли и даже политиков

Любят они вводить меня в заблуждение, особенно весной, летом, осенью и зимой

В межсезонье училки строги, в разгар отпусков они часто загорелые и улыбчивые

В мужской бане училок нет, но они есть рядом – в женском отделении

Начальником у меня училка, но она делает вид, что просто является учёным и доктором наук

Училки летают в космос и делают это неплохо, словно они профессиональные космонавты

В картинной галерее на полотнах множество училок великих мастеров

Про школы ничего не знаю, давно там не был, училок там может и не быть

Я давно закончил школу и записался в геологи:

*я обнимал буровой станок
ударно-канатного действия,
но прибежал буровой мастер – бестия,
обнял и назвал меня Сынок.*

*но просил не крутить ручки
и кнопки никакие не нажимать.*

*я ушёл и стал ждать полочки,
там, где не велят ждать.*

*мне за это дали строгий
вы-го-вор (не выговоришь никак).
я поменял у танка трак,
сняв сапоги, босоногий.*

*и меня зауважали на работе,
те, кто раньше ехидничал по углам.
не нахожу больше окурки в компоте
и другой несъедобный хлам.*

У меня на балконе

У меня на балконе лежит мешок. Как он туда попал, кто принёс – я не знаю.

Балкон открыт, я сижу недалеко от него за письменным столом. Стихи сочиняю. О любви. В мешке, похоже, кто-то есть. Это кто-то возится, пыхтит. Думаю, он связан и рот его залеплен широкой липкой лентой.

Радостно подхожу и смачно, с оттяжкой пинаю того, кто внутри. Дарю ему это!

Через некоторое время мешок затихает, словно в нём картошка или (плачу) мои неопубликованные стихи – сто миллионов строк.

На всякий случай подхожу и смачно, с оттяжкой пинаю того, кто внутри.

Делаю это несколько раз, ненавидя весь мир, в данный момент сжавшийся до размера мешка.

Снова начинается некоторое движение, шевеление.

Я возвращаюсь обратно к письменному столу. Стихи сочиняю. О любви.

И такая дребедень целый день (Не моё!).

Приходится время от времени подходить и пинать мешок.

Давно вся эта рутина надоела, заставляю, внушаю себе – Надо! Там внутри кто-то плохой!

Я очень занят. Стихи сочиняю. О любви.

Позвонили в дверь. Это почтальон доставил мне мой заказ по Интернету, мою бандероль. Прямоком из Китая. Из Поднебесной Империи.

Называется Дубликатор Чего-то. Купил, потому что дешево и хочется что-нибудь отдублировать.

Включился Дубликатор сразу же, легко, с приятным гудением и миганием лампочек.

Вот и всё! Сразу стало ясно, что Дубликатор этот – коробочка с лампочками, которая приятно гудит.

Инструкция только на китайском и английском, который тоже Made In China.

Решил не пытаться изучить, а просто нажал на кнопку ПУЗГ (это так они заботятся о русских клиентах).

... Блысам... Блысам... Блысам... Блысам... Фи-и-и-и-Ють

Обнаружил себя связанным. Похоже, я в мешке, рот заклеен скотчем, вкус во рту противный. Темно, но по холоду и жесткости поверхности, где лежит мешок со мной внутри, думаю – это балкон. Пытаюсь развязаться или сделать что получится, как в кинофильмах.

Кто-то подходит и фигачит меня хорошенько по рёбрам, почкам и по всем остальным местам, похоже, ногой. Несколько раз. Потом этот урод уходит. По звукам догадываюсь, что недалеко. Ещё догадываюсь, что он может вновь прийти.

Замираю. Изображаю из себя мешок картошки или (плачу) мешок, полный моих неопубликованных стихов – сто миллионов строк.

Кто-то подходит снова...

ДРОЛЕРИ

1. Заяц

Прячется в густой толпе людской
незаметный заяц городской.
Это он мелькает вдалеке
в сереньком своём пуховике.

А вокруг охотники и львы,
волки из Тамбова и Москвы,
а вверху сипуха и орлан,
а внизу петля или капкан,

А за поворотом манияк,
полисмен, дубинка, автозак.
Ты на них, мой милый, не смотри:
это лишь картинки, дролеры.

Помнишь ли, как тех, кто был не мил,
ты на части топором рубил?
Помнишь ли, как с волком и с сычом
ты сражался заячьим мечом,

А сейчас наушники в ушах
и лицо, закутанное в шарф,
и в вагоне ты сидишь молчком,
лишь глазищи над воротником.

2. Псоглавец

Говори, псоглавец, чудище в немоте,
расскажи о том, кто нынче тебя послал.
Мы хотим чудес: пройди для нас по воде,
или дай какой-то другой сигнал,

Ольга Аникина родилась в Новосибирске, закончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Публикации в журналах «Сибирские огни», «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Новая Юность», «Дети Ра» и др. В «Волге» публиковались стихи, рассказы, роман «Белая обезьяна, черный экран» (2018, № 5-6).

Проповедуй, тварь, зачем ты пришёл, незван,
с шерстяною мордой, с лапами вместо рук,
кто подбил тебя на этот пустой обман,
на дурацкий трюк,

Заливайся, шлёпай вывернутой губой,
покажи клыки, гудящую волчью пасть,
мы тебя прижмём, мы знаем, как быть с тобой,
мы прошли матчасть,
что ты лаешь, подлый, где же слова твои,
где твои псалмы, где проповедь о любви,
где рассказ о том, кто третьего дня воскрес?

На тяжёлых, на волчьих лапах
псоглавец
уходит в лес.

3. Гимн

Гемикрания, богиня,
скорее верши своё дело.
А после верни мне руки, верни мне ноги,
верни мне тело.

В кольце твоей пуповины,
в жерле твоей воронки,
человек состоит из одной черепной коробки,
из левой её половины.

Боль отправляет в Тартар
своих новорожденных тварей:
блемия и панотия,
циклопа и скиапода
(библия
тысяча сто семидесятого года
содержит её
затейливый бестиарий).

И только когда
проломит волна
плотину
и грохнется наземь
тяжёлый молот Гефеста –
только тогда я
тёмный подвал покину,
только тогда выйду
из-под ареста.

С обезболенным
Телом
слепая душа
едина,
и она, словно паззл,
сразу встаёт на место.

4. Госзаказ

...И приказали нам убрать
догхантеров
(...идут пустые строки).

Мы их нашли и вычистили всех
до одного.
Трудились год, не меньше.

И если среди буквиц часослова,
за прихотливой вязью маргиналий
вы сможете найти хотя бы тень
догхантера...
Но нет, мы стёрли их.

Как хорошо вытравливает краску
сливовый уксус, сода и мышьяк.

Нет крови на руках, и на душе
ни пятнышка, и настоящий счастлив.

Скрипи, стило. Причудливый цветок,
раскройся на пергаментной могиле.
Мы будем жить во имя палимпсеста
.....
пустые строки.
подпись и число.

Песенка

Ах, мой милый Августин.
Много нас, а ты один.
Хорошо в пустыне
петь об Августине.

Всё прошло, прошло, прошло.
Песня – это ремесло.
Соловей клокочет,
словно ножик точит.

В микросхеме соловья
много всякого вранья.
Дарят свинопасы
розы из пластмассы,

Нежной линии виток, пряжи облачный моток,
складки бархата густого дня творения шестого,
когти острые зверей на воротах монастырей,
кровь на чёрном кистене, пляску ящерицы в огне,
ах, мой милый Августин,
донник, рута, розмарин,

Нет конца твоим дарам,
в них есть множество программ –
тянется конвейер.

Выключите плеер.

ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ МЕРТВЫХ

Повесть

Адуляр, как известно далеко не всем, – это научное название Лунного камня. Того самого, который используется в ювелирных целях и отличается сияющими голубыми переливами. В связи с чем ему приписываются магические свойства.

Еще меньшему количеству жителей Подмоскovie известно, что в одичавших волоколамских местах расположен городок с тем же самым названием – Адуляр. Разумеется, название это неофициальное. Его присвоили сталкеры абсолютно слепому месту на карте Волоколамского района Московской области, закрашенному зеленой – лесной – краской.

То есть в этом месте ничего, кроме шума верхушек сосен в ветреную погоду и весеннего щебета птиц, не должно быть.

В свое время это место спрятали и от мирных обывателей, и от злокозненных шпионов люди в погонах и с эмблемой войск ПВО в петлицах.

Но сейчас, когда это запрыгивание утратило какой-либо смысл, небольшой прямоугольничек земной поверхности, расположенный между Волоколамском и деревней Нарынкой, по-прежнему остается зеленым. Как, скажем, изумруд. Хотя при его изображении на правдивой, то есть истинной, карте необходимо использовать бледно-голубую и при этом мерцающую краску.

Так что неслучайно сталкеры называют Адуляр еще и городом-призраком.

Хоть его официальное название раньше было зашифровано в виде букв и цифр – в/ч 51850.

Александр, мой старинный друг и товарищ, перешагнув пятидесятилетний рубеж, стал чудить. Ну, с точки зрения, конечно, обывательского представления о том, каким должен быть здравый смысл проживания на земле, с маленькой, разумеется, буквы. Поскольку обыватель сконцентрирован только на том, что находится у него под ногами – почва, то есть земля. Земля как планета, вращающаяся в безбрежном космосе, его мало интересует. Лишь прочитает в какой-нибудь не очень умной газетенке, что с минуты на минуту Землю может задеть хвост пролетающей мимо кометы, и помрачнеет на непродолжительное время. Но вскоре позабудет, поскольку надо ходить на работу, выплачивать кредиты за квартиру и автомобиль, готовиться к приближающемуся отпуску, посетить троих врачей, которые приговорили его к пожизненному у них обслуживанию, смотреть матчи какого-нибудь очередного чемпионата мира и так далее, и тому подобное.

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмоскovie. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. Предыдущая публикация в «Волге»: рассказ «Черный полковник» (2019, № 11-12).

Александр же потянулся ко всему таинственному и загадочному. Не в мировом, к счастью, смысле. То есть не в психиатрическом, когда люди начинают искать следы посещения Земли летающими тарелками, глотают публикации про полтергейст, хилерство, про тонкие тела, про прорицания и экскурсии в загробный мир.

Нет, Александр отыскивал то, до чего у него прежде «не доходили руки». В связи с чем он считал, что в прошлом он сам себя здорово обкрадывал.

Взять, например, музыку. Нет, с классикой он, конечно, соприкасался. Но вот музыка конца двадцатого века – начала двадцать первого совсем прошла мимо него стороной. И он по каким-то сетевым объявлениям стал посещать концерты, если их, конечно, можно так назвать, самых радикальных авангардистов. Все это происходило, разумеется, не в залах. И даже не в клубах. А в каких-то, пожалуй, «пространствах», которые прежде использовались для производственных и складских целей. Да так и остались в первозданном своем виде после того, как последний рабочий покинул территорию предприятия, которое его когда-то кормило.

Потом Александр переключился на поэзию. Но не на какую-то попсовую, а, как он говорил в тот свой период, на истинную. Однажды он приволок меня на одно из таких мероприятий. С точки зрения литературоведа, готовящего диссертацию, это было, вероятно, интересно. Нет, до Алексея Елисеевича Крученых современные истинные поэты не дотягивали. Но это делалось, как я понял, вполне сознательно и осмысленно, а не от недостатка таланта. Просто теперь перед поэзией стояла другая задача, в которую не входила вивисекция слов и звуков, их передающих. Точнее, имитирующих. Никакой неологистики не было. Все слова использовались в строгом соответствии с орфографией. Однако синтаксис был настолько причудливым, что, с точки зрения фразеологии, такие стихи не могли относиться к русскому языку. Когда я признался, что ничего не понимаю, Александр, снисходительно улыбнувшись, сказал: надо прислушиваться к вибрациям души, возникающей от ассоциативной атаки по-новому осознающих себя слов, вырвавшихся на свободу.

В конце концов Александра потянуло в сторону тлена. То есть он начал примерять на себя роль сталкера, исследующего давно заброшенные объекты, стремительно превращающиеся в руины. Именно стремительно, поскольку Россия – не Греция. И тем более не Египет. Потому что в России все строительные объекты возводятся не для того, чтобы предъявить их отдаленным потомкам, которые придут спустя столетия. У нас все постройки/новостройки предъявляются приемочной комиссией. Ну, а там хоть трава не расти.

Объездив ближайшее Подмосковье – заброшенные заводы, неработающие электростанции, разрушающиеся вокзалы на упраздненных железнодорожных ветках, исключенные из сметы управления по культуре Московской области Дворцы культуры, которые от полного разрушения спасают подпорки дорических колонн, – Александр решил совершить дальний вояж на объекты военной ориентации. Поразмышляв, выбрал Адуляр. Куда и пригласил меня за компанию прогуляться на выдавшем виды «шевроле».

Разумеется, заблаговременно он натаскал в интернете побольше сведений о городе-призраке. Так что вполне смог бы водить по нему экскурсии. Сказал, что интереснейших объектов будет множество, а потому нам нужно будет выехать чуть ли не с восходом солнца. Учитывая, что это было лето, то рассвет приходился на три часа. Однако я уломал его перенести старт на три часа позже.

Вполне понятно, что первую половину пути я проспал. Поскольку пять часов, когда надо было вставать, это для меня не утро, а ночь, довольно глубокая.

А потом, когда на подступах к городу-признаку начались ухабы, слушал от Александра подробное описание истории возникновения военного городка и его бесславной кончины.

Его открыли в 1955 году, заселив солдатиков в казарму, к настоящему времени не сохранившуюся. А офицерам войск ПВО с семьями предоставили отдельные квартиры, что по тем

временам было неслыханной роскошью. Все это воинство обслуживало зенитно-ракетные комплексы С-25, которые в случае необходимости должны были отражать воздушные нападения противников на Москву.

В систему ПВО Москвы входил целый ряд подобных гарнизонов, которые окружали столицу двумя кольцами. Чтобы комар к Кремлю не пролетел.

Кстати, была еще одна оборона Москвы, противоракетная, которая должна была сбивать баллистические ракеты. Но этот гарнизон к ней не имел никакого отношения.

В Адуляре никаких ракет не было. Военнослужащих с какой-то периодичностью развозили на точки, где в шахтах были установлены зенитные ракеты. В гарнизоне они жили. Солдатики несли караульную и всякую прочую службу, без которой жизнь в отрезанном от цивилизации городке была невозможной. Были истопниками, делали всякую слесарную и плотницкую работу, убирали территорию, работали на кухне. Были и гражданские – прежде всего в медсанчасти и в детском саду. Был магазин со всем необходимым. Ну и еще множество всяческих строений, главным из которых было административное здание.

Вся эта советская военно-гарнизонная идиллия продолжалась до середины девяностых годов, когда часть начали сворачивать в связи с проигрышем Штатам холодной войны. Но до середины нулевых тут еще теплилась какая-то жизнь.

А потом Адуляр стал мертвым городом, о котором уже самое время начинать слагать мифы и легенды. Как об Атлантиде.

Александр подъехал к воротам, на которых красовалась каноническая звезда. Если бы она была просто нарисована на металлическом листе красной краской, то от нее не осталось бы и следа. Однако эта воинская часть имела статус особо важного объекта. Поэтому на воротах была тисненая при помощи штамповки звезда, выпуклая в сторону незваных гостей.

Поскольку никаких гостей тут давно уже не ждали, замок на воротах отсутствовал. И мы медленно поехали по выложенной железобетонными плитами дороге, вполне сохранившейся.

Собственно, зачем Александр сюда приехал, то он получил с избытком. А именно – запустение и следы безжалостной работы природных стихий. Хотя, как узнали мы чуть позже, к этому делу приложили руки и мародеры.

Зрелище было действительно печальное. Особенно удручала детская площадка перед одним из двух пятиэтажных домов. Качели, карусели – эти детские забавы, помнящие, вероятно, звонкий ребячий смех, – были искорежены, словно здесь бесновался одноглазый циклоп.

Прошлись по квартирам. В двух трехподъездных пятиэтажках их было ровно сто двадцать. Вполне возможно, что с семьями офицеры жили еще и в каких-то других домах. Нам попало штук шесть или семь двухэтажек, эти были постройками пятидесятых годов. Что-то было украдено мародерами. Например, отопительные батареи, унитазы... Но где-то стояли газовые плиты – сюда, несомненно, протянули газопровод, чтобы защитники столицы (читай – Кремля) ни в чем не нуждались. Кое-где была и незатейливая мебель. В ту пору все было незатейливым. Ну, и всякий бытовой сор, брошенный второпях – книжки, магнитофонные кассеты, какое-то затрапезное тряпье... Мало ли что человеку оказывается ненужным в экстремальных ситуациях, к которым приравнивается переезд. Хуже переезда только пожар.

Сходили «в магазин», о чем свидетельствовала сохранившаяся вывеска. Эти ничего не забыли. Хотя, конечно, сталкеры могли прибрать к рукам брошенные продукты. Нет, не сталкеры, конечно, у них свои цели, отнюдь не меркантильного характера. А те же самые мародеры из окрестных деревень, которым зачем-то понадобились батареи и унитазы.

В магазине была лишь разбитая витрина да кассовый аппарат. Тот самый, древний, у которого нужно крутить ручку, чтобы отпечатался чек.

Городок был действительно городком, а не деревней с одной куцей улицей. То есть блуждали мы по нему довольно долго, фиксируя в памяти цифрового аппарата разрушенный советский уклад, брошенный умирать без причастия и отпевания.

Наглядная агитация, повествующая о том, как надо обращаться с автоматом, как крепить обороноспособность Родины, как хранить государственные секреты. Разумеется, были и чисто бытовые наставления, поскольку в армии принято регламентировать абсолютно все стороны жизни военнослужащего. На пожелтевших плакатах внутри административных зданий красовались румяные солдаты в надраенных до блеска сапогах, с белоснежными подворотничками. Были наставления для младшего командного состава, то есть для сержантов. Не были обойдены мудростью армейской пропаганды и младшие офицеры – от лейтенанта до капитана. А в медсанчасти – всюду люди, терзаемые страстями! – был даже обнаружен плакат с описанием признаков венерических заболеваний и причинами заражения.

Так мы и бродили, погруженные в невеселые думы – это все, что осталось от несокрушимой Советской армии?

Гараж с пятнами разлитого масла на полу. Довольно примитивное оборудование – тиски, поломанный сверлильный станок, два баллона синего цвета в углу. И наконец-то попался даже автомобиль. Красного цвета. «Жигули». С выбитыми стеклами. С оторванной задней дверью. Под капот мы даже и не стали заглядывать.

Электрическая подстанция со щитами, из которых была вырвана проводка. Но рубильники были целы. Сохранился и трансформатор.

Насосная станция.

Руины казарм. То есть стены есть, частично, но крыша провалилась внутрь довольно просторного здания.

Самое гнетущее впечатление произвел детский садик. С десятком уцелевших шкафчиков, на которых были нарисованы уточки, зайчики, медвежата, лисички... Пара низеньких столиков, опрокинутых, ножки беззащитно торчат вверх. Поломанный стульчик. Один целый. Помятый никелированный горшок, словно кто-то – зачем? – пару раз ударил его кувалдой.

Медсанчасть оказалась довольно просторной. Насчитали пятнадцать кабинетов. На дверях кое-где даже сохранились таблички – окулист, хирург, зубной, физиотерапевт... Был даже (но, скорее – была) гинеколог. Собственно, ничего удивительного. Основной контингент, здесь проживавший, – лейтенанты. Естественно, молодые. С молодыми же женами. А им, разумеется, рожать и рожать.

По прошествии многих лет безлудья уже выветрились специфические больничные запахи – спирта, йода, мази Вишневского, прочих притинок, припарок и снадобий, которые в ходу у медиков.

Разумеется, медицинские карты были вывезены. Поскольку их содержимое считается военной тайной.

Но всякого мусора медики оставили после себя предостаточно. Рваные халаты, у которых был уже такой вид, будто ими мыли полы. Одноразовые шприцы. Резиновые перчатки. Какие-то поломанные инструменты, принадлежавшие врачам неизвестно какой специализации. А также масса всевозможных бумаг, бумажек и бумажищ крупного формата. Из мебели сохранилось лишь пара шкафов, три кушетки и гинекологическое и зубоврачебное кресла.

Пора уже было возвращаться домой, поскольку летний вечер уже был готов перейти в фазу непроглядной ночи.

И я решил взять с собой какой-нибудь трофей. Ну, или сувенир на память, если без военной терминологии.

И тут мне в голову пришла совершенно бредовая мысль – найти что-нибудь этакое, эксклюзивное. Что, может быть, кто-то спрятал от чужих глаз. Ну, как шпионы оставляют в условленном месте для связника информацию. За которой по какой-то причине связник не смог прийти. Найти здесь, где уже все неоднократно обшарено и мародерами, и stalkерами!

И я начал обследовать кабинет за кабинетом, выискивая тайник.

Александр мрачно наблюдал за моими действиями, периодически предлагая перестать маяться дурью. Но на меня напал раж. Может быть, даже предчувствие какое-то было, что я найду неведомое искомое.

Даже стены простукивал в поисках пустот.

Зачем-то повалил на бок зубо врачебное кресло...

И вдруг заметил, что сиденье, нижняя его часть, чуть-чуть оттопыривается. Начал обследовать. И увидел, что дерматин в одном месте прострочен не заводским стежком, а слегка по-кустарному. То есть подшит штопальной иглой с суровой ниткой. Дрожащими руками вспорол нитки. Засунул руку под подкладку...

И вытащил тетрадь. Старинную советскую тетрадь на девяносто шесть листов, которая раньше называлась «общей».

Это был улов!

И еще какой!

Потому что, слегка пролистнув находку, понял, что это дневник. При этом по почерку, ровному, аккуратному, было понятно, что его вела женщина.

Вернувшись домой, усталый, тут же завалился спать.

Сон был отчасти продолжением прожитого в городе мертвых дня. С той лишь разницей, что вокруг меня бродили толпы солдат и офицеров, просвечивающие насквозь. И бесплотные, потому что проходили сквозь стены. И когда задевали меня, я не испытывал прикосновений.

И вдруг появилась молодая женщина в белом халате. И тут же вся эта военная рать с каким-то утробным завыванием кинулась к ней. Женщина побежала по дороге, предварительно скинув туфли. Все быстрее и быстрее. И когда на ее пути оказался железобетонный забор, взмыла ввысь, словно ракета. И начала стремительно уменьшаться в небе, вскоре превратившись в белую точку. Точка в конце концов вспыхнула и разлетелась искрами...

Я проснулся.

Некоторое время лежал очумело, стараясь удержать в памяти эти фантастические события, словно прожитые мною наяву.

Потом решительно встал.

Было ровно четыре. В окно уже бесцеремонно вползало солнце, а в саду раздавался птичий щебет.

Достал тетрадь.

Погрузился в чтение.

Это был дневник, как я вскоре понял, совсем молодой женщины. Собственно, еще девушки. Она была родом из Норильска, где у нее были мать, отец и младший брат. И средняя школа за спиной. Окончила медицинский и по распределению попала зубным врачом на три года в воинскую часть № 51850, у которой позывной был «Адуляр». И таким раскладом она была вполне довольна – все-таки не так уж и далеко от Москвы. А потом можно было бы перебраться, скажем, в Волоколамск. Все лучше Норильска. Ну, а через некоторое время можно и еще поближе, скажем, в Химки. А то и за саму Москву удастся зацепиться.

Но при этом было абсолютно невозможно определить, как ее звали. Потому что своего имени в дневниках не упоминают. Поскольку ведут его от первого лица. То есть от «я».

Но это, собственно, и не столь и важно. Назовем ее, скажем, Ириной. Ну, или Ириной Петровной. Потому что врачей и учителей всегда называют по имени-отчеству, как бы ни были они юны.

Сделав это краткое предисловие, приступаем к публикации самого документа. Проведя, естественно, необходимое минимальное редактирование. Также будем публиковать дневник не полностью, поскольку это заняло бы слишком много места и времени для прочтения. Более того, при полной публикации размышлясь бы, растворилась в частностях его суть. Ну, или что мне показалось сутью этой неведомой, но ставшей мне близкой судьбы.

5 августа 1978 г.

Какая же криворукая мымра тут до меня работала?! Идут сплошным потоком. И почти у всех застарелый кариес. Пашу как папа Карло! Как какой-то сверловщик на заводе. И ляпаю, ляпаю, ляпаю пломбы. Хорошо хоть народ тут крепкий. Сидят и только молча через нос дышат. Одним словом, офицерá. Да и солдатики такие же.

Правда, один пытался за задницу ухватить. Но хороший урок получил – я его нерв крючком, крючком... Но и он ни разу не застонал.

В общем, пациенты на загляденье. Не то что в районной поликлинике на практике.

8 августа 1978 г.

Коллектив нормальный. Женский. Только хирург мужчина. И завполиклиники – майор медицинской службы Краснопятков. А с тетками можно ладить, хоть и старухи почти – кому сорок, а кому все пятьдесят, бабульки. Да и медсестры той же категории. Только одна молодая – Шура, ей лет двадцать.

15 августа 1978 г.

Коллектив, конечно, хороший. Вот только достают, когда все вместе начинаем чай пить – такая у них тут традиция. Работы-то у всех мало, контингент крепкий, военный. Только у меня затор. Но ничего, скоро всех залечу.

Так вот за чаем начинают о своих бабьих делах. А дела-то какие – только муж, дети и кухня. Вот вокруг этого у них все и крутится. Чем так жить, удавиться легче и честнее.

29 августа 1978 г.

Ну, Шурка и дурой оказалась! Закрутила с Рифатом из второго взвода, с солдатиком. Да и залетела. И только сейчас опомнилась, то есть узнала, дура, почему ее подташнивает да селедочки все время хочется. А время-то и ушло. Поздно к Марье Иванне на аборт. Потому что Марья Иванна не хочет в тюрьму. Теперь только рожать остается...

А у самой мужу осталось служить на Дальнем Востоке чуть больше года. Вот подарочек будет!

10 сентября 1978 г.

Шура, чуть что, – в слезы. Уж ее и жалеют все, дуру. Чуть ли по головке не гладят. Жалко девушку.

Собралась писать мужу, каяться. Если, говорит, ничего не зная, приедет и увидит, то точно убьет. Генка, говорит у меня такой. А так подготовлен будет. Может, и не убьет.

– А может простить? – спрашиваю. Опять в слезы.

Если не простит, говорит отплакавшись, то мне с ребенком только к родителям в деревню под Воронез.

15 сентября 1978 г.

Некоторые уже оказывают знаки внимания! Клеятся. Выбор приличный, лейтенантиков холостых достаточно. Пытался даже один капитан подвалить, из которого труха сыплется.

Но тактично так посоветовала ему обратить внимание на Жанну Сергеевну, отоларинголога, пятидесятилетнюю вдову. Он аж как рак красный стал. С ними надо только так, нельзя Бело-снежку корчить – сожрут.

20 сентября 1978 г.

Шурка решила поговорить как следует со своим Рифатиком. Абсолютно глупая девушка. Ей надо за Генку своего сражаться, а она...

Ну и получила прямо по морде. В переносном, конечно, смысле. Я, говорит это животное, не уверен, что у тебя от меня. К тому же у меня в Казани невеста есть, девушка чистая. Ну, тварь! Таким бы ноги из жопы вырывать!

29 сентября 1978 г.

Андрей хорошо целуется. С Семеном интересно пообщаться на разные темы. Как говорится, ерундит. Леша очень красивый, просто Ален Делон. А там еще Коля, уже старший лейтенант. И Женя, хохмач... В общем, прямо глаза разбегаются.

Ой, держите меня, девочки!

8 октября 1978 г.

Шура все-таки написала письмо. Все ждем.

То ли простит и поймет, что маловероятно. То ли прямо сейчас приедет со своего Дальнего Востока убивать Шуру. Хотя, конечно, вряд ли ему командование даст отпуск для этих целей.

19 октября 1978 г.

Алина Александровна, уролог, большая хохмачка. Я тебе, говорит, девонька, хорошего мужа посоветую.

Это как это, спрашиваю.

Да у меня они все как на ладони. Я у всех у них члены изучила. И знаю, какой лучше подходит для мужа.

Тут все прямо чуть под стол не упали, весь чай расплескали.

Да мне, говорю, рановато пока о муже думать.

Ну, все-таки пусть будет про запас, говорит. А на первый момент, а может, и дальше, в параллель, подберу самый лучший член любовника!

В общем, славные они. Хоть и старухи.

27 октября 1978 г.

Ходят под окнами строем. Аж земля от сапог дрожит. Это, говорят, они тренируются к параду, который на ноябрьские в Волоколамске будет. Все бравые такие солдатики, загляденье.

Ну, а офицеры, те вообще из кожи лезут – аж подпрыгивают.

Говорят, что если на параде хорошо себя проявят, то это будет какой-то там плюс для полка.

29 октября 1978 г.

Шура получила ответ. Генка воспитывать чужого ребенка не собирался. Жену обзывал сукой приبلудной. Собирался разводиться. Все очень мрачно.

Хоть все это можно было бы и предвидеть. Если, конечно, иметь голову на плечах и пользоваться презервативами.

А теперь: я так его любила, так любила, до умопомрачения! Кого? Этого козла Рифата? Или Генку, когда был под боком? В общем, почти как у Толстого, в «Анне Карениной» – хоть на рельсы ложись.

Нельзя, ох нельзя в этом деле голову терять! А то в конце концов паровоз отрежет.

7 ноября 1978 г.

С утра рота ездил в Волоколамск, на парад. А потом у солдатиков какой-то особый обед в столовой. Но, не думаю, что сильно отличается от обычного. Вот и весь праздник.

А офицеры уже с обеда под хмельком. Ну, которые семейные, те дома вечером как следуют вмажут. Под телевизор. Но и не только. Женщины говорили, что здесь принято на праздники ходить друг к другу в гости. Бывает так, что все еле в квартиру вмещаются.

Ну а холостые, те готовятся к танцам. Вечером в клубе будут. Я девушка свободная, почему бы не сходить?

8 ноября 1978 г.

Сходила. И сразу – к главному. Отдалась Андрею. Собственно, и я того же самого хотела. Так что тут глагол надо какой-то другой. Впечатления самые восторженные. Может, от того, что после очень большого перерыва.

Но, разумеется, все нормально – с презервативом. Потому что не дура. И умею собой владеть. Хоть, как говорится, в зобу дыханье сперли.

В общем, всё отлично.

А он нормальный. То есть не животное, которому только это надо. Потом погуляли, пообнимались, поворковали. И домой меня проводил... Правда, потом, наверно, пошел с друзьями допивать.

Да, что важно. Мужчина ли он? То есть не растрепал ли все под гоготанье компании?

Не думаю.

17 ноября 1978 г.

Вот это номер! Есть ли жизнь на Марсе? То есть возможны ли отношения в старости?

У Людмилы Петровны, инфекциониста, муж, майор, убит в командировку. Говорит, на две недели. И что же? Наша старушенция, которой под пятьдесят, и двое детей старшеклассников при ней, была уличена в прелюбодеянии! Ну, не совсем, конечно. Но мне показалось, что там всё по полной программе. Как-то поздним вечером, возвращаясь домой, я заметила, как она стоит и жмет с каким-то подполковником. Что и как было дальше – не скажу. Но такие обжимания, на мой взгляд, кончатся койкой.

Ай да тихоня!

28 ноября 1978 г.

Андрей слишком настойчив. Ему прямо каждый день подавай! Я ему – а ты не перетрудишься? На службу твою не повлияет? А то ракету не туда запустишь.

А он: нет, мы – люди привычные, натренированные.

Ну, тут я обиженной такой козочкой: это на ком это ты натренированный? Небось, ни одной юбки не пропускаешь? А я у тебя так – с боку припеку!

В общем, охладила его пыл. Разыграв обиду.

Да и пора с ним заканчивать. Приелся.

1 декабря 1978 г.

Решили мы своим женским коллективом не опускать руки, а продолжить борьбу за склейку треснувшего семейного счастья бедной Шуры. Она строчила своему Генке письма чуть ли ни через день, но толка никакого не было. И вот мы решили привлечь к этому делу какого-нибудь мастера слова. Я предложила Семена.

Да, говорит, Эльвира Львовна, я этого мальчика знаю. Как-то раз побеседовала с ним. Очень умный. Подходит.

Я объяснила ситуацию Семену. И он согласился.

Долго расспрашивал Шуру о муже. О его характере, о том что его радует, что злит, на какие поступки способен, много ли пьет, курит, как относится к родителям. И много еще чего, казалось бы, совершенно пустякового.

А потом заперся в ординаторской и два часа сочинял.

Исписал два тетрадных листка с двух сторон.

Дал почитать самой разумной Эльвире Львовне. Не глупой же Шуре давать. Но Эльвира Львовна только пожала плечами.

Дал почитать майору Краснопятову. Тот прочитал и сказал: сильно, ты – голова!

Потом это дело переписала Шура. Вложила листочки в конверт. Написала адрес. И отправila письмо через всю страну.

12 декабря 1978 г.

Пришел ответ от Генки. Уже без угроз и оскорблений. Но с оскорбленностью – как же ты так, ведь я для тебя, а ты!

Лед тронулся. Надо было продолжать натиск.

Семен написал следующее письмо, чтобы закрепить и развить успех.

Я так расчувствовалась, что отдалась Семену. Получилось тоже очень здорово. Зайчик!

20 декабря 1978 г.

Рассталась с Андреем. По-хорошему. Он все понял и обижаться не стал. В общем, решили остаться добрыми друзьями. Сказала, что может на Восьмое марта цветочки приносить. Ну, а я его на двадцать третье февраля – в щечку.

29 декабря 1978 г.

Эта дура, решив, что дело в шляпе, сама написала Генке.

И вот уже больше недели сидим и ждем ответа. Которого, конечно, уже не будет никогда. Потому что человек закрылся на замок.

Шура то тихо плачет, то рыдает. Хотя в ее положении этого и нельзя. Живот-то уже совсем большой.

1 января 1979 г.

Гуляю тут мощно. Вино и что покрепче льется рекой. Даже кто-то из наших бабушек вчера в туалете наблевал после предновогодних посиделок.

Ну, а офицерам сам бог велел. Все ночь пускали ракеты. Горланили песни около елки, которую нарядили рядом со штабом. Плясали под баян. И с женами, у кого есть, и без них. И все это по-хорошему. То есть не то чтобы кто-то подрался бы, но и ссор никаких не было. Только одно веселье. Недаром говорят, что армия – большая дружная семья.

Семен мой оказался просто молодец. Выпил совсем немного – в основном для приятного запаха. А действительно, когда после двух-трех рюмок, то запах просто прекрасный, приятно целоваться. Раздумячился. Ловко плясал впрыскаду.

А утром, часов в одиннадцать, в дверь скребется. Открываю – с лыжами, для себя и для меня. Поехали, говорит, в лес. Просто зайчик!

В лесу было здорово. Солнце светит. Небольшой морозик. Воздух чистый, и чем-то очень приятным слегка отдает. Наверно, детством.

В общем, укатились от души. Но силы, когда вернулись, на любовь остались. Зайчик!

7 января 1979 г.

От Генки никаких писем. Что-то я больно сильно на эту тему переживаю. К сердцу прижимаю. Да и как иначе? Постоянно на глазах, словно овечка, которую зарезать хотят.

А может, и со мной такое может случиться? Вот и психую.
Нет, уж дудки! Со мной – никогда.

15 января 1979 г.

Семен свозил меня в воскресенье в Москву. Сходили в кино. На «Золотую мину». Потом в кафе-мороженое. Кайф!

Кстати, Семен немного на Олега Даля похож.

Он такой нежный! Когда берет за руку и в глаза смотрит, то прямо до дрожи, до дрожи!

Вот так дурочки и теряют голову.

Говорит, что в следующий раз пойдем в театр.

Зайчик!

22 января 1979 г.

Я здесь уже полгода. До конца обязательки еще два с половиной. Довольна ли я?

Ну, профессионально вполне довольна. Пациентов достаточно, так что практика хорошая. Научилась кое-чему. Удаляю без особых проблем, даже в сложных случаях. На лечение никто не жалуется. Поставила пломбу – и всё, никаких абсцессов. Раньше смотрели с недоверием, мол, зеленую дурочку прислали. А теперь, можно сказать, с радостью идут. По имени-отчеству называют. Как-то невольно услышала разговор хирурга с майором Краснопятовым. Повезло нам, говорит хирург, с зубницей. Да, говорит, майор, повезло, не то что раньше. Может, это они, правда, по женской части? Чем черт не шутит? Но вроде бы из обоих почти песок сыплется. Да и намеков никаких не было.

Да и в бытовом смысле все нормально. Если особо не привередничать. Дали комнату в доме гостиничного типа. Из удобств в комнате только раковина с двумя кранами. Все остальное на этаже. Но не так уж и страшно, потому что на этаже восемь комнат и половина из них пустует. Так что все остальное нужно делить на четверых. По сравнению с общежитием меда – это настоящий рай.

Ну, и, как говорится, влилась в коллектив. Вначале бесилась. А сейчас этих тетенок чуть ли ни подружками считаю. Наверно, за доброту – они ко мне как к дочке, что ли, относятся.

В общем, всё нормально.

Но это не означает, что я навсегда останусь в этой дыре. Думаю, через два с половиной года уговаривать начнут. Потому что «повезло с зубницей». Зарплату там. Квартиру, может, отдельную. Еще что-то...

Ну уж нет! Раз пять в год с Семеном или еще с кем-нибудь в Москву в театр и в кафе!?

Правда, тут ухажеров вдоволь. Но это аргумент только на ближайшие два с половиной года.

3 февраля 1979 г.

Анна Александровна воспользовалась тем, что командир полка – ее постоянный пациент. И между ними установились доверительные и почти дружеские отношения. Он ее ценит, и она этим иногда пользуется. Конечно, не перегибая палку. Так вот она поговорила с ним насчет Шуры. Обещал разобраться и помочь насколько это возможно.

А ему, говорит Анна Александровна, тут все возможно – царь и бог с неограниченными полномочиями.

В общем, ждем, чем это закончится.

Может, они, которые тут знают все вдоль и поперек, и имеют на этот счет какие-то конкретные предположения. Но для меня это тайна за семью печатями. Сам, что ли, на ней женится? Или ее ребенка усыновит? Точнее – увнучит, потому что полковник наш уже подошел к дедовскому возрасту.

12 февраля 1979 г.

Ужас! Погиб солдатик. Совсем молоденький, только осенью призвали. Где-то там, где у них ракеты, полез куда не надо, и его задавило. Сразу. Говорят, не мучился.

Говорят, теперь будет комиссия расследовать. Из Москвы. Наверно, кому-то не поздоровится. Потому что всегда должен быть виновный. Разумеется, не поздоровится и Петру Николаевичу, нашему главному полковнику. Потому что за все отвечать должен.

Наши тетушки в белых халатах жалеют Петра Николаевича. Ну, и родителей погибшего, конечно. Но их во вторую очередь. Потому что их в глаза не видели. А Петр Николаевич – родной.

Гадюшник!.. Нет, свинарник. Духовный свинарник!

20 февраля 1989 г.

Были с Семеном в Москве. Он раньше билеты купил во МХАТ. Говорит, еле достал, потому что шедевр. И правда. «Утиная охота» – сильная вещь. И драматург сильнейший. Но это, скорее, мужской спектакль. Страдания никем не понимаемого мужчины. Будто Гамлет какой. Но страдания жены – это не в счет. Это, как говорится, для гарнира.

Потом немного поспорили с Семеном на эту тему. Каждый остался при своих. Но до ссоры дело не дошло.

Разумеется, на ресторан или на кафе времени уже не было. Надо было возвращаться в часть...

ТЬфу, блин, нахваталась уже – «в часть»! Этак скоро научусь строем ходить!

В общем, все прошло прекрасно. Хоть на секс времени не осталось. С Семеном хорошо и интересно. Зайчик!

21 февраля 1979 г.

Алина Александровна рассказала, что Петр Николаевич связался с командиром полка, в котором служит Шурин Генка. Попросил поговорить с ним по-мужски. Мол, в жизни всякое бывает. И жизнь длинная штука. Ну и так далее, по усмотрению того командира. И прояснить ситуацию – может простить и вернуться? Или же никогда и ни за что.

Ответ по каналу секретной телетайпной линии пришел отрицательный.

После чего Петр Николаевич провел воспитательную беседу с Рифатом. Действовал при помощи кнута и пряника. Либо ты с гауптвахты вылезать не будешь, либо сокращу тебе срок службы и по своим каналам помогу наладить семейную жизнь.

Рифат оказался сволочью.

Но Петр Николаевич сказал Алине Александровне, что у него в запасе есть один стратегический маневр. Так что не всё потеряно.

23 февраля 1979 г.

Сократили время приема на два часа. О том и на бумажке на входной двери написали. Никто не роптал, потому что дело святое.

Наши тетушки разложили в ординаторской огурчики-помидорчики соленые, грибки тоже соленые, всякие салатики, дома наструганные, колбаска. Да, колбаска, хоть мы далеко от Москвы, но снабжение московское. Вино и водка.

Поздравили двоих наших мужчин. Хоть хирург и не военный сейчас, но тоже служил в молодости. Всякие подарки от женского коллектива – мужскому. Вот на Восьмое марта мужчинам придется раскошелиться посерьезнее – нас-то много.

Выпили, закусили. Раскраснелись. Да и запели. Дружно. Видать, за долгие годы без всяких репетиций спелись. Запевалой была Нина Гавриловна, старшая медсестра. Голос у нее подходящий. Да и другие пели стройно, в лад. Пришлось и мне делать вид, что подпеваю.

Ну, а после окончания рабочего времени все разошлись по домам. Чтобы там делать все то же самое. День хоть и рабочий, но в военном городке его отмечают свято.

На улице поджидал Семен. Почти трезвый. И сразу же потащил меня в мою светлицу. Сильно, видать, приспичило.

1 марта 1979 г.

Сегодня чуть со всеми не поругалась. На ровном месте.

Когда пили чай, Людмила Петровна сказала, что я девушка умная, правильного себе парня нашла. Держись, говорит, за него, такие мужья на дороге не валяются.

Ну, я отшутилась. Говорю, надо у Марьи Ивановны получить на него информацию – подходит в мужья или нет.

Если бы была Марья Иванна, то разговор перешел бы на хиханьки и хаханьки.

Людмила Петровна вдруг начала меня уговаривать, на полном серьезе, чтобы я выходила за Семена замуж.

Да рано мне, говорю. Еще успею.

Смотри, говорит, короток бабий век, потом локотки кусать будешь. А так, при муже, при таком-то, будешь как за каменной стеной. Квартиру вам дадут. Детки пойдут.

И тут меня такое зло взяло. Да, выскочить тут замуж и потом до конца жизни гнить в этой дыре! Как они! Обабиться! Ходить по городку в домашнем халате...

Но ничего этого я не сказала. Сказала еще хуже. Словно черт меня за язык дернул.

Да, говорю, поселюсь здесь навечно, а потом буду ждать мужниных командировок, что-бы с подполковником в койке кувыряться.

Людмила Петровна поперхнулась чаем и покраснела.

Почти все буквально зашипели. Разумеется, все они прекрасно знали о похождениях Людмилы Петровны, которые считали любовью.

Не буду тут упоминать, что они мне высказали. Наверно, было немало и справедливого.

В конце концов Эльвира Львовна сказала, что мы не представляли, какая же ты змея.

5 марта 1979 г.

Меня простили.

8 марта 1979 г.

Вчера все было точно так же, как и 23 февраля. С той разницей, что подарки дарили не мы, а нам. Ну а застолье было таким же – и закуски те же, и песни.

Андрей, как я ему и сказала при расставании, подарил букетик тюльпанов. Трогательно. Как и обещала, поцеловала в щечку.

С Семеном было все гораздо основательнее. Провели весь день в постели. Вечером сходили в клуб. Танцевали.

Не потерять бы голову. И не застрять здесь навсегда.

Он часто говорит, что любит. Наверно, я тоже.

18 марта 1979 г.

Шура родила. Мальчик. Здоровый. Говорят, крепкий.

4 апреля 1978 г.

В общем, это цирк. Сразу и цирк, и крепостное право. Мне до сих пор не верится. Уж не сплю ли я?

Петр Николаевич построил всю казарму на площади нашего городка.

И держал речь.

Я-то при этом не присутствовала, наши женщины рассказывали, а им мужья.

Минут двадцать говорил о том, как мы, то есть солдаты, должны любить женщин. Как беречь их. Особенно матерей. Говорил о счастье семейной жизни. Что у каждого солдата, в смысле – мужчины, должен быть крепкий тыл, каковым является семья. Что без семьи человек не может быть полноценным.

Солдатики стояли с отвисшими челюстями. Думали, полкан сверх меры коньяку выжрал, вот его и понесло.

Потом сказал, что все мы знаем Шуру из медсанчасти. И начал описывать ее достоинства – и красоту, и доброту, и преданность, и нежность, и ум... Насчет ума он, конечно, перегнул палку.

И вот эта Шура попала в беду. Какая это беда, не сказал, все и так знали.

И потом сказал, что уверен, что среди таких прекрасных парней найдется тот, кто возьмет Шуру замуж. В комплекте. Так и сказал – в комплекте.

И уж он, командир отдельного элитного зенитно-ракетного полка, сделает так, чтобы эта семья была счастлива.

После чего перечислил все слагаемые счастья, которые он, боевой командир, человек долга и чести, обязуется обеспечить.

Жениху сокращается срок службы. Поскольку у Шуры деревенские корни, то и жених, видимо, должен быть из колхозного сословия. Поэтому молодая семья поселяется в крепкий деревенский дом, который Петр Николаевич уже выхлопотал в одном из совхозов Волоколамского района. К дому прилагается приусадебный участок с плодовыми деревьями. Воинская часть 51850 материально помогает молодоженам в первоначальном устройстве быта. Молодому мужу обещана хорошая должность механизатора с перспективой роста до начальника мастерской по ремонту сельхозтехники. Конечно, для этого придется проявить себя с лучшей стороны. В совхозе есть прекрасная поликлиника, где могла бы работать молодая жена...

И это сработало! Жених нашелся!

21 апреля 1979 г.

Проводили Шуру с ребенком и мужем, которого зовут, кажется, Коля.

Правильно поют, что от Москвы до Британских морей Красная армия всех сильнее.

15 мая 1979 г.

Семена больше нет. Уехал. Его перевели в Краснодар.

И тут уж ничего поделать было невозможно – Красная армия всех сильнее. И нашей любви в том числе.

Я даже плакала. Как дура, честное слово. И ждала, что, может, он скажет – давай со мной. Что означало бы – выходи за меня замуж.

Нет, я, конечно, отказалась бы.

Может, правда, это я сейчас так. Как лиса в басне Крылова про виноград...

Но не сказал.

Обещал писать... Но, понятно – новое место, новая жизнь, новые радости.

У Зайчика!

Может, не сказал потому, что не видит во мне, как сказал полковник, крепкого тыла...

Может, во мне изъян какой-то. Проводить со мной время в радости – это одно. Но есть и другое...

20 мая 1979 г.

Коллеги меня всячески утешают. Что я им, Шурка, что ли, безмозглая?!

В конце концов не выдержала, сказала, что не надо мне вашей сердобольности. Что отныне буду посылать всякую сострадальщицу на фаллос. Мол, дело мое личное, и нечего тут!

Не обиделись. Умные. Жизнь прожили. Ну, и понятное дело, врачи, знают, что где у кого болит и за что не надо руками хвататься, чтобы боль не возростала.

29 мая 1979 г.

Майор Краснопятов спросил, играю ли я в волейбол. Сказала, что в институте когда-то играла за сборную факультета. Он прямо засиял. Говорит, поедешь на спартакиаду. Военно-спортивная спартакиада Московской области, надо мужскую и женскую сборные выставить.

Ну, согласилась. Всё какое-то развлечение. А то не могу уже в разинутые пасти глядеть!

4 мая 1979 г.

Тренируемся на волейбольной площадке. Вместе с мужчинами. Но толку от этого мало. Потому что офицерские жены варят такие наваристые борщи, что жирок повсеместно откладывается. Да ладно, не на Московскую олимпиаду поедем.

12 мая 1979 г.

Приехали в Подольск. Каким-то чудом доползли до четвертьфинала. Ну, а там нас высадили десантницы. Эх, и крепкие бабищи – мячом в лоб попадут, так только в госпитале в себя придешь.

Ну а ребята наши – молодцы, второе место заняли. Грамоту домой привезли. И каждому на грудь по медальке на красивой ленточке.

20 июня 1979 г.

Нину Гавриловну побил муж. По пьянке.

Ну, то есть она не сказала бы ни за что, но два синяка никак не спрячешь. Под глазом и на плече, чуть выше локтя.

Все шумят, возмущаются. Говорят, что так это дело оставлять нельзя. Надо заявление в партком. Уж там его пропесочат будь здоров как, навсегда охоту отшибут.

Однако вскоре успокоились. Потому что это заявление не только ударит по хулигану, но и по его жене, и по детям. Потому что выговор, скорее всего, внесут в личное дело. То есть при рассмотрении вопроса и о присвоении очередного звания, и о распределении каких-либо материальных поощрений кандидатура хулигана будет рассматриваться в самую последнюю очередь.

А скоро выяснились и причины этого зверства. Марья Иванна шепнула Жанне Сергеевне, но я расслышала, что, наверно, муж застукал Нину Гавриловну с майором Григорьевым.

Кто это такой, понятия не имею. Поэтому не знаю, стоило ли Нине Гавриловне так рисковать, чтобы получить по морде за любовные (так считают все мои коллеги) приключения с не пойми кем.

1 июля 1979 г.

Влюбилась! Вот теперь уже совсем как дура. То есть когда он со мной заговорил, то я начала путаться в словах, понесла какую-то околесицу. Хорошо же представилась!

А всего-то надо было объяснить, как пройти в комендатуру. Улыбнулся моему лепету. И, наверно, в душе пожал плечами.

Да! Улыбка как у Гагарина!

3 июля 1978 г.

Юра. Перевели к нам из Краснодара! О, боги!

Это сказала Лидия Степановна, терапевт. Он приходил в поликлинику на учет вставать.

5 июля 1979 г.

Каждое утро стала краситься особенно тщательно. Именно тщательно, а не с перебором. Потому что с перебором отпугнешь на фиг. Но так больше и не попадался ни разу. Точно, как дура.

7 июля 1979 г.

Накупила в магазине всякого килограммов, наверно, на семь. Несу, через десять шагов руки меняю. А навстречу он.

Помочь, спрашивает. Хотя и заволновалась, но сообразила, что ломаться особо не стоит – мол, привычные мы. Нельзя и в другую крайность – ой, счастье какое, держите скорей, благодетель мой. Согласилась, сохранив достоинство.

– А что, – спрашивает, – муж-то на дежурстве? Что одной приходится тяжести таскать.

– Да нет, – говорю, – мужа, не завелся.

– Ну, а ухажер?

– А вы хотите, – говорю, – хотите им быть? – И рассмеялась.

– С удовольствием! – Понятно, тоже засмеялся.

Тут надо сразу же менять тему. Вот, вот, начала у меня голова работать! Не дура!

– Вам у нас, – спрашиваю, – понравилось?

– Ну, – говорит, – служба всюду одинаковая. Ракеты те же самые, уставы на одном печатном станке отпечатаны.

– Ну, все-таки разница-то есть, – говорю. – В Краснодаре сейчас, наверно, пекло жуткое? Раскрылась, дура! Что присматривалась, сведения собирала.

Но он и глазом не повел. Выдержка.

Дошли до общаги. Пригласила чаю попить. Согласился.

Ну, то есть можно предположить, что, будучи мужчиной, вызвался бы тяжелое поднести и Жанне Сергеевне или Людмиле Петровне. Но от чая бы отказался.

И вот сидим мы с ним, чай пьем, болтаем. По большей части я, поскольку надо человека как-то слегка просветить по части местных обычаев, нравов... Да, разумеется, я сразу же представилась. Заходите, говорю, если вдруг с зубами что-то не то будет.

Он спрашивает, есть ли речка или озеро, чтобы купаться, собирают ли тут грибы, как насчет спорта – он волейболист...

И вот сижу я, слушаю эти малозначащие слова и ощущаю, что от него какие-то волны невидимые идут. И вот какие они – точно сказать невозможно. Разве что притягательные и теплые. И начинаю понимать, что вот оно. Нет, не любовь с первого взгляда. А то, что мы предназначены друг для друга. Что подходящее Юры для меня нельзя найти во всем мире.

Но сейчас нельзя отпускать на свободу эмоции. Это его напугает. Ну, или наоборот – неправильно поймет, что, дескать, путь свободен, вперед, в штыковую атаку!

Поэтому контролирую свое лицо, хоть и непросто это. Непросто одновременно быть и душой, и архитектором собственного счастья (кажется, так в глупых книжках про позитивную любовь пишут).

Поболтали так примерно час. Хотя у меня все время и перепуталось. И он ушел. Улыбнувшись на прощанье.

Когда шаги в коридоре стихли, я бросилась на кровать и разрыдалась.

Тушь, тени – насмарку...

Что если бы он вернулся в этот момент?

10 июля 1979 г.

Вчера опять встретила Юру. Совершенно случайно. Велела прийти на профилактический осмотр.

Сегодня убедилась, что зубки ровненькие и крепенькие. Изо рта пахнет приятно. Губы теплые – специально при осмотре рукой касалась.

Эх, и приятно же, наверно, с ним целоваться!

Чувствует ли он, что мы сделаны друг для друга? Только друг для друга, и ни для кого больше.

Пообещала показать Юре озеро. Волнуюсь. Как у меня со складками и всем таким прочим?

15 июля 1979 г.

Вчера вечером ходили купаться. Хотя и в форме он статный и ладный, но под ней просто атлет. Глаз не оторвешь. Все такое рельефное, пропорциональное. Ну, и в плавках, судя по объему, тоже должно быть все в порядке.

Перед этим целый час выбирала купальник. Хотя их у меня только два. Надевала один, глазела на себя в зеркало, потом другой, потом опять первый. Выбрала самый строгий, слитный, а не раздельный. Не Софи Лорен, нет, совсем не Софи Лорен. Но, как я поняла, Юре понравилось.

В общем, плавали, дурачились, брызгались. На песочке лежали. Место хорошее выбрали – и песочек чистый, и вода прозрачная, и ни души вокруг.

Поцеловал. В первый раз.

Я как будто летела куда-то с замиранием духа. То ли вниз, то ли вверх...

Господи, что же с моими бедными мозгами будет, когда дело до постели дойдет?! Как я это выдержу?!

Всю дорогу домой целовались. Как только ноги не поломали.

Вернулись, когда уже почти стемнело.

У общаги Юра стал напрашиваться на чаёк. Соврала, что сегодня мне нельзя. Нет, так сразу нельзя, никак нельзя...

22 июля 1979 г.

Вчера все произошло. Словно ураган. Но мозги мои выдержали.

Описать ощущения не могу. Потому что в каком-то беспамятстве.

29 июля 1979 г.

Приезжала Шура. Ее кто-то довез до КПП. Пришлось попросить двух солдатиков, чтобы подарки притащили. Две здоровенные сумки с яблоками и грушами для Петра Николаевича, отца родного. Одну для нас.

Говорит, что счастлива. Очень. Все у них с Колей замечательно. К Мишеньке относится как к своему сыну. Работает на тракторе, получает хорошо. Так что Шура не будет отдавать сынка в ясли, а досидит с ним до детского сада.

Ко всему прочему Коля работающий. То есть всю мужскую работу по дому делает в лучшем виде. Беседу в саду поставил, чтобы жена с сынком на свежем воздухе и в тенике. Сена козе заготовил.

В общем, если раньше Шура все время плакала, то теперь улыбается с перерывами на беззаботный смех.

Да, Красная армия всех сильнее!

3 августа 1979 г.

Наконец-то услышала «Люблю»! В постели. Правда, может быть, он и раньше говорил. Но разве в забытии что-нибудь поймешь и осознаешь? Только прикосновения, и только глаза.

6 августа 1979 г.

Наши тетушки уже перешептываются насчет нас с Юрой.

А Алина Александровна, тетка простая и несентиментальная, со своей дежурной шуточкой. Когда все чай пили.

Пока, говорит, девонька, ничего тебе сказать не могу. Он ко мне на осмотр пока еще не приходил. Так что подожди, не торопись. Вдруг его член для тебя не подойдет. Или ты уже?

Я промолчала.

Поставила чашку. И пошла к себе в кабинет.

Видать, втюрилась девка, – услышала у себя за спиной. Слух-то у меня хороший.

15 августа 1979 г.

Юра возвращается с дежурств абсолютно вымотанный. Да и кроме дежурств он проводит чуть ли ни все время на своей точке. Где у них ракеты. Говорит, что сейчас заменяют ракеты «Беркут» на «Фаворит». Так что любовь только урывками. А так хочется почаще и побольше.

А урывками – это суетливо. Не залететь бы.

20 августа 1979 г.

Юра сказал, что его и еще девятнадцать офицеров отправляют в командировку, в Москву. Будут осваивать на курсах новые ракеты.

На целый месяц! С середины сентября до середины октября.

25 августа 1979 г.

А ведь я могу его потерять! Навсегда! Переведут в другой город. Помашет, как Семен, ручкой. И до свидания. То есть – прощай. И останется только вспоминать счастье, которое на меня обрушилось. Вспоминать любовь.

И что потом? Приедет к нам еще какой-нибудь красивенький мальчик... Ну, и дальше по кругу. По замкнутому для меня кругу. И это притом, что больше в мире нет никого, кто подходил бы лично для меня, как Юра.

Буду волчицей быть.

Надо что-то делать! Что-то надо делать!

27 авг. 1979 г.

А надо забеременеть!

Нет, это совсем не тот случай, что с глупой Шурой. Судьба офицера от много зависит. В том числе, как говорят в телевизоре, от морального облика. Бросить женщину с ребенком – за это по головке не погладят. И по партийной линии – Юра ведь член партии. И командованию это сильно не понравится. Командование сделает соответствующие выводы и будет притормаживать продвижение по службе. Так что деваться Юре будет некуда...

Ну, не стерва ли я?!

Да и чем все это закончится, если Юра узнает правду? Ведь возненавидит меня.

28 августа 1979 г.

Нет, не стерва! Потому что у нас будет идеальная семья. Потому что мы созданы друг для друга. И никого лучше меня ему не найти. Я сделаю его счастливым на долгие годы.

Забеременеть! Уж я придумаю, как сделать. Не дурочка. С медицинским образованием.

1 сентября 1979 г.

Получилось? Дай бог!

Дай мальчика или девочку!

5 сентября 1979 г.

Спросила Юру, почему тогда, у магазина, спросил про мужа.

Он отшутился. Говорит, что всех таких красивых сразу разбирают.

Пошутила и я, осторожно. А не боишься, что такую красивую у тебя уведут?

Кто ж тебя отпустит, продолжил он в том же тоне.

Узами, что ли, привяжешь? – спрашиваю. И опять же весело улыбаюсь.

И обузами, нашелся он.

Но чувствую, дошло до него. Дошло до голубчика. Удочка заброшена.

10 сентября 1979 г.

Ничего нового.

Нервничаю.

15 сентября 1979 г.

Проводила Юру. Курсы в какой-то артиллерийской академии. Будет жить в гостинице.

Дал адрес. Буду приезжать на выходные.

21 сентября 1979 г.

Юра заказал на меня пропуск в гостинице. Поднимаюсь. Он один в комнате.

Понятно, что сразу же обниматься-целоваться.

И вдруг он отстраняет меня и, глядя прямо в глаза, – выходи за меня замуж.

Сижу с открытым ртом. В связи с чем он, видимо, думает, что меня уговаривать надо.

И начал высказывать абсолютно мои мысли. Что мы созданы друг для друга. И что на всем свете нет для него лучше меня. И что он сделает меня счастливой на долгие годы.

Да, согласна?

Да, ответила я. И разрыдалась.

26 сентября 1979 г.

Началась менструация!

Господи, спасибо, родной боженька, что спас меня, что не дал построить все на лжи!

И тогда жизнь превратилась бы в сущий ад. Вся жизнь состояла бы из бесконечной лжи!..

А вдруг у меня не может быть детей?..

Дура!

28 сентября 1979 г.

Была у Юры. В номере накурено. Кто-то отсыпается непонятно от чего. Другой читает книгу.

Погуляли по Москве. Просто так. Солнечно. Листья шуршат на бульваре. Говорили о свадьбе. Но так ни о чем и не договорились – когда расписываться, где гулять, сколько гостей, когда вызывать родителей. Его-то родителям попроще – они поближе, в Калинин.

Замерзли и пошли греться в кино. Какую-то муру показывали – «Безотцовщина». Но следить за сюжетом, совершенно безысходным, было некогда – сидели на последнем ряду и целовались.

Потом посидели в кафе, перекусили. Немного коньячку выпили. Ты, говорит Юра, покраснелась, как наливное яблочко из сказки про Белоснежку. Рассмеялась, потому что после коньяка все смешно.

А сейчас-то оторопь меня взяла. Наливным-то этим яблочком злобная королева отравила Белоснежку. Случайно ли это у него с языка сорвалось, от коньяка?

Но тогда не придавала значения. Посмеялись еще, обсуждая наше будущее. Даже до рождения ребенка дошли.

Поели мороженого. И Юра проводил меня на электричку.

7 октября 1979 г.

Застрелился муж Эльвиры Львовны. Перед смертью ничего не написал.

Я его ни разу не видела. Коллеги говорят, что в молодости был лихим парнем, веселым. Любил женщин. И они его. Но Эльвира Львовна неизменно его прощала. Потому что не любить его было невозможно. Это все наши в один голос.

К сорока как-то сник. Подурнел. А потом стал и вовсе угрюмым, словно какую-то ношу на плечи взвалил. Или на него взвалили. Вот, наверно, она его окончательно и придавила. Но это так, мои абстрактные рассуждения, не зная человека, не зная ситуации.

Эльвиру Львовну все жалеют. И ни у кого ни малейшей мысли, как мне кажется, что это он из-за нее.

Правда, сказала мне по секрету Жанна Сергеевна, ее уже давно жалели. Потому что прекрасный принц вдруг превратился в сущего бирюка. Хоть и неверный был принц, но бирюк-то никому не нужен.

10 октября 1979 г.

Похоронили.

Говорят, что это не первый случай. Раз в пять-семь лет стреляются. И никто не оставляет предсмертной записки. Бывает, что и совсем молодые.

15 октября 1979 г.

Уже как неделю подали заявку в ЗАГС. Регистрация назначена на праздник, на 7 ноября. Тогда же и свадьба.

Мне сказали, что в городке есть отличная портниха. По долгу службы офицерам форму подгоняет. Но, разумеется, обшивает и поселковых модниц. Вот у нее и закажу платье.

22 октября 1979 г.

Юра углубился в проблему устройства свадьбы. Разумеется, придут все желающие поздравить офицеры. С женами, у кого есть. Так здесь заведено. Накормить всех и тем более напоить на наши с Юрой зарплаты невозможно. Но есть простой выход. Все будет происходить в офицерской столовой. И повара приготовят меню попроще из продуктов, которые есть на кухне. Это за счет полка. Мы, конечно, закупим, сколько сможем, деликатесов в магазине – сырокопченой колбасы, красной рыбы еще чего-нибудь. Пусть и не на всех хватит, но все-таки, для торжественности. Купим и вина с водкой. Ну, а офицеры еще сколько-то с собой принесут. Тут так принято.

Да, будет играть оркестр! Наш, полковой.

5 ноября 1979 г.

Все готово. Кроме платья! Портниха успокаивает. Не тебя, говорит, первую замуж отдаю, все будет в лучшем виде.

8 ноября 1979 г.

Была свадьба. Но я про нее ничего толком написать не могу. Потому что это было как во сне. Все крутилось и вертелось, тосты, музыка, сто, наверно, разных людей, мало кого из них я знаю. Или даже больше ста.

Да, был, конечно, Андрей. Поздравил очень хорошо, по-дружески.

Юра был прекрасен. Теперь муж.

А я жена. Пока еще не привыкла.

Юра переехал ко мне в комнату. Говорят, скоро могут дать отдельную квартиру.

30 ноября 1979 г.

Ну вот, а я опасалась, что не смогу. Беременна я. Марья Иванна подтвердила.

Немного боязно.

20 декабря 1979 г.

Легкое недомогание. Все как в учебниках пишут. Все через это проходили. Пройду и я. И у нас будет девочка. Правда, Юра настаивает на мальчике. Но посмотрим, все желанны.

28 декабря 1979 г.

Началась война в Афганистане. Ограниченный контингент. Но Юра говорит, что будет большая мясорубка. И контингента понадобится много, десятки тысяч.

Волнуюсь, не послали бы его. То есть наш полк, и его вместе с полком. Но Юра успокаивает, говорит, что оголять оборону Москвы никому в голову не придет. Да, конечно, это так.

2 января 1980 г.

На Новый год в городке не было обычного веселья. Точнее – все было потише. Наверно, из-за Афганистана. Все понимают, что их части это не коснется. Но все же. Ведь люди погибать будут непонятно ради чего. Может быть, уже погибают, когда у нас ёлочка на площади.

10 января 1980 г.

Ходили с Юрой на лыжах. Это в моем положении необходимо. Необходимо двигаться, разумеется, в разумных пределах. Ну, к тому же и приятно – на свежем морозном воздухе, елки в снегу, пар изо рта. Так, кстати, целоваться довольно интересно, с паром.

На полянке видели лису. Рыжая, хвост пушистый. Посмотрела на нас нагло, потому что без ружей, и лениво ушла в ближайшие кусты.

20 января 1980 г.

Привыкаю сразу к двум новым своим состояниям. Жены и будущей матери.

Роль жены. Тут скорее требуется психологическая вовлеченность. Потому что быт – это не столь уж и сложное занятие. Что раньше для себя одной делала, теперь для двоих.

А вот роль будущей матери – это уже не роль. Роль – когда стану матерью. А сейчас это физиологические испытания.

В общем, я счастлива.

Все сошлось, мы действительно идеально подходим друг к другу. Как, например, замок и единственный ключ, который может его открывать.

29 января 1980 г.

На Юриной батарее солдат сломал руку. По дурости. Полез не туда и не в то время, и вот результат. Еще хорошо отделался. Лев Сергеевич, хирург, наложил гипс. Говорит, перелом простой, все быстро срастется.

Переживаю. Как бы Юре не испортили личное дело.

4 февраля 1980 г.

Все обошлось. К Юре никаких претензий.

10 марта 1980 г.

Лев Сергеевич собрался уходить на пенсию. Говорит, что уже присмотрел домик во Владимирской области. Сговорился о цене. И будет там наслаждаться природой. Он, оказывается, заядлый рыбак. А я этого и не знала. Я вообще мало что знаю о коллегах. Своя жизнь гораздо интереснее.

15 марта 1980 г.

Теперь я буду писать значительно реже. У меня и у Юры новостей сейчас немного. Период привыкания и открытий в области семейной жизни уже почти завершился. Я готовлюсь стать матерью. Как – это рассказать невозможно. В основном внутренние ощущения, которые словами не передаются.

На работе уже давно все идет по накатанной колее – сверлю, пломбирую, дергаю. Юрины служебные дела мне не очень понятны по части техники. Хотя он и пытался мне рассказать, чем ракеты «Фаворит» лучше ракет «Беркут». Единственное понятно, что они дальше летают.

А у наших тетушек уже давно колея такая глубокая, что, мне кажется, они говорят не словами, а предложениями, фразами, которые затвержены давно раз и навсегда.

Да, к счастью, никто из мужей больше не стреляется.

15 апреля 1980 г.

Уже давно настоящая весна. Хотя в лесу пока еще снег не растаял. Я теперь часто в лесу бываю. Юра постоянно выгоняет на прогулку. Да, конечно, для меня это сейчас полезно. Ну, разумеется, и для нашего мальчика. Или девочки.

Хоть у Юры и много работы в связи с освоением новых ракет, но он старается по возможности гулять вместе со мной. Это очень приятно.

Да, научилась варить именно такой борщ, который ему больше всего нравится. Хотя борщом его назвать и непросто, потому что к капусте, морковке, свекле и прочим составляющим добавляю немного гречки. Такой вот у них, ракетчиков, вкус.

25 мая 1980 г.

Проводили на пенсию Льва Сергеевича. Стол накрыли. Всякие душевные слова говорили. Выпивали, кроме меня, конечно. Закусывали. А к середине вечера спохватились – главная закуска кончилась. Я все соленые огурцы за милую душу уплела.

3 июня 1980 г.

Юра постоянно на работе. То есть на точке, на своей батарее. Через неделю должны быть какие-то испытательные запуски. Говорит, надо сбить ракетой самолет-мишень. От этого очень многое зависит.

11 июня 1980 г.

Все у Юры получилось. У других тоже. По этому поводу офицеры изрядно выпили.

Юра пришел, пошатываясь. Такой смешной. Все лез целоваться. Но меня сейчас от таких запахов аж корежит. Поэтому постелила ему отдельно. Ничуть не обиделся.

В общем, я счастлива.

Да, совсем скоро мне уходить в декретный.

7 июля 1980 г.

Уже три дня как в отпуске. До родов осталось два месяца. Если, конечно, Марья Иванна все правильно посчитала.

Живот уже большой. Ношу осторожно. Юра оберегает от вредных нагрузок. Хоть и выгоняет по-прежнему на прогулки. Но уже как гусыня, вперевалочку, потихоньку.

Однако совсем расстаться на эти два месяца с работой не получается. Приходят домой несчастенькие с острой болью. Говорят, что на стену лезут. Приходится их выручать. Доковыляю до кабинета, бормашину в руки или шипцы, и люди успокаиваются. Так что врач – это не профессия, а нечто иное.

12 июля 1980 г.

Не знаю, как бы я без Юры! Просто ангел какой-то, ангел-хранитель!

Как с беременностью справляются одиночки? Да та же Шура. Правда, я тогда в этом деле ничего не понимала.

18 августа 1980 г.

Марья Ивановна мной довольна. И это главное. Ну, не только мной, но еще и моим маленьким, который уже всюю пихается.

25 августа 1980 г.

Волнуюсь. Очень волнуюсь.

10 сентября 1980 г.

Ну, вот мы и дома. И нас теперь трое.

Достается ли теперь моей любви хоть немножко Юре? Или же всю забирает Сереженька?

25 сентября 1980 г.

Прорва работы. Пеленки, подгузники, кормление (с молоком, тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке), прогулки и еще по мелочам вагон и маленькая тележка. Спасибо, Юра здорово помогает. Хоть и похудел за это время.

15 октября 1980 г.

Острым больным помогаю в самых крайних случаях, когда вижу, что им совсем невмогуту. Господи, еще и их жалеть приходится! Надо было в финансовый поступать.

25 октября 1980 г.

Через три дня декретный отпуск заканчивается. Потом возьму очередной. Это еще почти месяц. А что потом?

Яслей у нас нет. Потому что офицерские жены могут сколько угодно с детьми сидеть. А я-то при этом еще и врач. Вот угораздило-то!

8 ноября 1980 г.

Праздник отметили скромненько. Рислингом и апельсинами. Не до праздников.

20 ноября 1980 г.

Ну, какой-то компромисс с майором Краснопятовым нашли. Буду работать на полставки, четыре часа. А в это время с Сереженькой будет сидеть Лена Краснова, у нее тоже мальчик, две недели разницы.

Но как с кормлением? Если вдруг расплатится, взхлеб. Лена говорит, что у нее молока на двоих хватит. Ну уж нет! Договорились, что в таких ситуациях будет звонить, и я прибегу. Это совсем рядом – пять минут. Сейчас я могу уже как лосиха носиться!

10 декабря 1980 г.

Все идет на удивление хорошо. С Сереженькой.
А Юре собираются скоро квартиру дать. Вот заживем!

2 января 1981 г.

Новый год отмечали уже в новой квартире. Как-то это быстро все получилось.

15 января 1981 г.

Только что до меня дошло – три года уже пролетели. И теперь я свободна. То есть могу менять работу.

Но какая уж тут свобода у офицерской жены...

Да и нужна ли она мне теперь?

Эх, не обабиться бы!

30 января 1981 г.

Юра говорит, что в Афганистане у нас большие потери.

12 февраля 1981 г.

Начала Сереженьку прикармливать кашками и кефирчиком.

Все идет нормально. Подросток. Очень подвижный. Стоит на ножках, когда я его придерживаю. Приседает, чуть ли не подпрыгивает. Гуглит. Вовсю смеется. Скоро начнет резаться первый зубик.

28 февраля 1981 г.

Как же резко все меняется! Юру переводят в Белоруссию. С повышением – обещают капитанскую должность.

Ну вот она, жизнь офицерской жены...

Господи, что было бы, если бы я его не любила!

9 марта 1981 г.

Ну, вот и отпраздновала последний здесь праздник. Какое-то тревожное празднование получилось. Хотя Юра меня всю обцеловал. Был необыкновенно нежен. Понимает, что я сейчас переживаю.

Правда, накануне праздника наши тетушки то ли пытались меня успокоить, то ли действительно были искренни, но в один голос о том, как мне завидуют. И приводили себя в качестве отрицательного примера. Дескать, они просидели всю жизнь на одном месте, а потому этой жизни не видели. То есть ее разнообразия. А интерес к жизни бывает только от разнообразия. И это скрепляет семью. И так далее, и тому подобное...

15 марта 1981 г.

Это последняя запись. Дневник оставляю здесь. Брать с собой нельзя, потому что может Юре на глаза попасться. И что-то ему может быть очень неприятно.

Чемоданы сложены. Послезавтра уезжаем. В неизвестность.

На этом дневник заканчивался.

Героиня со своими драгоценными Сереженькой и Юрой, действительно, для нас, теперешних наблюдателей, оказались в полной неизвестности.

Можно было бы, конечно, попытаться на основании истории некогда великой сверхдержавы пофантазировать об их пребывании/проживании в некогда братской республике, входившей в состав Советского Союза.

Однако делать мы этого не станем. Потому что вторжение в неведомое будущее чревато непредсказуемыми последствиями для прошлого.

Да, конечно, Бредбери в фантастическом рассказе «И грянул гром» говорит о том, что даже минимальные изменения в прошлом способны привести к непредсказуемым последствиям в будущем.

«Раздавите ногой мышь – это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека – смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь – и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь – и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон...»

Однако это справедливо исключительно для материального мира. Нас же интересует проблема вербального, проблема текста, который живет своей сложной жизнью, зачастую не зависящей от воли автора.

Начнем фантазировать насчет того, как наша героиня устроилась в Белоруссии. В каком дивизионе начал служить Юрий. Как крохотный Сережа подрос и вскоре пошел в школу. Как они проводили свободное время. Какую музыку слушали...

И вдруг обнаружишь, что многие места в оставленном в прежней жизни дневнике не могут быть написаны этой женщиной, ставшей уже иной. А потом уже и совсем другой. И весь дневник придется переписывать заново. И он уже не будет жестко привязан к военному городку, расположенному в лесах Волоколамского района.

Дневник повиснет в воздухе где-нибудь между Россией и Белоруссией. Точнее – Беларусью, как сейчас называется это независимое государство.

Так что предоставим этому семейству полную свободу. Пусть они выстраивают свою жизнь, как считают нужным.

И будет им счастье!

В их будущем.

Которое для нас уже закончилось.

Олег БАБИНОВ

ФОРТОЧКА

Тринадцать жутких лет

А как из нас уходит жизнь?
Ты скажешь: с первой сигаретой
и с пионервожатой Светой –
древнеегипетской из жриц

(была в учебнике у нас
она в набедренной повязке,
и в крокодиле-львиной маске
она ходила в тихий час).

Верни меня туда, где я –
хвостом виляющий варанчик,
где прилипает чешуя,
но отлетает наш воланчик,
и мы ни девочка, ни мальчик:
от нас открашена скамья,

где так хотел я ей сказать:
«Пойдём купаться, Оля, голой»,
но, созданный семьёй и школой,
не смел ей этого сказать.

И мне тринадцать жутких лет.
Но Оли нет, и Светы нет.

Ирма

Ирма бежит босиком к океану,
наступает на панцирь краба
и переносится в Окаяново,
где две избы, три ухаба,

Олег Бабинов родился в 1967 г. в Екатеринбурге. Окончил философский факультет МГУ. Автор поэтических сборников «Никто» (2016) и «Мальчик сломал слона» (2019). Победитель литературных конкурсов «4-й Открытый чемпионат Балтии по русской поэзии» и «ПУШКИН В БРИТАНИИ». Публиковался в журналах «День и ночь», «Знамя», «Дружба народов», «Литература» и других изданиях. Живет в Москве.

где сто километров до стационара,
но Ирму спасает Сан Саныч:
эстрагон, самогон, соляра,
Неисповедим Сансарыч.

Евдоким говорит, что Ирма –
кличка овчарки, совсем не имя,
и что теперь она Евдокия,
и она не такая, и вокруг не такие.

Потом они были счастливы.
Потом он помре.
Поэзия, она же про частное
в нашей общей норе.

Каюты на Титанике

мне жалко мелких под колёсами –
котов собак лисиц гусей
и нас воспитанных халёсами
как цесалевич алексей

прекрасны слёзки в нашем кранике
и всяка тварь у нас больна
но за каюты на титанике
идет гибридная война

а мы босые ноги свесили
в парадном и при орденах
и ты – диана френсис спенсер
и я – франтишек фердинанд

Человек под кожей

когда на пустыре (футбол) забыв портфель
к пятидесяти став мудистром без портфеля
завидев своего в вотсап и по емейл
горишь его обнять и называть земля

соседа проводив на флот или в СА
жужжит твоя оса в ушах его похмелья
и выплеснуты вон душа и колбаса
и крутят вечный фильм про принца флоризеля

ты приходи браток (глоток, но не допив)
сменяй во мне на спирт контейнер ножек буша

приди на братский пир в наш кооператив
где Ксюша есть добро а яблоко есть груша

и ты бежишь домой и хочешь пирожок
и ты бежишь быстрее чем Саша и Серёжа
а то что был очаг то взял и стал ожог
и ты мой брат горишь как человек под кожей

Как в раю

Рвётся, рвётся парусное сердце –
то ли на зюйд-ост, то ли по швам.
Свистола подержанного бенца,
а за ней дверастола: драм-драм.

Знать, Серёга взял теперь семейство
в гости, в панда-парк или в кино.
Это значит: глупое злодейство
навсегда теперь побеждено.

акробат один на целом свете
походил и замер на краю
рвётся всё а в панда-парке дети
скачут по лианам как в раю

Как бы жаркое солнце в холодной траве

как бы жаркое солнце в холодной траве
как бы блажь в голове поутру
что никто кто из тьмы не исчезнет во тьме
что и я умерев не умру

мне сегодня приснился спор умных собак,
с неподвижной верхней губой,
и один прозывался Геннадий Себяк
а другой – Афанасий Собой

уходили во мглу растворяясь хвостом
в человеческой парковой мгле
и я думал неважно что будет потом
и нет смысла кому это мне

Подполковник

подполковник чья жизнь состоит без которого
но уже полагается отпуск в июле

как соскочит с подножки московского скорого
станет бодрым и сочным желтком в аджарули

станет пляжем пускай не песчаным а мелочно галечным
станет море к обеду вычерпывать
желтым половником
и мечтать что он станет пускай и не маршалом марочным
но хотя бы столовым и питким как мы бы сказали полковником

наша память строга и в ней мало красивого
но есть праздный сухум и квартира в чертаново
он пойдёт посмотреть при жене укрощенье стропивого
и вернутся к себе они ласково и челентаново

ваня мокрый засох и завяли другие растения
наш убогий уют обретаётся на подоконнике
я не знаю зачем (и куда) мы хотим возвращения
и зачем (и кого) я себя узнаю в подполковнике

Всё что я хотел рассказать о себе

вот и поехали наши седлом да на сечу
может тебя я и там предожиданно встречу
едем то жисью то смысью но больше верхами
по полыханью по голенькому колыханью

рыско в растяпе растёт рассудительный воин
в кислой мыслятине и воспитательной вони
едем по свёртому свету то шагом тот рысью
слочью сплошной по изволочью волчью и лисью

Кто его знает я думаю Кты меня знает
форточку ветер как детку ночами качает
лис мой сливается волк мой отсюда канаёт
внутренней музыки форточку молча волчает

ПУТЕШЕСТВИЕ

Любая жизнь – путешествие, жизнь текста тоже. Тем более, когда он так и называется – «Путешествие». Этот путешествовал долго – сначала в пространстве, пересекая почти непроходимые тогда границы и потеряв при этом свой домашний адрес (но не адресата): Наталья Горбаневская, которая заведовала в 1985 году поэзией в журнале «Континент», выходившем в Париже, написала на первой его странице, под фамилией автора: «Это очень хорошо: а стихи дальше (даже жаль выбирать – всё одинаково хорошо), и этот текст – смесь прозы со стихами. Но у меня никаких ее данных, ни адреса». Опубликовать без подтверждения авторства не решились, текст отправили в архив, и он начал путешествие во времени: годы шли, сначала исчезла страна, откуда он родом, потом закрылся журнал, а архив отправили в Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, Paris. Там он и был обнаружен более чем через 30 лет после своего рождения, в папке (по-французски Carton) F Δ 1127 (6).

Теперь он вернулся, чтобы повторить за главным героем: «Я вас всех очень, очень люблю! И вы меня любите!» Закончилось ли его путешествие? Как знать.

Владимир Орлов

I

Внимание! Герой отправляется в путешествие.

По Дурасовскому, по тишайшему,
К его дремлющим тополям,
Мое искреннее, мое нижайшее –
Вам, Вам и Вам,

Маргарита, Мария и Лидия,
Маргаритка, верба и лилия.

Здесь на каждом углу цветочницы
Свой сиреневый славят хлам.
Я поставлю одни многоточия
Вам, Вам и Вам,

Маргарита, Мария и Лидия,
Маргаритка, верба и лилия.

«Милый, родной Алешенька! Как ты едешь, что видишь? Хотя я всё знаю сама: за окном лес и лес, колеса стучат, тебе не спится, а сосед твой давно уже у Храповицкого, и тень от полки забрала у него почти все лицо. Угадала?

Наталья Кудрякова – поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родилась и живет в Москве, член Союза писателей Москвы.

Москва моя, коробочка,
Резная колесница...

В твоей комнате теперь будет жить Лидуша. Она очень ломается и воображает. Вчера уронила твою чашку, но она не разбилась. Мама сначала очень испугалась, даже побледнела, но потом сказала, что это хорошо, что все будет хорошо, и перекрестилась.

А у нас новый учитель рисования.

Москва моя, коробочка,
Резная колесница,
Что пройдено, что прожито,
Уже не повторится.

Все тебе передают поклоны.

И голуби закармлины,
Как гости от стола.
Какая глупость гордая
Качнет колокола?

Я тоже куда-нибудь уеду!

Шатается, валяется,
Не тонет, не горит.
Все в небо собирается,
Все на земле стоит».

Господа, предъявите ваши документы! Государственная граница.

Что мне легче – вечные дожди,
Суeta и будни ели-пили,
Лестницы крутые виражи
или
В напряженном солнечном веселье
Бестолочь животных и растений?

Ну, слава Богу, Германию проехали. Не верю сытым собакам, добродетельным кошкам, чистеньким домикам. Меня обманули! Эти шиллеровские замки сделаны из картона, а дубравы нарисованы старательным рисовальщиком. Не верю в благополучие. Где то, что должно быть? –

Размытые дороги, капюшон, холодный ветер,
Берлин, залитый серыми дождями,
Качает вслед чугунной головой.

«Мама, папа, сестрички!

Такое ощущение свободы, что я сам себе не верю. Земля под колесами распрямляется, как белье под утюгом. Люди здесь спокойные, внимательные, друг на друга непохожие. Бесконечный,

прекрасный парк. И парк этот мой! Можно сойти с ума от счастья! Дома мы все обречены на историю – опять на революцию, войну, службу. А здесь все зависит только от меня.

Ночью сестрам приснились странные сны.
Старшей снилась белая степь.
Слышно, едут гонцы – бубенцы, бубенцы,
Но ни следа, ни знака нет.

Средней снилась стена,
Ей хотелось бежать,
Но стена возникала опять и опять.
Эта сте-на.

Ну, а младшей сестре,
Ну, а младшей сестре,
Ну, а младшей досталась война.

Жизнь прекрасна, до чего же жизнь прекрасна, Господи! Тихие вечера, соборы с белыми, распушенными крыльями, веселые старички в плетеных креслах, мальчишка, свистящий мне вслед. Я вас всех очень, очень люблю! И вы меня любите! Не забывайте! Целую. Алеша».

II

Восемнадцатый век любил аллегии. Плафон в низком круглом зале – улетающая пышная красotka. Победы с венками, младенцы с цветами, нимфы с тритонами.

Аллегория славы, власти, жизни.

А жизнь? Это аллегория чего?

Шоссе.

Глупая жирная утка металась под колесами летящих машин, судорожно разевая клюв и волоча серые крылья.

Красные лапы, черные колеса, стеклянное небо.

Куда?

Резкие гудки. Почему она еще жива? Но ведь найдется, наконец, такая, что размажет бедную птицу по этому страшному асфальту.

Куда?

Вдоль шоссе, разделяя два потока машин, тянулась грустная лента шиповника – обман, нейтральная полоса. Здесь можно только лежать, закрыв глаза и стуча сердцем в чахлую, вонючую землю. Сжавшись, спрятав голову под крыло, лежала утка. Вжавшись в землю, спрятав цветы, стояли кусты.

III

Под мышкой у Африки, в черной деревне
Жил русский старик.
У него был дом, выводок жен
И пять самодельных ульев.

Каждый месяц в веселом автобусе
Под названием Roi de montagne
В куче негров, узлов и баранов
Он отправлялся в столицу.

Столица была такая – президентский дворец, католический собор, мечеть и три высотных здания в десять этажей, четыре базара и десять кинозалов. В любой части города был слышен прибой.

Он ехал взять воздуха и впечатлений,
Купить газету, сходить в кино,
Тростью пройти по решетке забора,
Ну, в общем, слегка отдохнуть.

Алексей?

Уже перед самым отъездом
Заходил в магазин советский
И покупал себе гречку.
Гречку ему продавали.

А вот говорить с ним боялись...

Интервью, которого не было.

- Скажите пожалуйста, Алексей Петрович, чем вы здесь занимаетесь?
- Вы знаете, развожу клубнику. Это, между прочим, эксперимент. Пять лет назад я привез из Алжира несколько усов. А теперь у меня двадцать грядок.
- Вы садовод?
- Не знаю.
- Подождите, а как вы здесь вообще оказались?
- Как вам сказать, молодой человек, не сразу. После революции остался без средств за границей. В гражданскую потерял всех родных. Стал коммивояжером, много путешествовал, потом осел здесь. Здесь дешевле.
- А война?
- Которая? Понимаете, молодой человек, все это очень сложно. У меня всегда было такое ощущение, что жить по-настоящему я еще не начал. Вот уже семьдесят, а все не начал. Очень не хочется умирать. Вы знаете, а здесь хорошо – и народ неиспорченный, и жизнь стабильная, а все чего-то не хватает. Ностальгия, наверное.
- Вы никогда не думали вернуться, найти родственников?
- Ах, какой обычный вопрос. А вы знаете, я счастлив, я жил как хотел. Правда, непонятно зачем, но нас, русских, вечно мучают «великие» вопросы.
- Но ведь вы живете как дерево – без цели, без смысла, так же нельзя!
- Ну вот, ну вот. Почему же нельзя? И дерево нужно.
- Но вы же ничего не довели до конца, вы остановились на полдороге.
- Ну почему же? Что, останавливаться можно только у себя на родине? Это везде происходит, просто моя жизнь сложилась так. Честь имею кланяться.

Тормоза дико взвизгнули, и на землю стали сыпаться красные листья шиповника, похожие на раздавленные кисточки винограда.

Человек стоит на берегу,
Стар ли, молод – сам пока не знает.
Побежал, и мысли на бегу,
Как одежду лишнюю бросает.

А земля под ногой:
Там – там,
Шепелявит прибой:
К нам – к нам.
Пальм прямые линии
Спицы,
А под ними синие
Птицы.
В вал бизоном прущий
Тело,
Вечно жив живущий
Смело.
Африка, Африка, радостным пионом,
Веером павлиньим,
Плаваешь в зеленом,
А зеленый – в синем.
Где-то есть Россия, снегов молоко.
Где-то есть Россия. Очень далеко.

Михаил БАРУ

САМОБЕГЛАЯ КОЛЯСКА ЛЕОНТИЯ ШАМШУРЕНКОВА

Яранск

От Москвы до Яранска всего восемьсот километров с небольшим – сел на поезд до Йошкар-Олы, почитал в интернете свежие новости, выпил чаю с лимоном, который принесла проводница, посмотрел по висящему под потолком телевизору кино, поспал, снова выпил, но уже не чаю, а кофе, и приехал в Йошкар-Олу. Оттуда до Яранска рукой подать – восемьдесят шесть километров на маршрутном такси. Полтора часа езды и ты в Яранске.

В конце шестнадцатого века путь от Москвы до Яранска... Впрочем, тогда не было не только Яранска, но даже и километров не придумали, чтобы сосчитать, сколько их от Москвы до... Йошкар-Олы тоже не было. Хотя... она была, но там еще только рубили стены, копали рвы, вкапывали на дно рвов заостренные дубовые колья и спали в обнимку с протазанами, бердышами и пищальями. Так, чтобы остановиться, выпить чаю, съесть резиновый пончик в привокзальном буфете, подзарядить телефон и пересечь на маршрутку до Яранска... Нет, этого и в помине не было. Были одни версты, тогда еще и не полосатые. Были луга и леса, в которых жили марийцы¹, которые тогда назывались черемисами, которые ни о каком Яранске знать не знали и знать не желали, которые вместе с тамошними татарами пошаливали так, что Москва, устав от их ежегодных шалостей, решила в тех местах построить сторожевые крепости.

В одной из летописей, написанной в начале двадцатых или тридцатых годов семнадцатого века, сказано, что царь Федор Иоаннович «посла воевод своих и повеле ставити во всей Черемиской земле городы, и поставиша на Нагорной и на Луговой стороне город Какшугу и город Цывилеск и город Уржумъ и инии многие городы, и насади их русскими людьми и тем он государь укрепил все царство Казанское»². Вот под этим «инии», как считают многие краеведы, Яранск и скрывается. Какшугу (она же Царевококшайск, она же нынешняя Йошкар-Ола) построили в шестьсот восемьдесят четвертом году, Цивильск через шесть лет, а Уржум начали строить и построили еще через два года. Выходит, что Яранск построили в середине восьмидесятых или в начале девяностых годов шестнадцатого столетия. Правду говоря, для жителя Москвы, Брянска, не говоря о Санкт-Петербурге, этих сведений вполне достаточно, но для настоящего краеведа, который готов другого такого же настоящего краеведа съесть без соли и без лука только за то, что бы прибавить лишние десять лет или даже пять лет к дате основания своего города... Основатель вятского исторического краеведения Александр Иванович Вештомов еще в начале девятнадцатого века писал, что Яранск основан в восемьдесят четвертом году, а академик Тихомиров в сороковом году следующего века нашел фрагмент летописи, из которой следовало, что Яранск был построен на семь лет позже, а Кировские краеведы все равно... Хотя никаких документов, свидетельствующих о том, что Яранск был построен на семь лет раньше, у них... Оставим Кировских краеведов наедине с давно покойным академиком Тихомировым и найденным им отрывком летописи. Так или иначе, а Яранск был построен на правом берегу реки Ярань, на высоком холме. С двух сторон он был окружен водой, с третьей оврагом, а с четвертой сосновым бором. Когда мы говорим «построен», то это означает не год начала постройки, не разработку проектной документации, а всю постройку – ее начало, середину и конец. В те времена такие маленькие

крепости были типовыми и строили их быстро, поскольку надо было, пока тепло, выбрать место, поставить двойной частокол стен, засыпать между стенами землю и камни, соединить стены угловыми башнями, поставить внутри острога церковь, съезжую избу, в которой помещалась воеводская канцелярия, срубить дом самому воеводе, устроить кладовые и погреба для хранения провианта, соли, отдельные склады для пороха, пушечных ядер... Короче говоря, надо было поворачиваться, и очень быстро, чтобы не долбить заступами промерзшую землю, чтобы было где, в случае нужды, укрыться жителям стрелецкой слободы и посада, поскольку такая нужда в то время могла прийти в любой день. Как раз в промежутке между восьмьюдесят четвертым и девяносто первым годами волновались и марийцы, и особенно татары, еще помнившие времена, когда эти земли были под властью Казани.

Что же до названия города, то тут все, как кажется, просто – назван он по имени реки Ярань, на высоком берегу которой и стоит. Топонимисты пишут, что яранами коми называли ненцев, а самые дотошные из них утверждают, что в первом тысячелетии нашей эры в бассейне реки Ярань обитали угры из рода Яр, которые и поделились с рекой своим именем. Впрочем, есть еще и третьи, считающие, что гидроним Ярань произошел от марийского *ер* или *йар*, что означает озеро с прибавлением к этому озеру суффикса притяжательных прилагательных *н(ь)*. Пусть себе считают.

В существовании Яранска в девяносто четвертом году сомневаться уже не приходится – в разрядных книгах того времени есть запись о том, что с середины марта воеводой «в новом Еранском городе» был «Федор Васильев сын Головин да голова Григорей Исленьев». Эти двое исполняли те же должности и в следующем году, и в следующем за следующим, и так до самого конца шестнадцатого века. Надо сказать, что должность воеводы, как и должность стрелецкого головы в новорожденном Яранске, sinecурой не была. В Яранск никто на воеводство не просился – туда посылали, а вернее, ссылали. Головина вчерашний раб, татарин и зять Малюты сослал за близость к Шуйским. Федору Васильевичу еще и повезло. Это была в некотором роде почетная ссылка. Могла быть просто ссылка в тот же Яранск или еще дальше – на Урал или даже за него. О том, за что попал в Яранск Григорий Исленьев, история умалчивает. Воеводы сменялись в таких городках часто – через два или три года, но для Головина эти правила писаны не были, и он прослужил в Яранске около семи лет. Собственно говоря, о Головине больше и сказать нечего. Никаких подвигов он не совершил, Яранск дворцами и соборами не украсил, в боевых походах не прославился по причине их отсутствия, и на рубеже веков его сменил другой воевода – москвич князь Александр Андреевич Репнин-Оболенский. Этого сослали в Яранск за близость, но уже не к Шуйским, а к Романовым. Стрелецким головой при этом воеводе назначили тоже Исленьева, но не Григория, а Андрея. Репнин-Оболенский продержался на воеводстве всего год. В конце шестисотого года сотник Иван Некрасов в Яранск из Москвы привез опального Василия Никитича Романова, которому предстояло здесь жить в ссылке. На всякий случай, чтобы Романов дорогой не убежал, стольник Некрасов приковал его к телеге. Приковал, между прочим, вопреки царскому наказу. Ссылному велено было проживать вместе со своим надзирателем Некрасовым в стороне от церкви, жилых домов и дороги. Не будет готового дома – построить «хором две избы, да сени, да клеть, да погреб, и около двора городба. И быти Ивану с Васильем в Яранском, до государева царева и великого князя Бориса Федоровича всея Руси указу, и с двора Василья и детины его спускать никуды не велеть, и того беречи накрепко, чтоб к Василью или человеку его никто не подходил и не разговаривал с ним ни о чем, и письма какого не поднес, и не сходил с ним никто». У Василия Никитича был слуга, и им на двоих полагалось «по кочаху да по два хлеба денежных, да в мясные дни по две части говядины да по части баранины, а в рыбные дни по два блюда рыбы, какова где случится, да квас житной; а на корм послано с ним сто рублей денег»³. Кроме того, Некрасов имел государеву грамоту, в которой яранскому стрелецкому голове Андрею Исленьеву было велено воеводу Репнина-Оболенского от должности отстранить и выслать в Уфу. Еще по дороге в Яранск, в Царевококшайске, некий

приказный человек Богдан Путилов доверительно сообщил Некрасову, что стрелецкого головы в Яранске нет. По официальной версии Исленьев отбыл на государеву службу с местными мари́йцами, а по слухам... уехал к себе в деревню.

Прибыв в Яранск, Некрасов оставил Василия Романова под стражей в доме местного пушкаря и стал разыскивать Исленьева. Хотя Яранск и не Москва – искать ему пришлось долго. В конце концов допрошенные священнослужители, дети боярские, подьячий и служилые люди признались, что стрелецкого голову в Яранске никто не видал.

За Исленьевым отправили в его деревню гонца, а Репнина-Оболенского вызвали в судную избу, и там Некрасов у бывшего воеводы ключи от города и острога отобрал, а самого его распорядился выслать из города под надзор в черемисскую деревню в семи верстах от города. Князя почти уже и выслали, как вдруг подьячий Михаил Камасев сообщил сотнику, что бывший воевода успел взять из казны на свои нужды семьдесят один рубль двенадцать алтын и две с половиной деньги. Все эту наличность, как выяснилось, бывший Репнин-Оболенский успел истратить. Небольшую часть долга князь отдал деньгами, а в уплату остального отдал на продажу нажитые непосильным трудом шесть десятков овец и баранов, три коровы и пивной железный котел. Оказалось, что это не все. Городовой приказчик рассказал стольнику Некрасову, что бывший воевода присвоением казенных денег не ограничился – он еще из государевых амбаров взял для собственных нужд двадцать четвертей ржи и тридцать четвертей овса. Переводя на наши деньги, почти две тонны ржи и около трех тонн овса. Видимо семья князя очень любила овсянку. Не говоря о княжеских лошадях. Тем временем яранский стрелецкий голова Исленьев, которого на государственной службе так никто и не видал, получил от козьмодемьянского воеводы Вяземского еще одну царскую грамоту, которая предписывала ему не мешкая выслать князя Репнина-Оболенского в Уфу. Бумагу за него получил Некрасов и незадачливого воеводу вместе с семьей под конвоем немедленно отправил в Уфу, а сам занялся устройством жилища для Василия Романова. Места в Яранске было катастрофически мало, и потому пришлось выселить из города двух сторожей, а на их участках начать строительство избы для ссыльного. Для постройки Некрасов велел употребить бревна, оставшиеся от строительства крепости. Обо всех этих бревенчатых подробностях историкам известно потому, что Некрасов чуть ли не каждый день писал подробные отписки в Москву. Вернее, писал не сам, поскольку был неграмотным, а с помощью писца, и очень переживал, что вследствие своей неграмотности не может отписать царю про тайные дела, касающиеся только царских ушей. Не надеялся стольник, что яранский писец станет держать язык за зубами.

В начале августа шестисот первого года Некрасов отправил свой отчет о проделанной работе с яранским стрельцом в Москву, а в конце этого же месяца из Москвы пришел стольнику приказ везти ссыльного Василия Романова в Сибирь, в Пелым, за полторы тысячи верст от Яранска. Взял Некрасов Василия Никитича, взял цепь, которой приковывал его к телеге, взял запас продуктов, теплых вещей и поехал. Пробыли они в Яранске всего шесть недель. Этого хватило, чтобы и через четыреста с лишним лет показывать туристам небольшое возвышение в центре города, называемое в городском обиходе Романовской горкой. На этой горке, по преданию, стоял дом, в котором содержался ссыльный. Теперь там стоит серая бетонная коробка гаражей местной пожарной части. Внизу, под Романовской горкой, протекает Ярань, а в Ярани есть яма. В ней, по этому же преданию, то ли купался, то ли рыбачил дядя будущего царя. В местном краеведческом музее могли бы показывать и чучело огромной щуки, выловленной лично Василием Никитичем, но... не показывают.

Собственно, все эти разбирательства и были главными событиями в жизни Яранска самого начала семнадцатого века. Не считать же событиями выращивание стрельцами и их женами на своих огородах капусты, репы и гороха. Никакие ногайцы или крымские татары в эти медвежьи углы не добегали. Засечной черты здесь не было, спать, не снимая кольчуг и шпор, не приходилось. Яранск стал городом, куда ссылали опальных князей на воеводство. По тем временам от

Москвы до Яранска было немногим менее, чем до Австралии, которую как раз тогда открыли. После того как князя Репнина-Оболенского вместе с семьей выслали в Уфу, его место занял еще один опальный князь – Владимир Семенович Шестунов, а заменил его на этом посту Владимир Дмитриевич Шестунов – тоже опальный и тоже попавший в опалу из-за слишком тесной дружбы с Романовыми. Удивительно то, что стрелецким головой при этих воеводах как был, так и остался непотопляемый Андрей Исленьев. Видимо, он все же стал ходить на работу. И все же такое воеводство было почетной ссылкой. Князю Ивану Борисовичу Черкасскому, мать которого доводилась родной сестрой Василию Романову, повезло куда меньше – его сослали еще дальше на восток, в городок с унылым названием Малмыж, и совсем не воеводой. В Яранске князь лишь посидел на дорожку в тюрьме. В шестьсот девятнадцатом году уже Романовы по навету Салтыковых сослали сюда невесту царя Михаила Федоровича Марию Хлопову. Она тоже в Яранске долго не задержалась, и ее увезли еще дальше, в Тобольск.

За десять лет до приезда несчастной царской невесты, в самый разгар Смуты, Яранск захватил сводный отряд русских, марийских, чувашских и мордовских крестьян под началом русских служилых людей Ивана Волынского и Елизара Бартенева, а также двух мордовских музр Бибая и Теребердея Мустофиных. Собственно говоря, никакой осады или штурма не было – яраничи отворили ворота и присягнули на верность царевичу Дмитрию. Яранского воеводу Петра Глухова взяли в плен, а весь его отряд перебили. Глухову еще повезло. Организатора обороны в соседнем Котельниче стрелецкого сотника Захара Попова инсургенты и вовсе посадили на кол. Для управления Яранском выбрали Асанчука Горихвостова и подьячего Павла Мокеева. После избрания Горихвостов немедля... вступил в тайную переписку с хлыновским (вятским) воеводой князем Ухтомским, надеясь с его помощью вернуть Яранск под власть Василия Шуйского. Одно из писем нового городского начальника перехватили сторонники «тушинского вора». Кончилось все тем, что в конце февраля шестьсот девятого года, то есть через два месяца после выборов, Горихвостова арестовали и повесили.

Хлыновский воевода князь Ухтомский писал «...Государевы изменники воры, волжские казаки, которые были под Свияжском, собрався с Чебоксарскими, и Козьмодемьянскими, и Санчурскими, и с Царегородскими, и Яранскими стрельцами, и со всякими русскими воры, и с луговой черемисой, со многими людьми, пришед из Яранска к Вятке...»⁴. Взять Хлынов сторонники Самозванца не смогли. Отряды воеводы Ухтомского и московского воеводы Мансурова отогнали их к Яранску и в январе десятого года разбили наголову.

В те времена город представлял собой... Скорее, это был эмбрион города, в котором за заперевшимися на ночь воротами на крошечном пятачке теснились дворы воеводы, стрелецкого головы, городского приказчика, подьячего, стоял соборный храм Успения Пресвятой Богородицы, дворы попа и дьякона, судная изба, государевы житницы, дворы двух сторожей, охранявших эти житницы, дворы пушкарей, целовальников, детей боярских... В двадцать пятом году в Яранске служили двенадцать детей боярских, семь пушкарей, два воротника, два толмача, девять служилых литовцев (занесла их нелегкая), восемь черкас, три новокрещена, четыре тархана⁵, городской приказчик и две сотни стрельцов. И это не считая лошадей, женщин, коров, детей, кур, овец, собак, кошек и ручного скворца Терешки, жившего в доме дьякона. Не то чтобы яблоку некуда было упасть, но даже и плюнуть...

В шестьсот тридцатом году в Яранске был воеводой Дмитрий Андреевич Францбеков. Опалы никакой на нем не было. При Дмитрие Андреевиче в составе местного гарнизона был даже конный отряд служилых дворян и отряд марийцев. В Яранске Францбеков себя никак не проявил, зато потом был и послом в Швеции, и воеводой в Вятке, и в Якутске, где организовывал, вооружал и финансировал экспедиции Ерофея Хабарова на Амур, а только потом уже попал в опалу. Уж больно много за ним числилось злоупотреблений – и бурятов с якутами грабил и убивал, и взятки брал, отчетов в Москву не посылал, русских купцов грабил, служивым людям жалованья не выдавал. Лишили Дмитрия Андреевича всех должностей и имущества, но разре-

шили умереть в Москве. Впрочем, это все уже было потом, после Яранска, в котором его карьера только начиналась. Кстати говоря, Францбеков был человеком высокообразованным и знал греческий язык. Гомера очень любил и многое из него знал наизусть. Бывало, еще во время службы в Яранске, не спится ему, так он на верхнюю площадку угловой башни заберется и давай во весь голос декламировать: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочёл до середины...». При этих словах он широко обводил рукой окрестные поля, леса и перстом указывал на утлые берестяные челны марийцев, вытасченные на берег Ярани под крепостной стеной. Ему караульный стрелец тихохонько на ухо:

– Побойтесь бога, Дмитрий Андреевич, да какой же это, извиняюсь, Гомер. Да вам даже наш конюх скажет, что...

Куда там... Никого в этот момент не слышал и не слушал. Прочтет все до конца, до самого тяжкого грохота, который подходит к изголовью, плюнет в сердцах и пойдет пить виноградное вино, запас которого привез с собой из Москвы.

В сорок шестом году по указу Алексея Михайловича была произведена перепись податного городского и сельского населения. По писцовым книгам «...всего в Яранском городе и на посаде посадских людей 23 двора, а людей в них 23 человека, да у них же братьев и сестер 48 человек. Да бобыльских дворов: двор Захарко Балахонец, двор Однокишко Долгополов, Петрушка Сухо-руков, Илюшка Костромитин, Захарко Дыркин, Сенка Борашев, Потешка Лагунов, Сенка Балахонец»⁶. От одного имени Однокишко хочется уйти в запой. Как представишь себе его двор или двор Захарки Дыркина... Покосившиеся курные избы, поваленные плетни, ледащие лошаденки, вечно голодные собаки... Разве только у Потешки Лагунова... Хотя какое там веселье. Валялся, поди, пьяный в хлеву и спал беспробудным сном.

Не надо думать, однако, что Яранск – это только опальные воеводы, стрельцы, пушкари и обнищавшие бобыли. Среди трехсот пятнадцати подписавших Соборное Уложение шестьсот сорок девятого года митрополитов, архиепископов, архимандритов, князей, бояр и окольничих был яранец Семен Бибииков.

Были в семнадцатом веке и другие яранцы, сумевшие остаться в истории. В семидесятом году к Яранску подошел отряд разинцев под командой атамана Долгополова. Тут уж яранский воевода Матвей Корин не оплошал – и ров приказал выкопать, и заостренными дубовыми кольями дно его утыкать, и засеки на лесных дорогах устроил, и караулы расставил, и посадских людей с крестьянами вооружил, а Долгополов взял и... не дошел до Яранска. На следующий год в Яранске поймали двух разинцев, и те под пыткой рассказали о планах атамана Долгополова поднять восстание в Вятском крае. Вот, собственно, и все участие Яранска в разинских делах, если не считать примкнувшего к разинцам некоего Митьки Яранца, который «в роспросе и с пытки сказал. – Как де вору Стеньке Разину и казаком астраханцы город здали, и он, Митька, в то время и в воровство Стеньки Разина и Федьки Шолудяка жил в Астрахани... А как Федька Шолудяк с казаками пошел из Астрахани под Синбирск и его де, Митьку, воры казаки и астраханцы выбрали в старшины, и был в старшинах до приходу боярина и воеводы Ивана Богдановича Милославского...». Дослужился, стало быть, Яранец до Астраханского старшины. Повесили Митьку вместе со всеми его подельниками⁷.

В начале восемнадцатого века, в семьсот девятом году, в Яранск приехали шведы. Не по своей воле приехали. Были они пленными, которых взяли после Полтавской битвы многие тысячи. Приехали, конечно, не тысячи, а всего одиннадцать человек. Пустых земель вокруг Яранска было более чем достаточно, и пленным даже разрешили выбрать то место, которое им приглянется. Они и захотели поселиться в версте от городского собора. Власти дали им лес для строительства домов. И стало это поселение называться Ланцы. Одни яранские краеведы утверждают, что в переводе с шведского это означает «к солнцу», а другие говорят, что название произошло от слова «ландскнехт», которое сначала аборигены превратили в разговорное «ланцкнехт», а уж потом сократили до «ланцов». Ланцы и сейчас существуют, только это уже не отдельное по-

селение, а квартал в черте Яранска. Во всей этой довольно обычной истории (пленных шведов в России было много, и куда их только не ссылали) самое интересное – причина, по которой их сослали в Яранск. Скорее всего, это легенда, но... в местном краеведческом музее мне рассказали о том, что в Полтавской битве принимал участие отряд вятских ополченцев. Так храбро они сражались и такие проявили они чудеса героизма, что замечены были самим царем. Петр Алексеевич, мужчина, мягко говоря, росту немаленького, посмотрел на низкорослых и субтильных вятчей и приказал направить в Вятский край некоторое количество пленных шведов не ниже двухметрового роста. Для улучшения, так сказать, местной породы. Нет, это все же легенда, но судя по тому, что мы знаем о Петре Великом... Может, конечно, шведы были не двухметрового роста, может, их было не одиннадцать, а сто или больше, может... Короче говоря, я бы не удивился, если бы где-нибудь в бумагах покойного императора историки обнаружили бы такой указ или отчет о рожденных детях от смешанных шведско-русских браках со сводной таблицей, в которой был бы указан рост каждого ребенка в аршинах, вершках и пядях.

Первая половина восемнадцатого века в Яранске была бедна событиями. Недородов и стихийных бедствий, слава богу, не было, корабли здесь Петр Алексеевич строить не приказывал, потому как ни до какого государства на них по Ярани не доплывешь, войны в те края не доказывались, а вот беглые крестьяне в двадцатых и тридцатых годах добирались и селились в безлюдных местах. Селиться-то они селились, но податей не платили и не желали платить. Крестьяне не знали и не желали знать, что эти безлюдные места на самом деле принадлежали одному нижегородскому монастырю. Яранские власти во главе с воеводой Ахматовым этого допустить не могли. Потом, когда Ахматов, наконец, уехал вместе со всей своей командой из деревни, в которой селились беглые, они (беглые) на него подали вышестоящим властям челобитную, в которой писали, что воевода, угрожая им побоями, «вымучил» с них восемьдесят рублей денег, пуд меду и пару шкурок куниц. Вряд ли воевода собирался этот мед и шкурки, не говоря о деньгах, сдавать в казну в счет уплаты налогов. Подьячему Аристархову, приезжавшему вместе с Ахматовым, досталась всего пятерка, ни капли меда и ни одной шкурки, а сопровождавшим их солдатам удалось обобрать крестьян на двенадцать рублей. На что надеялись беглые крестьяне, не платившие податей, когда жаловались на воеводу-взяточника... кому жаловались...

У воеводы Ахматова в канцелярии служил некто Иван Корякин, который потом из канцеляристов записался в купечество, но государственной службы не бросил. Тогда смотрели на это просто и винокурный завод, которым владел Корякин, на жену или тещу переписывать нужды не было. Мы бы этого Корякина – обычного чиновника, взяточника и хапугу и вспоминать не стали бы, кабы он при поддержке городского воеводы не захватил земельный надел крестьянина Федора Шамшуренкова, которого мы тоже вряд ли вспомнили бы, если бы у него не было брата Леонтия. Без Леонтия Лукьяновича Шамшуренкова история Яранска, и не только Яранска, будет неполной.

К моменту описываемых событий Леонтию было сорок три года. Он родился не в самом Яранске, а в уезде, в деревне Большепольской. Что он делал до тридцатых годов, доподлинно неизвестно – может, землю пахал, а может, был кузнецом или плотником. Документов об этом периоде его жизни не найдено, зато точно известно, что летом семьсот тридцать первого года Шамшуренков был в Москве и наблюдал за подготовкой к отливке Царь-колокола. Сам колокол был отлит лишь через пять лет. Как в село Большепольское Яранского уезда Казанской губернии (тогда Яранск принадлежал Казанской губернии) дошло известие о том, что колокол отлит, теперь уже не установить, но в тридцать шестом году Шамшуренков вновь в Москве и подает в Московскую сенатскую контору «доношение» о том, что им изобретено устройство, с помощью которого можно будет поднять Царь-колокол на колокольню.

И вроде все просто – подал «доношение» о том, что им изобретено устройство, а как хотя бы на минуту представишь себе начало восемнадцатого века в селе Большепольском Яранского уезда Казанской губернии... Вряд ли Шамшуренков работал в местном проектно институте, а

по вечерам чертил свое подъемное устройство на припрятанном от начальства листе ватмана припрятанными карандашами. Где он вообще учился механике, математике и основам начертательной геометрии, которую тогда еще и не придумали? Не у местного же дьячка. Или он ничего не чертил, а держал все детали устройства и все их проекции в голове... Какого же размера должна быть такая голова? Что говорила ему жена, когда он по ночам, при свете лучины, мастерил из щепок, вошенных ниток и ржавых гвоздик... Отмалчивался ли он или... потом просил у нее прощения за то, что под горячую руку... Нет, все это представить решительно невозможно.

Итак, Шамшуренков, этот Кулибин за сорок лет до самого Кулибина, пишет сенатской конторе: «В прошлом 1731 году, как зачался строитца великий колокол, и я, нижайший, был в то время в Москве и того строения многое время присматривался и вразумлялся о том, как его вынимать из земли и поднять кверху, и ныне я о том вразумился верно. И в нынешнем 736-гду уведомился я о том, что оной колокол вылился и я, нижайший, того ради пришел в Москву из дальнего расстояния для подъему оного колокола... и я человек не беглой, не от беды какая, и в подушный оклад написан и подушные деньги плачу без доимки...»⁸

Сенатская контора, рассмотрев «доношение», уже в конце августа того же года распорядилась «оному Шамшуренкову к подъему большого Успенского колокола сделать модель немедленно, под смотрением сенатского вахмистра»⁹. На изготовление моделей изобретателю было выдано ровно три рубля. На эти три рубля за два следующих месяца Шамшуренков изготовил несколько моделей изобретенных им подъемных устройств, которые по сенатскому указу были переданы в Московскую артиллерийскую контору на экспертизу. По результатам экспертизы было решено строить подъемное устройство Шамшуренкова непосредственно над литейной ямой. Вот только не надо думать, что проектов поднятия колокола было мало и сенатская контора ухватилась за первый попавшийся. Проектов было столько, что никаких колоколов не хватило бы.

Увы, опустошительный кремлевский пожар, случившийся в мае семьсот тридцать седьмого года, уничтожил все деревянные части подъемного устройств, а они почти все и были деревянными. Сам колокол тоже не имело никакого смысла поднимать – он треснул, и от него, как всем известно, откололся кусок. Шамшуренков вернулся к себе в Большепольское и стал думать над конструкцией «самобеглой» коляски. Мы бы назвали ее велосипедом. Такие коляски замечательно изобретал Кулибин, но... лет через тридцать после Шамшуренкова. Яранский изобретатель сумел, обходясь теми материалами и инструментами, которые были под рукой, изготовить действующую деревянную модель, испытать ее и... тут умер его брат Федор и оставил ему в наследство тяжбу с чиновником Яранской воеводской канцелярии Иваном Корякиным. Стал Шамшуренков судится с Корякиным за возврат несправедливо отнятой земли у семьи своего брата. С Корякиным, который в яранской воеводской канцелярии служил жалким копиистом, как Акакий Акакиевич Башмачкин. С Корякиным, у которого при обыске нашли порванную записку, где его рукой было написано «губернатору – пятьдесят, товарищу губернатора – тридцать или двадцать рублей, прокурору – сервиз, секретарю – пятьдесят, подьячему – десять или двадцать рублей»¹⁰. Впрочем, до обыска в доме Корякина еще целых шесть лет, а пока тяжба закончилась тем, что весной семьсот тридцать девятого года Леонтий Шамшуренков был препровожден в уездную канцелярию, закован в кандалы и бит кнутом за то, что он якобы оскорбил после ареста городского воеводу. Уже хорошо, что он якобы его не ударил, а не то... Надо понимать, что Шамшуренков был дворцовый крестьянин и подлежал суду местной дворцовой канторы, и бить кнутом его, то есть шельмовать, могли только по специальному указу Сената. Ну, где Сенат, а где яранская воеводская канцелярия. Сын Шамшуренкова, Василий, написал жалобу в Казанскую дворцовую канцелярию, в которой подробно... Мог бы и не стараться – Казанская дворцовая канцелярия и ухом не моргнула в ответ на письмо Василия Шамшуренкова. В июле сорокового года, через год с небольшим сидения на цепи, Леонтий Шамшуренков подает в обход всех канцелярий прошение на высочайшее имя. Само собой, что в тюрьме ему ни бумаг, ни чернил не давали, а писал и подавал прошение по его просьбе доверенный человек Алексей Тимофеев.

Что-то там, на самом верху, скрипнуло, какие-то шестеренки с усилием провернулись, прошение Шамшуренкова попало сначала к сенатскому генерал-прокурору, а потом в Главную Московскую дворцовую канцелярию. Оттуда пришел приказ доставить Леонтия Лукьяновича под караулом в Москву для разбора дела. Прошло полгода, прежде чем граф Салтыков, заведующий Главной Московской дворцовой канцелярией, приказал провести повторное расследование в Казанской губернской канцелярии совместно с Казанской дворцовой канцелярией, а Шамшуренкова отправить в Казань, но уже за свой счет. Мало того, Шамшуренков должен был оплатить еще и питание солдата, под караулом которого его повезут, а вернее, поведут, в Казань. Откуда Шамшуренков возьмет деньги на оплату солдата, когда ему и самому есть было не на что, графа Салтыкова, понятное дело, не интересовало. Хорошо еще, что московские знакомые Шамшуренкова из Главной дворцовой канцелярии и Сибирского приказа поручились за него, и через три дня, выпущенный на поруки, он ушел в Казань.

Тут читатель скажет, что это уж к истории Яранска не имеет никакого отношения, и будет, конечно, прав. Не имеет, но... Впрочем, вот вам Яранск, в котором Корякин все эти годы успешно продвигался по службе и из простого копииста превратился в так называемого подьячего с приписью – то есть старшего канцеляриста, который мог подписывать документы. Он и подписывал, а параллельно подделывал и уничтожал документы из шнуровых книг Яранской ратуши, крал медные перегонные кубы и трубы из казенной яранской винокурни и вывозил их на свой винокурный завод и беспошлинно торговал вином своего винокурного завода в кабаках, открытых без разрешения властей. Короче говоря, вел себя не как подьячий, пусть даже и с приписью, а как целый воевода.

В сорок втором году несдающийся Шамшуренков и выборный посадский человек Ермолай Шевелев подали очередную бумагу в Камер-коллегию, где обвиняли уже не одного Корякина, но и его подельника – яранского купца Голенищева. Зимой того же года еще пятнадцать яраничей, в том числе и яранский бурмистр Емельян Балахонцев, написали еще одну жалобу... Из Казанской губернской канцелярии с указом Камер-коллегии приехал в Яранск прапорщик Свияжского полка Сидор Кириллов, и тут открылось... то, что и без всякого следствия знал весь Яранск, а сверх того обнаружилось так и не доведенное до конца дело шестилетней давности о незаконном винокурении, которым занимался Корякин. Следственные материалы отправили в Казань и... Сидора Кириллова от дела отстранили. Передали его царевкокшайскому воеводе Доможирову, который приехал в Яранск, допросил еще одного свидетеля, который подтвердил то, что сказали предыдущие свидетели, и укатил обратно в свой Царевкокшайск.

Через год, в мае сорок третьего, в Яранск для продолжения расследования был прислан еще один человек – секунд-майор Роман Державин, а в июле у него родился сын Гавриил. Тут бы и написать мне, что приехал он в Яранск с молодой женой на сносях и именно в Яранске родился у них... Нет, приехал он один, а старик Державин родился совсем в другом месте. Правда, яранские краеведы пишут, что Роман Николаевич мог быть в Яранске в самом начале своей военной карьеры и там же мог познакомиться с будущей женой – Феклой Андреевной Козловой, но... мог и не быть, а тем более встречаться с будущей матерью знаменитого поэта. Во всяком случае, в Яранске наверняка есть здания, в которых отец Державина бывал. Если бы еще знать в каких...

Вернемся, однако, к делу Шамшуренкова. Державин разыскал даже похищенные Корякиным и Голенищевым листы из шнуровых приходных книг яранской ратуши. Наконец, при обыске в доме Корякина была найдена та самая записка с росписью взятки губернатору, прокурору, секретарю и подьячему, о которой говорилось ранее. Державин арестовал Корякина с Голенищевым и опечатал все их имущество, включая винокурный завод Корякина. По его докладу прокурор предписал Казанской губернской канцелярии «о том без промедления решение учинить и что учинено будет – к генерал-прокурорским делам репортовать»¹⁰.

Думаете, правда наконец-то восторжествовала? Как бы не так. Тем же летом Голенищев бежал из-под стражи и объявился в Казани, где исхитрился подать жалобу на Шамшуренкова,

яранского бурмистра Балахонцева и... на майора Державина. Жалобу приняли к рассмотрению, Державина от следствия отстранили, а всех тех яраничей, кого Голенищев в своей челобитной упомянул, Казанская губернская канцелярия приказала забрать и в «непорядочных поступках произвести следствие во оной же канцелярии без упущения». Державина заменили другим майором – Земнинским, но приступить к следствию он не мог, поскольку яраничи требовали присутствия на следствии Державина. Еще через год майора Зимнинского заменили коллежским асессором Топориным. Тот знакомился, знакомился с материалами следствия – и еще через два года заболел и передал дело присланному из Москвы коллежскому асессору Голчину. У того был сенатский указ о проведении следствия в самые краткие сроки. И действительно, в самые короткие сроки Голчин... договорился с Корякиным и Голенищевым, и сразу же выяснилось, что казна от действий Корякина и Голенищева ущерба не понесла, украденные перегонные кубы были на самом деле выданы местным купечеством заимообразно, свидетели, допрошенные не просто так, а под пыткой, стали отказываться от своих показаний...

Тут читатель скажет, что это уж к истории изобретения самобеглой коляски Шамшуренкова не имеет никакого отношения, и будет, конечно, неправ. Еще как имеет. Голчин арестовал Шамшуренкова, заковал в кандалы, в колодки, посадил на цепь и приказал бить его кошками и батогами. Несчастный изобретатель, которому тогда было уже шестьдесят, не выдержав пыток, был вынужден отказаться от своих писем в Камер-коллегию. Голчин был тот еще фрукт без страха и упрека. Он в своем докладе по делу потребовал оштрафовать предыдущих следователей, включая Державина, а Шамшуренкова за якобы ложные свидетельства предлагал и вовсе казнить или, в крайнем случае, сослать на вечное поселение в Оренбург, предварительно бив кнутом и вырезав ноздри. Через пять месяцев Голчин снова заставил Шамшуренкова отказаться от своих показаний и дать подписку, что претензий к Корякину и Голенищеву не имеет, а писал жалобы по наущению яранского бурмистра и купца Балахонцева, который к тому времени успел умереть.

И снова сын Шамшуренкова пишет челобитную в Сенат. Яранский магистрат в сорок восьмом году отверг версию Голчина и написал о своем несогласии в Камер-коллегию. Еще и прибавил, что Максим Голенищев с другим яранским купцом Петром Овчинниковым убили яранского бурмистра Григория Попова, и потребовал никаким челобитным этих убийц не верить. Что-то на самом верху еще раз скрипнуло, и шестеренки Камер-коллегии повернулись хотя и не на целый оборот, но не меньше чем наполовину. Голчина и чиновников казанской губернской канцелярии от расследования отстранили, а многострадального Шамшуренкова под караулом препроводили в Нижний, чтобы тамошняя губернская канцелярия расследовала обстоятельства, при которых Леонтий Лукьянович отказался от своих показаний. На дворе стоял уже семьсот пятидесятый год¹¹.

В нижегородской тюрьме Шамшуренкова не били, не сажали на цепь, не заковывали в кандалы, и самобеглая коляска, идею которой он все время носил в голове, в самом дальнем ее углу, уже почти затянутом паутиной, ожила, зашевелила колесами, закрутила педалями и заскрежетала зубчатой передачей. В конце февраля пятьдесят первого года Шамшуренков решает продиктовать своему племяннику Федору (сам Леонтий грамоте был не обучен) еще одно письмо в Сенат, в котором сообщал, что «может он зделать курioзную самобеглую коляску, которая будет бегать без лошади»¹².

Уже на следующий день второго марта пятьдесят первого года (скорости для того времени неслыханные) Нижегородская губернская канцелярия отправила в Москву, в Сенатскую контору, доклад, в котором подробно описала, как сказали бы современные патентоведы, формулу изобретения Шамшуренкова. «Написано от него, Леонтея, о сделании им коляски самобеглой, и такую коляску он, Леонтей, сделать может подлинно, изобретенными им машинами, на четырех колесах с инструментами так, что она будет бегать и без лошади, только правима будет через инструменты двумя человеками, стоящими на той же коляске, кроме сидящих в ней праздных людей, а бегать будет хотя чрез какое дальнее расстояние, и не только по ровному месту поло-

жению, но и к горе, буде где не весьма крутое место; а та де коляска может быть зделана конечно через три месяца со всяким совершенством, и для апробации на сделание такой коляски потребно ему из казны денег не более тридцать рублей (понеже своим коштом, за неимуществом его, сделать ему нечем), которую апробацию может он сделать и здесь, в Нижнем Новгороде... А тому искусству нигде он, Леонтей, не учивался, но может сделать это своею догадкою, чему он пробу в доме своем, таясь от других, делывал, токмо она за неимением к тому достойных железных инструментов в сущем совершенстве быть не могла... Для уверения оного, что искусство совершенно в нем имеется, объявил он прежнее свое художество, что в прошлом... делал он модели для вынятия из земли и поднятия на колокольню нововылитого большого колокола, и с теми моделями из Конторы Правительствующего Сената отослан был в Артиллерийскую контору, которое его дело и принято было за действительно... и при окончании допросу он, Шамшуренков, подтвердил, что ежели то ево показание явится ложно, за то повинен смертной казни»¹³. В конце доклада губернская канцелярия спрашивала Сенатскую контору «что о том повелено будет учинить». Москва в ответ... промолчала, и только после повторного напоминания, через четыре месяца (какими долгими они показались Шамшуренкову, мы можем только догадываться), в конце июля Сенатская контора запросила Петербург, который... тоже промолчал. Московская контора еще раз напомнила, и в конце февраля пятьдесят второго года было велено прислать Шамшуренкова в Петербург и дать ему на корм в пути до столицы пять копеек на каждый день. Прошло еще три недели, потраченных на сборы, выписывание подорожных документов, получение кормовых денег, и Шамшуренков в сопровождении конвойного солдата Петра Осипова выехал на ямской подводе в Петербург. В тот год Шамшуренкову исполнилось шестьдесят пять лет.

Строго говоря, дальнейшая история Шамшуренкова и его самобеглой коляски к Яранску отношения почти не имеет, а потому рассказывать о том, как он приехал в Петербург за две недели вместо положенных трех, как за пять месяцев «своею догадкою», с помощью кузнеца, слесаря и плотника коляску сделал, как жил в Петербурге на пятак в день, пока коляска проходила испытания, как она их успешно прошла, как самого изобретателя отправили в Москву, в сенатскую контору, и как за изготовление коляски получил он пятьдесят наградных рублей, мы рассказывать не будем.

Кончилось все, однако, тем, что власти взяли с Шамшуренкова подписку в том, что он явится в Нижегородскую Губернскую канцелярию неотменно и будет там ровно столько, сколько потребуется для завершения дела по его жалобе на яранского купца Ивана Корякина со товарищи.

Да вот еще что. Шамшуренков после успешных испытаний коляски предлагал Сенату «для апробации сделать сани, которые будут ездить без лошадей зимою, а для пробы могут ходить и летом...», предлагал сделать верстомер, который будет показывать на циферблате «стрелой до тысячи верст и на каждой версте будет бить колокольчик», предлагал усовершенствовать ту коляску, что уже сделал, так, что она будет еще меньше и быстрее, предлагал... Сенат в ответ на письмо Шамшуренкова запросил, во что сани и верстомер обойдутся. На все про все просил Леонтий Лукьянович сто тридцать рублей. Сенат в ответ на... Несколько месяцев ждал Шамшуренков ответа от Московской сенатской конторы, а осенью пятьдесят третьего года собрался и поехал в Нижний.

Умер Леонтий Шамшуренков через пять лет, в семьсот пятьдесят восьмом году. Последние годы своей жизни он, скорее всего, прожил в родной деревне. Никаких чертежей или рисунков коляски не сохранилось. Сама коляска тоже до нас не дошла. Может, и каталась на ней Елизавета Петровна вместе с Разумовским по дорожкам парка своего Летнего дворца... а может, и не каталась. Может, катали на ней гостей во время торжеств по поводу окончания Семилетней войны и заключения мира с Пруссией... а может, и не катали. Может, какой-нибудь надутый прусский полковник или даже генерал с преогромными рыжими усами, которого велено было катать в этой коляске, осторожно косясь на двух нажимающих педали здоровенных русских гренадеров

за спиной, думал, что у них, в Пруссии, могут сделать еще и не такую коляску... а может, и не думал. Теперь уж не узнать.

Теперь бы надо написать, что и сам Леонтий Лукьянович Шамшуренков, и его самобеглая коляска потомками забыты, и только специалисты... а вот и нет. В Яранске Шамшуренкова любя́т и помнят. В местном краеведческом музее изобретателю-самоучке посвящена целая экспозиция. В самом центре ее находится деревянный макет его самобеглой коляски величиной с детский грузовик, который мальчишки обычно возят за собой на веревочке, и медаль, отчеканенная к трехсотлетию со дня рождения Шамшуренкова. На ее аверсе портрет бородатого человека, изображающего изобретателя, а на реверсе фантазии медальера на тему самобеглой коляски. По краю медали идет надпись «изобретатель первого в мире автомобиля», которого Шамшуренков не изобретал. Впрочем, понять автора медали можно – велосо́мобиль звучит несерьезно в сравнении с автомобилем.

Ну, да бог с ней, с медалью. Хорошо, что она есть. В городе проводится ежегодный фестиваль под названием «Колесная феерия», на который из разных мест съезжаются любители строить самобеглые коляски своими руками. Наконец, в пятнадцатом году власти открыли в Яранске парк Шамшуренкова. На его обустройство из областного бюджета ассигновали целых шесть миллионов рублей. В центре парка предполагалось поставить памятник изобретателю. На памятник городским властям выдали еще четыреста с лишним тысяч. Сначала поставили небольшой закладной камень, сложенный из кирпичей (большой камень в смету не вписывался), а на него прикрепили памятную табличку о том, что здесь будет... Короче говоря, все сделали как нужно и стали ждать, когда вырастет памятник. Через какое-то время, устав ждать, на то место, где должен был встать бронзовый Леонтий Лукьянович, поставили ажурную беседку, а в нее поместили сделанную местным умельцем большую самобеглую коляску, похожую на ту... никем и никогда не виданную, поскольку ни чертежей, ни рисунков... Еще через какое-то время местная молодежь, которую, как сказал поэт, не задушишь, не убьешь, эту коляску изрядно... В конце концов раскуроченную коляску вернули владельцу, беседку убрали и решили на этом месте устроить фонтан. Когда стали рыть котлован под памятник, вдруг обнаружилось, что вместо фундамента, который должен был на три метра в глубину, вместо армированного бетона... жалкие обломки бетонной стяжки толщиной пять сантиметров и куски ржавой проволоки... четыреста с лишним тысяч бюджетных денег... Да мало ли на свете мест, куда могут подеваться бюджетные деньги. Особенно на нашем свете. И это не все. Оказалось, что нет в парке предусмотренных по смете арт-кафе, аттракционов, сувенирной лавки и туалета. Завели уголовное дело, и выяснилось, что деньги давно списаны, а подрядчик ~~Корякин~~ Видякин... Правду говоря, и дело-то не хотели заводить, а ~~подъячий~~ Яранской воеводской канцелярии работники яранского УВД и вовсе пытались отказать в возбуждении... Впрочем, это уже современная история Яранска, до которой мы еще доберемся, а пока вернемся в Яранск восемнадцатого века.

В семьсот восьмидесятом году Яранск забрали у Казани и приписали к Вятскому наместничеству. Через год Яранску пожаловали герб, в нижней части которого «на голубом поле, две диких утки в знак того, что в окрестностях сего города сею птицею изобильно». Город стал перестраиваться по регулярному плану. Мало-помалу развивались, как сказали бы классики марксизма, производственные силы и производственные отношения, купцы торговали рожью, овсом, салом, рогожами, дегтем, пряниками, мылом и всем тем, чем торговали у нас купцы в восемнадцатом веке. Потомки городских казаков и стрельцов пахали землю, занимались извозом, бабы доили коров, вязали носки, пекли пироги с рыбой, которой тогда водилось в Ярани видимо-невидимо и рожали детишек. Воевод сменили городские головы и городничие, а подъячих – подканцеляристы, которых все равно по старой памяти называли подъячими, в присутственных местах стоял неистребимый запах кислой капусты, а от какого-нибудь заседателя пахло водкой так, будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Наверняка, если как следует покопаться

в архивных документах того времени, то можно найти и дело об унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла, и судью, бравшего взятки борзыми щенками.

К началу девятнадцатого века в Яранске проживало немногим менее тысячи жителей. В восьмьсот семнадцатом году в городе появились два училища – уездное и приходское. Надо сказать, что тогда училища в уездных городах с неба не сваливались. Не выделялись, скажем, деньги из губернского бюджета на их строительство, не приезжали по распределению в уезд молодые специалисты, и не предоставлялись им льготы на обзаведение жильем и хозяйством. Город должен был сам найти деньги, приискать здание, найти учителей, оплатить их... Это с одной стороны, а с другой – маленький Яранск, в котором всего-то около тысячи жителей. Городского бюджета хватит... даже на школьную форму детям не хватит. Хорошо еще, что ее тогда не придумали. На открытие уездного училища деньги собирали всем миром – городничий дал почти девятьсот рублей, уездный исправник Наумов дал тысячу семьсот, еще один дворянин по фамилии Залесский дал тысячу, потом на собранные деньги исправник купил дом и нанял рабочих для того, чтобы его приспособить под учебное заведение, и только потом министр народного просвещения князь Голицын разрешил открыть в Яранске уездное училище. Приходское училище разместили в том же здании. Оно и удобно – сначала нужно было закончить приходское, а уж потом поступать в уездное.

В восьмьсот тридцать первом году открылось почтовое отделение. С учетом того, что первые почтовые отделения в России стали открываться еще в восемнадцатом веке... С другой стороны, Яранск на тракте Москва – Санкт-Петербург не лежал, промышленности в нем, можно сказать, не было никакой, населения кот наплакал... Наверное, это было событием в Яранске. В самый первый день обмыли новый мундир почтмейстера и желтую кожаную сумку единственного яранского почтальона. Даже написали по такому случаю несколько писем друг другу, сложили их в новую сумку, а весь второй день, мучаясь от похмелья, искали эту чертову сумку, которую подложил себе под голову уснувший мертвецким сном почтальон.

Через шесть лет после открытия почтового отделения в городе произошло событие, культурный масштаб которого трудно переоценить, – через Яранск во Владимир проехал, возвращаясь из ссылки, Герцен. Правда, собственно о Яранске он в «Былом и думах» почти ничего и не написал, кроме того, что «от Яранска дорога идет бесконечными сосновыми лесами»¹⁴, прибавил, что таких лесов он больше никогда не видел, да еще и в красках описал, как полупьяный исправник на выезде из Вятской губернии не давал лошадей и как потом от страху, который нагнал на него разбуженный декабристами Александр Иванович, униженно целовал ему руку. Мог бы, конечно, и написать что-нибудь комплиментарное про Яранск. С другой стороны, хорошо, что проезжал Герцен, а не Салтыков-Щедрин или даже Чехов, который и вовсе мог аттестовать Яранск так, как какой-нибудь Томск, написав, что город и гроша медного не стоит, да еще и люди здесь прескучнейшие... грязь невылазная... на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад...

И ведь все это в Яранске, наверняка, было – и грязь невылазная, и уездная душная, пыльная скука, от которой дохли мухи, и постоялый двор, и неопрятная кухарка в засаленном фартуке, и ложка, и даже зад, о который она могла вытереть... Нет, хорошо, что он проехал сквозь Яранск почти не задерживаясь и не видя его, зато остались сосны, шедшие «мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их черные хвои, как щетина, – и заснешь, и опять проснешься, а полки сосен все идут быстрыми шагами, стряхивая иной раз снег»¹⁵, а не «лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик».

Вернемся, однако, к производственным силам и производственным отношениям. К семидесятым годам позапрошлого столетия в Яранске, на дюжине улиц (на пяти продольных и пяти поперечных), проживало около трех тысяч жителей, из которых почти половина записались купцами и мещанами. Немногим менее трехсот человек были дворянами и чиновниками, и около двух сотен яраничей были записаны крестьянами. Яранское купечество в своих лавках, которых

в городе насчитывалось около сотни, торговало в основном хлебом и сукном. В год Яранск поставлял на продажу до трехсот тысяч пудов хлеба и полтора миллиона аршин сукна. Прибыли были такие, что если бы складывать их в сундуки, то одних сундуков понадобилось бы... Деньги, однако, у яранских купцов в сундуках мертвым грузом не лежали – братья Носовы завели фабрику по производству серпов, купцы Соломин и Крутовских организовали производство спичек, а купец Булыгин реконструировал винокуренный завод. Вместе с фабриками появился в городе и пролетариат – четыреста ремесленников и заводских рабочих. Они, конечно, больше походили на сезонных рабочих, поскольку летом пахали землю, сеяли хлеб и убирали урожай, а начиная с осени, становились к станкам на фабриках.

Что касается событий городской жизни... Какие могут быть события в городе, в который ссылают то царского дядю, то царскую невесту, то опальных князей, то пленных шведов, то пленных французов... Во второй половине шестидесятых годов в Яранск и уезд прибыли ссыльные поляки, принимавшие участие в восстании шестьдесят третьего года на территории Царства Польского. Как только восстание началось – так сразу в Вятскую губернию ссыльных поляков и повезли. В Яранском уезде поселили почти сорок человек – мещан, дворян и ксендзов. Стали они (мещане, дворяне и ксендзы) жить-поживать и добра наживать. Поначалу так поживали и так наживали, что чуть с голоду не померли. Полагались им от правительства небольшие кормовые деньги, которые власти бессовестно задерживали. Некоторые ссыльные и вовсе их не получали. Жить было негде. Находили временные пристанища в чужих банях, откуда не очень гостеприимные яраничи выгоняли их палками. Может, конечно, и не палками, а голыми руками и обутыми в лапти и сапоги ногами, но поляки писали именно про палки в письме жившему в Вятке католическому епископу Красинскому. Кое-кто решился даже нарушить закон, чтобы попасть в арестантские роты и иметь гарантированный кусок хлеба и крышу над головой. Ссыльные, понятное дело, жаловались. Власти, понятное дело, не реагировали. Со временем часть ссыльных за хорошее поведение стали от надзора освобождать, и они сумели открыть свои трактиры, гостиницы и лавки. Некоторые даже женились, предварительно приняв для этого православие. Некоторым, однако, жениться не удалось, потому как выяснилось, что в Польше у них уже есть жены. Через четыре года, по указу, сосланным в административном порядке и не замеченным ни в чем предосудительном разрешалось вернуться домой, в Царство Польское. Больше половины ссыльных этим указом воспользовались. Потом были еще указы, приуроченные ко дню рождения великого князя Георгия Александровича и ко дню бракосочетания великой княжны Марии Александровны, по которым ссыльных освобождали от надзора, разрешали поступать на государственную службу и селиться везде на территории России без ограничений. Ну, раз на всей территории... К концу девятнадцатого века почти все ссыльные и уехали. Осталось только несколько могил на кладбище села Макарье Яранского уезда.

В семьдесят шестом году в Яранск пришла холера. Гласные городской Думы, среди прочих мер борьбы с эпидемией, предложили местному священству с иконами всех церквей обойти город Крестным ходом. Обошли и отслужили молебен об избавлении от голода, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплемеников и междоусобных брани.

Были еще два клуба – купеческий и дворянский. Были кабаки и пивные. Были свадьбы и похороны. Были скандалы и сплетни. Наконец, чтобы не помереть от тоски и не спиться, можно было просто набить кому-нибудь... Нет, так читатель подумает, что яраничи жили как медведи в берлогах, а они не жили и медведями не были. Зимой, случалось, и впадали в спячку, но, во-первых, не каждый год, а только в урожайный, когда можно было накопить подкожные запасы жира, а, во-вторых, сколько их было в Вятской губернии – этих урожайных годов... Ну, да мы не о том. Между прочим, к тому времени, как в Яранск и уезд нагрянула холера, в Яранске вместо повивальных бабок уже были акушерки с жалованьем триста рублей в год, старшим и младшим фельдшерам увеличили жалованье, работала больница, в которой деревянные кровати заменили на железные, имелись библиотечки для чтения, а всех, возвращавшихся с отхожих про-

мыслов, подвергали обязательному медицинскому освидетельствованию, потому как в уезде к холере прибавился и сифилис... Нет, так еще хуже. Лучше уж о народном образовании.

В апреле шестьдесят шестого года яранское городское общество постановило учредить в городе женское приходское училище и назвать его в честь Осипа Комиссарова-Костромского – того самого, который отвел руку Каракозова, покушавшегося на Александра Второго. Вернее, сначала, после покушения, яраничи отслужили благодарственный молебен за чудесное спасение императора, потом собрались в городской ратуше, собрали двести с лишним рублей на погашение долгов беднейших мещан, потом постановили открыть училище, для чего было испрошено Высочайшее соизволение, а через год, когда соизволение было получено, училище было открыто. Надо сказать, что даже в глухом углу Яранского уезда, в селе с еще более глухим названием Кундыш-Мучакш волостной сход постановил открыть школу и назвать ее Комиссаровской.

В Яранске самым большим энтузиастом открытия приходского училища был исправник Николай Никитич Антюков – он стоял первым в списке тех, кто подписал общественный приговор об учреждении училища, и уже после него подписались городской голова Бебенин, командир 57 резервного пехотного батальона подполковник Измаильский, уездный судья Мусерский, протоиерей Добровольский, лесничий подпоручик Сунгуров и еще один протоиерей Кувшинский¹⁶. Вятские губернские ведомости писали: «при торжестве открытия находились члены училищного комитета, местные должностные лица и многие из граждан. В день открытия явилось желающих обучаться до сорока девиц»¹⁷. Платить за обучение нужно было по два рубля серебром в год. Бедные и неимущие девицы обучались бесплатно. Денег на содержание училищ город выделял немного – четыреста рублей в год, и потому, чтобы за пределы этих сумм никак не выйти, учителя других яранских училищ согласились преподавать в нем бесплатно. Кстати, о других яранских училищах. На рубеже прошлого и позапрошлого веков в Яранске было не одно и не два учебных заведения, а целых восемь – женская¹⁸ и мужская гимназии, земская ремесленная мастерская, где обучались мальчики, духовное мужское училище, городское третьеклассное мужское начальное училище, земское начальное женское училище и две церковно-приходских школы. Грамотных в городе было больше половины. К ноябрю семнадцатого года в городе была уже дюжина учебных заведений, в которых можно было получить и начальное, и среднее, и специальное образование. И эта дюжина учебных заведений приходилась на пять тысяч горожан. Большевики с их ликбезом не то чтобы опоздали... Впрочем, до большевиков мы еще доберемся.

Не прошло и десяти лет со дня открытия училища, как в нем училось уже сто пятьдесят девочек разных сословий. К тому времени училище уже называлось прогимназией. Кроме преподавания обычных предметов вроде русского языка и арифметики, девочек учили шить платья, вышивать по тюлю и даже тачать обувь. Неимущие и сироты по-прежнему за свое обучение денег не платили. Более того, для них были учреждены стипендии. В семьдесят пятом году таких стипендиатов была дюжина. Если на все это смотреть, к примеру, с московской колокольни, то... и не увидеть ничего, а если вспомнить, что в Яранске жителей к тому времени было около трех тысяч, что при всей торговле хлебом, сукном, серпами и спичками городского бюджета не хватало даже на устройство водопровода, не говоря о канализации – тогда эти сто пятьдесят девочек и дюжина стипендий будут смотреться совсем по-другому.

И снова о ссыльных. В январе семьдесят шестого года в Яранск переводят отбывающего восьмилетнюю ссылку в Вятской губернии книгоиздателя Флорентия Федоровича Павленкова. Павленков был из тех людей, не могущих сидеть без дела даже в ссылке. С помощью местного земства он пытался пропагандировать идею передвижных школ, которые с помощью составленной им «Наглядной азбуки» могли бы обучать грамоте не только крестьянских детей, но и взрослых, переезжая из одной деревни в другую. Уездные земские деятели, у которых за спиной стоял Флорентий Федорович, даже издали в Вятке брошюру, посвященную передвижным школам. В Яранске Павленков начал работать над памятной книжкой о Вятской губернии. Называлась она «Вятская незабудка». Ее-то уж точно никто бы не разрешил бы печатать в Вятке, поскольку до-

сталось в ней и Вятской губернии, и яранским властям. Одна из статей «Вятской незабудки» так и называлась – «Яранские башибузуки». Досталось и яранскому прокурору Синявину, про которого было сказано, что он даже сморкается с апломбом, досталось и распускающим руки местным полицейским чинам, и уездному врачу Шнейдеру, получавшему тройное жалование за уездного, больничного и участкового врачей, досталось и уездному земству, не заботящемуся о развитии народного образования. Напечатали «Вятскую незабудку» в Петербурге. Кончилось все тем, что уже в ноябре семьдесят шестого года вятский губернатор, «находя участие Павленкова в делах Яранского земства крайне вредным»²⁰, переводит его в Вятку под свой личный надзор. Эксперименты по созданию передвижных школ в Вятской губернии были прекращены, «Наглядную азбуку» из местных библиотек изъяли, а вот «Вятскую незабудку» власти, мягко говоря, проморгали. Кабинет министров ее запретил лишь тогда, когда первые два выпуска уже были напечатаны и проданы. Зато третий был почти полностью изъят и уничтожен.

Как известно, Павленков все свое состояние завещал на устройство народных библиотек в деревнях и селах Российской империи. В Яранском уезде в девятьсот седьмом году открылось пятнадцать народных библиотек. До семнадцатого года все эти библиотеки пополнялись, а после него часть библиотек прекратила свое существование сразу из-за отсутствия финансирования, часть была преобразована в избы-читальни, часть расформировали в тридцатых... Сейчас в Яранском районе работают четыре сельских библиотеки, открытые на средства Флорентия Федоровича Павленкова²⁰.

И последнее о Павленкове и Яранске. Флорентий Федорович любил повторять две строчки из «Тамбовской казначейши» Лермонтова: «Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда...» заменив при этом Тамбов на Яранск.

Раз уж зашла речь о библиотеках, то стоит рассказать о яранском купце Федоре Яковлевиче Рошине. В восемьсот восемьдесят девятом году, когда в Яранске стала создаваться публичная библиотека, он купил у одного жителя города домашнюю библиотеку и передал ее в дар городской. Еще и выписывал для библиотеки газету «Русское слово». Со стороны посмотреть – ничего удивительного. Купец второй гильдии Рошин имел полумиллионное состояние. Почему бы и не помочь городской библиотеке. Удивительное в том, что Рошин, который к тому же был акционером книгоиздательского «Товарищества И.Д. Сытина», ни читать, ни писать не умел. Даже расписаться не мог. Вообще Федор Яковлевич был человеком щедрым – состоял попечителем одного из земских училищ, помогал учащимся, дал денег на постройку городского приходского училища, в неурожайный девяносто первый год купил на стороне хлеб и продавал его в городе и уезде по низкой цене, а уж на постройку городского водопровода в девятьсот одиннадцатом году пожертвовал и вовсе десять тысяч. Удивительное не в том, что богатый купец был меценатом. Удивительное в том, что в Яранске имелись купцы куда богаче Рошина, а вот таких как он, которые давали денег и на библиотеку, и на земское училище, и на стипендии, и на водопровод...

Чаше всего богатые яранские купцы давали денег на храмы. К примеру, на деньги купца первой гильдии Носова был построен по проекту архитектора Тона Троицкий собор. Такой же некрасивый, как и храм Христа Спасителя в Москве. Правда, колокол в триста с лишним пудов весом собору подарил Рошин. Вдова купца Беляева перед смертью в восемьсот девяносто пятом году завещала больше ста тысяч десятин земли на устройство монастыря около Яранска. Вдова купца Бебенина все деньги покойного мужа вложила в строительство женского монастыря. Купец Унженин, в девятьсот десятом году избранный городским головой... нет, монастырь он не строил, а вместо этого завел в городе керосино-калильные фонари, которые освещали улицы даже лучше, чем тогдашние электрические, сделал все, чтобы решить вопрос с водопроводом, сам пожертвовал на его строительство тысячу рублей, собрался приобрести пожарной команде паровую машину, построить народный дом, содержал на свои деньги в городском саду духовой оркестр, привел в порядок и сам городской сад, но... застрелился. Поговаривали, что нашел переписку жены с любовником и... Теперь уж и не узнать – правда или нет.

Кстати, об оркестре. Вернее, о музыкальной жизни Яранска. Она не просто была. Она кипела и пенилась. Выступал хор женской гимназии, в котором солировал местный нотариус и студенты духовной семинарии. На концертах, организованных преподавателем пения женской и мужской гимназий Пинегиным, играл струнный оркестр под руководством инженера-технолога Кузнецова. Каждую неделю собирался струнный квартет. Из села Кикнур за пятьдесят километров приезжал тамошний земский начальник Васнецов (кстати, племянник художника Васнецова) со своей виолончелью принимать участие в концертах. Ставили фрагменты опер «Иван Сусанин», «Снегурочка» и «Майская ночь». И все это в Яранске, который, как любил говорить Павленков, на карте генеральной кружкой означен не... да каким кружкой – хорошо если точкой средней упитанности. Летом двадцать первого года преподаватели яранской музыкальной школы поставили силами местных любителей музыки «Фауста» Гуно. Пять раз опера шла при полном зале. Мало того, вся улица перед домом, где шел спектакль, была полна народу, поскольку окна были из-за жары открыты. И все это в двадцать первом году. В уезде тиф и голод. Ели лебеду и глину... Вот теперь уж точно надо про большевиков.

Они появились в городе и уезде еще в шестидесятых годах девятнадцатого века. Не по своей воле, конечно, они сюда приезжали. Уже в семьдесят девятом году в Яранске проживало два десятка политических ссыльных. Одним из самых известных был Леонид Петрович Радин. Тот самый Радин, который написал и музыку и слова к песне «Смело, товарищи, в ногу!». Вообще-то Радин был способным химиком и даже делал дипломную работу у самого Менделеева, но Дмитрий Иванович предложил своему дипломнику заниматься проблемами винокурения (может потому, что отец Радины владел винокурным заводом), а тому интереснее было заниматься совсем другим. Он приспособил американский мимеограф для печатания подпольной литературы, и так успешно ее печатал, так успешно распространял напечатанные листовки среди рабочих, что сначала попал в Таганскую тюрьму, а через два года, в девяносто шестом, отправился под гласный надзор полиции в Яранск. Вместе с песней, которую он сочинил в Таганской тюрьме. В Яранске Радин написал статью «Объективизм в искусстве и критике», стихотворное завешание товарищам по революционной борьбе и письмо к властям, в котором просил разрешения переехать в Ялту в связи с обострением туберкулеза. Власти полгода думали и разрешили. Переехать в Ялту Радин успел, а пожить там нет, поскольку умер в тот же год.

Все же руководителем яранских социал-демократов был не он, а Иосиф Федорович Дубровинский, сосланный в Яранск в девяносто девятом году. Этот стихов и статей об искусстве не писал, зато был, как когда-то говорили, видным деятелем коммунистического и рабочего движения – руководителем московского «Рабочего союза» и членом московского комитета РСДРП. Общего у них с Радиным было лишь то, что оба болели туберкулезом. Ему через два года жизни в Яранске тоже разрешили переселиться южнее – в Астрахань. Дубровинский после Яранска прожил еще тринадцать лет и утонул в Енисее. Там он тоже, понятное дело, оказался не по своей воле, а в ссылке.

Ссылка в Яранске, конечно, медом не была. От правительства в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков полагались ссыльным кормовые деньги – рубль двадцать в месяц на человека. Да и сам Яранск к ним поворачивался другой стороной – совсем не той, которая устраивала музыкальные концерты и ставила спектакли по пьесам Островского. В девятьсот четвертом году пьяный жандарм, встретив на улице политического ссыльного Иванова, отрубил у него шашкой ухо. Просто так отрубил. То ли Иванов на него косо посмотрел, то ли жандарм с самого утра ходил косой...

Кстати, о кормовых деньгах. Цены на пропитание в Яранске тогда были очень умеренными. К примеру, фунт ржаного хлеба стоил две копейки, фунт белого – пятак, а фунт мяса не дороже гривенника. Фунт соли и вовсе обходился в копейку, но сахар был дорог – его фунт стоил шестнадцать копеек. Ровно столько стоил в месяц налог на велосипед, которых в городе перед первой мировой войной было полсотни. Между прочим, был в Яранске и свой изобретатель велосипеда

– каретных дел мастер Яков Санников. Первый велосипед Санников изготовил в восемьсот семьдесят девятом году. Был он тяжелым и неудобным, но зато первым велосипедом в Вятской губернии. Вряд ли крестьянин Санников читал технические журналы и знал о конструкциях других велосипедов. Скорее всего, свой велосипед он выдумал из головы. Три года Санников на нем катался по улицам города, распугивая кур, гусей и свиней. Кстати, о свиньях. В 1915 году в Яранске была штрафная стоянка для бродячих свиней, которых, чтобы они не бродили по улицам, не валялись в лужах и не портили городские клумбы, отводили в городской загон и там содержали, пока за ними не придут хозяева. Там свиней даже кормили. Не так, как дома, конечно, без горячего, но все же. Штраф за свинью, оказавшуюся без присмотра, был целых пять рублей²¹. Немалые, между прочим, деньги.

И еще про велосипед Санникова. Он сохранился и теперь украшает собой один из залов яранского краеведческого музея. Ободы и ступицы у велосипеда дубовые, а все остальное из толстого и неподъемного железа. Цепи нет, хотя она к тому времени уже была в Англии изобретена, и педали прикреплены к огромному переднему колесу. Шин тоже нет. На весь велосипед наберется десяток деталей, не больше. Однако же яранские школьники написали о нем не один десяток рефератов.

Надо сказать, что Яранск на рубеже веков был вполне современным, по тогдашним меркам, уездным городом – был в городе и телеграф, и телефон. В девятьсот седьмом году появился кино-театр, в девятьсот тринадцатом – водопровод, а первое электричество в домах – в шестнадцатом. Что касается дорог, то их, конечно, ремонтировали, но... В пятнадцатом году один крестьянин подал в суд на Городскую думу за то, что его лошадь сломала ногу на улице Яранска. Не то удивительно, что подал, а то, что выиграл дело, и Дума ему выплатила по суду девяносто рублей²².

Кстати, о яранской Городской Думе. В девятьсот одиннадцатом году думские гласные решили организовать в Яранске производство бетона. Для этого члены городской управы поехали учиться в Москву и Подмоскowie. Целый месяц учились. Не то удивительно, что учились, а то, что ездили учиться за свой счет, понимая, что в городском бюджете на эту учебу денег нет.

Проведение через Яранск железной дороги было одной из самых главных забот Городской Думы. К кому только гласные Думы не обращались по этому вопросу. Ездили в Вятку, в Москву, в Петербург, писали докладные записки директору Департамента по сооружению железных дорог, Главноуправляющему Земледелiem и Землеустройством, министру торговли и промышленности, министру внутренних дел, министру путей сообщения, министру финансов. Какие только доказательства необходимости проведения железной дороги через Яранск не приводили – и то, что грузооборот города достигает более тридцати миллионов пудов в год и все эти грузы привозятся и увозятся гужевым транспортом, что Яранск является центром самых хлеботородных областей Вятской губернии, что сам Николай Второй собирается посетить Яранск – место ссылки Василия Никитича Романова, но только после того, как через город пройдет железная дорога. Так царь говорил или не так – неизвестно, но так передал его слова министру путей сообщения уроженец Яранска и депутат Четвертой Государственной думы от Вятской губернии Стародумов. Мечтали о том, что Яранск будет узловой станцией и от него пойдет ветка на Казань, на Нижний, а уж от Нижнего в Москву и даже в Петербург. Уже и министр путей сообщения распорядился начать изыскательские работы на трассе от Казани до Яранска, но... началась война с Японией, и стало не до железных дорог. Потом наступил девятьсот пятый год, и снова стало не до железной дороги.

Впрочем, все это было уже после начала Первой мировой войны, и Николаю Второму, равно как и министру путей сообщения, было совсем не до строительства железных дорог. Железной дороги пришлось ждать Яранску еще долго – лишь в семидесятом году началось регулярное пассажирское и грузовое движение по ветке до Йошкар-Олы.

Вернемся, однако, в девятьсот пятый год. Беспорядки, которые большевики потом называли первой русской революцией, затронули и Яранск. Волновались и крестьяне в уезде, и рабочие

спичечной фабрики, и местная интеллигенция. Штат местной полиции в городе с населением пять тысяч был увеличен до двухсот человек, не считая сотни казаков и эскадрона драгун, присланных успокаивать шашками и нагайками волновавшихся. Городская тюрьма в девятьсот седьмом году была переполнена. За участие в беспорядках за пределы губернии выслали преподавателя женской гимназии, земского врача и секретаря земской управы.

Февраль семнадцатого прошел в Яранске так же, как и во многих других небольших уездных городах – походили с флагами, попели революционные песни, поговорили на митингах вслух о том, о чем раньше шептались, помечтали о небе в алмазах и разошлись. В начале марта создали «Комитет общественной безопасности». Заседали в Комитете большей частью кадеты. Комиссаром Временного правительства в Яранске стал председатель земской управы купец Родигин. Большевиков в Яранске никто не ждал, а они приехали – отряд балтийских матросов под командой Сергея Черепанова – участника штурма Зимнего и уроженца Яранского уезда, присланного из Петрограда устанавливать Советскую власть. То есть сначала Черепанов приехал один, заявился на заседание городского Комитета общественной безопасности и хотел обрадовать всех заявлением о том, что приехал помогать рабочим и крестьянам организовывать новую власть, но... не обрадовал и был вынужден быстро уехать в соседний Котельнич. Вернулся он оттуда в конце декабря семнадцатого года с пятнадцатью балтийскими головорезами, от которых, между прочим, соседнему Котельничу уже не было никакой жизни. И начали Черепанов с матросами устанавливать советскую власть в Яранске... Сценарий установления был типовым – образовали городской совет, приказали местной буржуазии выплатить контрибуцию (и она ее немедленно выплатила, потому, что уже поняла, что с большевиками шутки плохи), открыли городскую тюрьму и выпустили оттуда заключенных. После того как балтийских матросов отозвали подавлять восстание какого-то полка в Вятке, организовали отряд красной гвардии в сто человек (в который записались те, кто надеялись улучшить свое материальное и социальное положение), созвали уездный съезд Советов и... уже третьего марта восемнадцатого года толпы возмущенных новой властью горожан осадили дом, в котором помещался уездный исполком и комитет партии большевиков. Члены исполкома мгновенно разбежались, и у власти остался комиссар отряда красноармейцев матрос Чупраков, который, к сожалению, не растерялся, вызвал подмогу из Вятки и жестоко подавил беспорядки. Уже к середине марта все было кончено. После того как власть пришла в себя от испуга, все продолжилось – и продразверстка, и репрессии. Хватали крестьян, сажали в тюрьму и запугивали их, устраивая сцены расстрелов. Крестьяне платили новой власти той же монетой – при малейшей возможности убивали дружинников из продотрядов. Яранские чекисты докладывали туда, куда следует, в мае восемнадцатого: «Ни в коем случае нельзя сказать, чтобы деревня была близка к коммунизму. На партию коммунистов смотрят как на что-то большое и опасное»²³.

В том же мае восемнадцатого яранская уездная газета «Крестьянин-коммунист» пишет: «4 мая должен быть поставлен спектакль... драматической секции. Большая часть билетов была распродана, но спектакль не состоялся. Товарищ Помосова не желает играть потому, что ей не нравится пьеса. Нужно давно обратить серьезное внимание на таких культурных работников и без жалости выбрасывать их из своих рядов. В этот переживаемый момент капризы можно было бы оставить и постараться превратить театр в средство и оружие борьбы трудящихся с их угнетателями. Не доросли до этого понимания такие, как тов. Помосова, или, вернее, не хотят понять»²⁴. Война войной, а культурная жизнь в Яранске была по расписанию.

Через три месяца, в середине августа, в Яранске ждали, что вот-вот придут белые – или чехи, или сам Колчак. С таким нетерпением ждали, что местные офицеры арестовали членов уездного исполкома. Уже в церквях служили благодарственные молебны, уже послали занявшим Уржум колчаковцам телеграмму о том, что в Яранске восстание, но... никто не пришел. Красные Колчака от Уржума отогнали, да и чехам было не до того.

Зимой двадцать первого года снова ждали, что Советской власти придет конец. Надеялись на Кронштадтское восстание. Ходили слухи, что Петроград уже перешел в руки восставших матросов. Конец Советской власти так и не пришел, но вместо него пришел голод. Летом случилась засуха, а потом неурожай. Ели сушеную картофельную ботву и лебеду, из которой пекли колобки. Не лебеду добавляли в муку, а пекли из одной лебеды. Муки давно не было. В Уржумском уезде издавна добывали жирную белую глину, и кто-то пустил слух, что эта глина – окаменевший хлеб. Целыми деревнями шли добывать эту глину. К трем частям глины прибавляли две части овсяного размола и ели. Умирали от такой еды сотнями. Выкапывали падаль на кладбищах скота, если солому с крыш, липовые опилки, березовые ветки. Те, кто смог дожить до весны, ели крапиву, лебеду и клевер. Многие уходили семьями в Вологодскую область и в Сибирь. Власти изымали в Яранске и уезде церковного серебра на полтора миллиарда тогдашних рублей и отослали его в Вятку, чтобы купить на них хлеба. На эти деньги можно было купить тридцать одну тысячу пудов муки. Из Вятки прислали три тысячи семьсот пудов. Тем голодным летом двадцать первого года местные любители музыки ставили оперу «Фауст» и шла она в Яранске при полных залах пять раз.

После гражданской войны начали восстанавливать в городе и уезде теперь уже народное хозяйство. На окрестные поля приехали первые тракторы, на нескольких улицах сделали мостовые из деревянных торцов, губсовнархоз выделил Яранску немецкую газогенераторную станцию с динамо-машиной, и появились на перекрестках электрические фонари, осветились школы, больница, часть домов и предприятий. Кстати, о предприятиях. В одном из залов яранского краеведческого музея стоит, прислоненный к батарее, прямоугольный стенд, обтянутый когда-то красной, а теперь уже светло-коричневой тканью. На ткани под девизом об объединении пролетариев всех стран написано большими золотыми буквами «Вождю трудящихся масс Р.К.П. от рабочих серпфабрик яранской организации Вятгубсоюза». Справа и слева эту надпись окружают два уже немного заржавевших серпа. На левом выгравировано «Умер Ленин, но жив ленинизм», а на правом: «Клянемся осуществить его заветы». Под надписью нарисован советский герб, а к земному шару почти незаметными проволочками прикреплены маленький, почти игрушечный серп и такой же детский молоток. Видели бы эти серпы, эти надписи, этот герб и эту золотую пятиконечную звезду братья Носовы, основавшие фабрику...

Можно еще долго рассказывать о создании сапожных, мыловаренных и портновских артелей, о прилете в Яранск первого самолета в тридцать шестом году, об открытии первой радиостанции, школ-коммун, детского сада, о наступлении на трахому, которой почти поголовно болели маришцы, о том, как в двадцать втором году первая яранская сборная по футболу, чтобы сыграть со сборной губернии, пешком пришла из Яранска в Вятку, пройдя более двухсот верст, о том, как она ходила еще раз, но мы этого делать не станем. И артели, и школы-коммуны, и первые тракторы, и детские сады, и наступление на трахому, тиф, рахит – все это было не только в Яранске, а вот ассоциации крестьянских писателей были далеко не в каждом уездном городе.

Состояло в яранской писательской организации около тридцати членов. Правда, некоторые из них имели всего по четыре класса образования. Руководил ими яранский поэт Семен Большаков, взявший себе псевдоним Электрохлебный. Эта ассоциация в двадцать девятом году выпустила иллюстрированный альманах «Первая зелень» со стихами местных поэтов и прозаиков. Авторы альманаха живописали новый коллективный быт, коллективизацию, приравнивали, как могли, перо к штыку и этот штык вонзали в кулаков, попов и недобитую буржуазию, рифмовали рабочую массу с рабочим классом, кулака с толстяком и молотилку с потребилкой. С буржуазией, кстати, поэт Кудрявцев и вовсе обещал расправиться голыми руками. В стихотворении «Союз велик смычкой» он писал «Зарычат буржуи – вырвем им кадык»²⁵. Антирелигиозное стихотворение поэта Рокиной называлось «О погибшем священном осле». Сам Электрохлебный написал стихотворение «Быку и корове песнь моя», в котором рифмовал быка с молоком.

Был в Яранском уезде еще один поэт. Звали его Григорий Чесноков. Он прославился тем, что написал продолжение к поэме Демьяна Бедного «Новый завет без изъяна от Евангелиста Демьяна». В Москве ходил в списках «Ответ Демьяну Бедному», авторство которого приписывали Сергею Есенину, но это был, как говорится, другой Юрий Милославский из Яранского уезда. Стихотворение Чеснокова «Про мужика Ивана Богомольного, про озорника Степана Комсомольного и про новый завет без изъяна евангелиста Демьяна (Комсомольская деревенская была)» было напечатано не в альманахе «Первая зелень», а во всесоюзной газете «Беднота». Демьяну Бедному стихотворение понравилось, и он послал автору письмо, в котором, среди прочего, писал: «Очень хороший сюжет, да еще касается моего завета». Оканчивалось письмо словами: «С высылкой гонорара редакцию потороплю. Какого пока секрет, но достаточного, чтобы купить хорошую корову. Назовите ее Демьянихой. Пусть Ваши ребятишки, если они есть у Вас, вспоминают меня парным молоком»²⁶.

И это не все о двадцатых и тридцатых в Яранске. Еще раскулачивали, обвиняли в шпионаже, вредительстве, антисоветской пропаганде, в том, что скрыли кулацкое происхождение, крестьян-единоличников, колхозников, рабочих, красноармейцев, домохозяек, священников, ссылали на спецпоселение в Архангельскую область, расстреливали и отправляли в лагеря. Среди расстрелянных в тридцать седьмом году по приговорам троек был яранский епископ Нектарий (Нестор Трезвинский), который уже в лагере, на допросе, сказал: «Для меня лестно и горжусь тем, что меня командование лагеря не считает расположенным к Советской власти, ибо для меня было бы хуже смерти, если бы представители НКВД считали: Епископ Нектарий Трезвинский теперь уже наш человек»²⁷.

Потом была война, потом делали для фронта лыжи, сани, лодки, болванки автоматных прикладов, шили белье, меховые рукавицы, тачали сапоги, варили мыло, выпускали помазки для бриты, сапожные щетки, деревянные гребешки, брючные крючки и петли к ним, собирали теплые вещи, продукты, приютили детский дом из Ленинградской области, Кировский педагогический институт, сотни семей эвакуированных из оккупированных областей²⁸, открыли интернат для инвалидов войны. На фронт отправляли продуктовые посылки с мукой, сливочным маслом, мясом, съедобными сухарями, свиным салом, птицей, медом и луком. Землю пахали на быках. Лошади от бескормицы к весне худели так, что в стойлах висели на веревках, и чтобы они не падали во время пахоты, по бокам к оглоблям ставили пристяжными женщин и подростков. У крестьян работа в колхозе начиналась в четыре утра и заканчивалась не раньше девяти вечера. Только после этого можно было работать на своих участках. Из невыбранной осенью картошки вымывали крахмал, который отставляли, сушили и добавляли во все блюда. Какие там были блюда... съедобные ростки полевого хвоща, щавель, лебеда, сжатая по обочинам дорог, лесная малина, клеверные каши, молодые побеги сосен и елок. Дети ловили решетом пескарей. Мыло было для фронта, а сами мылись настоем золы в кипятке в лучшем случае раз в месяц. Школе дали гектар земли, учителя и ученики его засеяли ячменем, собранный ячмень смололи и полученную муку заваривали кипятком. Этим и питались. Школьники писали домашние задания в старых книгах между строк чернилами, сделанными из сажи или свеклы. В начале каждого года в деревни приходили налоговые агенты и подписывали всех на государственный заем. Денег не было почти ни у кого. Кто-то уходил из дому на это время, кто-то прятался, а кто-то продавал выращенное на своем участке, и этими деньгами расплачивался. Начиная с сорок третьего, засеивали дополнительные поля для оказания помощи освобожденным районам.

Потом война кончилась. Построили кинотеатр «Россия», проложили асфальтовую дорогу в Йошкар-Олу, потом, уже в семидесятом, туда же железную, наконец электрифицировали район, заработал мясокомбинат, комбинат хлебопродуктов, построили один из самых крупных элеваторов в России, ликеро-водочный завод выпускал абрикосовую, рябиновую на коньяке, черничную, клюквенную... полтора десятка самых разных настоек, наливок и водок, которые теперь можно найти только в витрине яранского краеведческого музея, птицефабрика ...

Кстати, о птицефабрике. В шестьдесят шестом году птичница местной птицефабрики Валентина Ивановна Шалагина смогла получить от своих кур по две сотни яиц в год. За это достижение ей присвоили звание Героя Социалистического труда. Еще бы не присвоить, если у всех остальных куры в те времена давали около восьмидесяти яиц в год. Теперь-то даже самая обычная курица дает по три сотни яиц в год, а куры некоторых пород по три с половиной сотни яиц, а то и больше. Яранская птицефабрика до сих пор существует. У тамошних птичников бегают по двору более полумиллиона кур. Средняя яйценоскость, как написано на сайте птицефабрики, 80,4 яйца в год. Может, там темпоральная дыра или омут, как любят выражаться фантасты, и в этом омуте до сих пор живут и несутся советские куры.

...с местного аэродрома самолетом можно было долететь в Киров, яранский народный театр ставил новые спектакли, построили школу искусств, швейная фабрика шила рабочую одежду, телогрейки, рукавицы, в шестидесятых годах энтузиастами был организован в городе народный университет, в котором местные и приглашенные лекторы читали лекции на самые различные темы – экономические, международные, о музыке, о живописи и о...

Кстати, об университете. Среди лекционных тем были, конечно, и необходимые вроде «О красоте коммунистической морали» и прочие в том же духе, но более всего заинтересовала меня лекция на тему «Как и о чем мечтать». Теперь таких лекций не услышишь. Нынешней власти наплевать, как и о чем мы мечтаем, а тогда партия и правительство в своей неустанной заботе о советских людях доходили даже до таких, можно сказать, нематериальных тонкостей нашей жизни.

...механический завод ремонтировал тракторные двигатели, выпускал зерноочистительные машины, молокозавод выпускал творог, йогурты, сладкосливочное масло, кефир обычный и кефир «Снежок»... Как хотите, но шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые если и не были золотым веком Яранска, то уж по крайней мере серебряным и может быть даже позолоченным.

Потом, в девяностых, позолота стала облезать, и под ней оказалось не серебро и даже не бронза, а ржавое железо. Стали яранские предприятия одно за другим чахнуть. Зарплату не платили месяцами и даже годами. Механический завод освоил производство водогрейных котлов, ремонт легковых машин и даже ритуальных чугунных комплектов, состоящих из крестов, тумб, оградок и цветочниц... Не помогло.

В довершение ко всем бедам, уже в нынешнем веке объявился в городе один кировский бизнесмен – выпускник высшей школы КГБ и юрист-правовед, в самом начале своей карьеры работавший в Германии. Выпускник школы КГБ, работавший в Германии, это, понятное дело, совсем не то, что выпускник пединститута, всю жизнь проработавший в Йошкар-Оле. Скупил он задешево и яранский комбинат хлебопродуктов, и спиртоводочный завод, и молокозавод, и... буквально за пару лет разорил их подчистую. Набрал больше ста миллионов кредитных денег, якобы на развитие производства, перевел их на какие-то левые счета... Еще и украл тридцать автоцистерн спирта почти на семьдесят миллионов. Удивительно, конечно, не то, что разорил предприятия и оставил людей без работы, а то, что получил за все свои художества девять лет колонии общего режима. Правда, оштрафовали его всего на миллион, а не на ту сумму, что он украл, правда, через два года он уже вышел на свободу, поскольку примерно себя вел в заключении.

В двенадцатом году, когда без работы осталась большая часть работоспособного населения города, жители Яранска собрались в одном из городских парков и записали коллективное видеообращение к президенту, должность которого тогда временно исполнял Медведев. На колени они еще не становились, поскольку тогда это было еще не принято, а вместо того, чтобы умолять, требовали навести порядок и хором скандировали, что хотят жить в Яранске, а не уезжать в поисках работы в другие города. Какой-то древний старик с длинной седой бородой даже спрашивал строгим голосом Медведева, когда он наведет порядок в стране. К видеообращению приложили письмо с двумя тысячами подписей. В ответ на это обращение... Сами догадаетесь, что

Медведев ответил жителям Яранска. От отчаяния стали собирать подписи за проведение референдума о выходе Яранска из состава Кировской области и присоединении к республике Марий Эл. Не собрали, а хоть бы и собрали...

– Чем вы живете? – спросил я в яранском краеведческом музее.

– Ничем, – отвечали мне. – В городе работы нет. Мужчины едут в Москву, Петербург, Нижний, Казань и там работают в охране на строительстве и везде, где могут устроиться. Средняя зарплата в Яранске немногим меньше средней московской пенсии. Еще и походи найди себе работу на такие деньги. В школах, на почте, в администрации и магазинах все места заняты. Зато летом грибов много, ягоды, рыбалка, охота и огороды. Еще и народный театр работает. Ему уже почти шестьдесят, но на пенсию он не собирается. Особенно теперь²⁹.

¹Видимо, от тех марийских времен остался маленький, размером с месячного котенка, деревянный божок с треугольной головой и треугольным носом, тонкими ручками, прижатыми к цилиндрическому тельцу, и разными глазами – один щелочкой, а второй прямоугольником. Я пишу, видимо, потому, что никто не знает, сколько этому божку лет. Принесли его в музей яраничи в пятидесятых годах, и с тех пор сотрудники музея так и гадают о его возрасте, поскольку денег на определение радиоуглеродным или любым другим методом у музея нет и вряд ли в ближайшем будущем они могут найтись. Хотя... судя по отрешенному взгляду этого деревянного кумира, лет ему никак не меньше тысячи.

²Цит. по: Низов В.В. Город Яранск в конце XVI – начале XVII века // Наш край. Вып. 4. Яранск, 2000. С.50.

³Там же. С.51-52.

⁴Цит. по: Любушкина Л. В. От века к веку // Яранск вчера, сегодня, завтра. Краеведческий альманах к 425-летию города. Яранск, 2009. С. 14.

⁵Тарханами в шестнадцатом и семнадцатом веках называли освобожденных за особые заслуги от налогов и податей. Что делали люди с такими привилегиями в крошечной крепости в глухом на оба уха краю – ума не приложу.

⁶Цит. по: Кутюков М. И. Яранск. Киров, 1984. С. 12

⁷Цит. по: Крестьянская война под предводительством Степана Разина. М., 1962. Т.3 С. 232

⁸Цит. по: Гагарин Е. И. Леонтий Лукьянович Шамшуренков. Киров, 2009. С. 12

⁹Там же. С. 23

¹⁰Там же. С. 24

¹¹Читаешь про все это и думаешь – как же повезло Левше, что он просто напился пьян дорогой из Англии домой и быстро умер в Обуховской больнице от чего в России изобретатель еще и великомученик черт догадал Шамшуренкова родиться в России с душой и талантом

¹²Нижеследующее совершенно точно не имеет никакого отношения к истории Яранска, и все же... Черновик своего письма в Сенат изобретатель отдал переписать набело другому заключенному нижегородского острога – Федору Родионову. Тот углядел, что в черновике неопытной рукой племянника Шамшуренкова был перечеркнут титул императрицы. Так бывает, когда напишешь что-нибудь не в том месте, зачеркнешь и начнешь с новой строки. Родионов немедленно донес об этом тюремному начальству, надеясь то ли на сокращение срока заключения, то ли на лишнюю пайку хлеба. Шамшуренкову повезло – донеси его сокамерник о такой помарке на несколько лет раньше, во времена Анны Иоанновны – дело могло кончиться и для Леонтия Лукьяновича, и для его племянника денежным штрафом или битьем батогами. К счастью (вот счастье-то!) в царствование Елизаветы Петровны таким делам ходу не давали, и специальный указ Сената семьсот срок второго года предписывал такие помарки исправлять, а писцов, просителей и испорченные

бумаги в Тайную канцелярию не отсылать. Шамшуренкова допросили, удовлетворились его объяснениями о том, что его племянник «то учинил от неисправного писания крестьянского своего простотою», и дело закрыли. **Поневоле и задумаешься — а ведь мы теперь семимильными шагами в сторону противоположную от этого сенатского указа сорок второго года...**

¹³Цит. по: Гагарин Е. И. Леонтий Лукьянович Шамшуренков. Киров, 2009. С. 32-33.

¹⁴Цит. по: Герцен А. И. Былое и думы. Ленинград: ОГИЗ, Гослитиздат, 1946. С. 159

¹⁵Там же. С.159

¹⁶Шелепов С.Е. Яранская Комиссаровская. Восемнадцатое октября. Йошкар-Ола, 2018. С. 10

¹⁷Там же. С. 6.

¹⁸Здание яранской женской гимназии как стояло, так и стоит на улице Гоголя. Улицу переименовали в честь Николая Васильевича в девятьсот десятом году, а до того она называлась Басурманской потому, что в незапамятные времена в конце ее находилось мусульманское кладбище.

¹⁹В книге о яранской гимназии я вычитал, что в восемьсот семьдесят пятом году туда на должность сторожихи поступила мещанка Жукова и прослужила в этой должности двадцать восемь лет. Обычной сторожихой. Всю жизнь. Представился мне тогдашний Яранск, женская прогимназия, крошечная сторожка, где мещанка Жукова сидела вместе с кошкой Анфисой, давно не беленая печка и закоптелый медный чайник. Ноги у сторожихи отекали. Зимой по ночам было слышно, как воют волки на окраине города. Может, она и выпивала, но не как все сторожа, а самую малость — по престольным праздникам. На Пасху гимназистки приносили ей крашеные яйца и куски куличей, завернутые в синюю сахарную бумагу. Любили у нее сидеть и чай пить вприкуску. У Жуковой и родственников не было, кроме какой-то двоюродной племянницы* в соседнем Царевококшайске. Та уж после похорон приехала, теткин дом продала и укатила обратно. Да там и дом-то был одно название — покосившийся, с гнилыми нижними венцами. Купили его ради земли, на которой он стоял и разобрали, чтобы не мешал строительству нового. Как там у древних... Не была. Была. Никогда не будет.

**Уже после того, как я все это выдумал из головы, Сергей Евгеньевич Шелепов — автор книги о гимназии — написал мне, что в списках учениц Яранской прогимназии 1874/75 уч. года значится мещанская дочь Юлия Жукова. Может, дочь, может, племянница, а может, и просто однофамилица... Мне почему-то сразу стало легче от этого известия. Сергей Евгеньевич еще поискал в своих бумагах и нашел, что в 1904 году мещанка Жукова просила выдать ей единовременное пособие 72 рубля за почти тридцатилетнюю службу сторожихой в яранской женской прогимназии. Выдали пятьдесят... Нет, все же не легче.*

И еще подумалось мне, что хорошо бы поставить Жуковой памятник во дворе того здания, где была гимназия. С кошкой на коленях. И принимать возле памятника в пионеры. Есть памятники учителям, есть ученикам, есть, наконец, кошкам, а вот школьным сторожкам ни одного нет. Тем более таких, которые почти тридцать лет на одном месте. Водили бы к нему экскурсии, терли бы на счастье нос кошки Анфисы... Нет, не поставят. Во-первых, не дадут на памятник денег, потому как сразу вспомнят про неизвестно куда пропавшие деньги на памятник Шамшуренкову, во-вторых, если и дадут, то их... то они... потом и концов не найдут, в-третьих, теперь и пионеров-то нет, чтобы в них принимать. Если честно, то и туристов в Яранске кот наплакал.

²⁰Цит.по: Елена Кожина Ф.Ф. Павленков и Яранск // Наш край. Вып. 4. Яранск, 2000. С. 66.

²¹Дождикова Е.В. Деятельность органов местного самоуправления в Яранске в конце 19 — начале 20 веков // Наш край. Вып. 7. Яранск, 2004. С.42.

²²Там же. С.43.

²³Цит. по: Тимкин Ю.Н. Яранские большевики в 1917–1921 гг. // Яранск вчера, сегодня, завтра. Краеведческий альманах к 425-летию города. Яранск, 2009. С. 14.

²⁴ Цит. по: Гулина Е. Яранский народный драматический театр как феномен культуры // Наш край. Вып. 5. Яранск, 2001. С.64.

²⁵ Цит. по: Сауляк Е. Альманах «Первая зелень» – отклик яранских писателей и поэтов на события первой трети XX века // Яранск вчера, сегодня, завтра. Краеведческий альманах к 425-летию города. Яранск, 2009. С. 147.

²⁶ На этом месте я задумался, полез на сайты, где продают молочных коров, и выяснил, что сейчас хорошая корова (Демьян Бедный советовал купить хорошую корову) стоит около ста тысяч рублей. Некстати вспомнились мне мои гонорары, полученные за стихи... Беспородного хомяка я, быть может, и купил бы на свои гонорары, но корову... да хотя бы козу... Скорее всего, только котенка, которого отдадут даром в хорошие руки. И вообще – напиши я сейчас антирелигиозную поэму, мне бы такую показали корову... В том смысле, что сделали бы козу.

²⁷ Стал я искать списки репрессированных яраничей, и среди разного рода документов попался мне ответ на запрос «О предоставлении информации об объектах памяти жертв политических репрессий», сделанный в четырнадцатом году директором научно-информационного центра «Мемориал» правительству Кировской области. Правительство в лице заместителя председателя сообщает, что в Кировской области этих памятников довольно много, и среди них – памятник Герцену, здание бывшей городской управы, в котором работал Салтыков-Щедрин, дома, в которых жили ссыльные революционеры Бауман, Степанов, Мавромати, Радин, Дубровинский, польские рабочие из Варшавы... и еще десяток имен. Отдельно в списке дом, где жил революционер Дзержинский, и табачная фабрика, на которой он фасовал махорку. Интересно, а если с таким же запросом обратиться к правительству Архангельской области, они тоже внесут в список памятников жертвам политических репрессий дом в Сольвычегодске, в котором жил сосланный Джугашвили?

²⁸ Священномученик Нектарий, епископ Яранский. Его приходы и паства в Вятской губернии. Жизнеописания и документы / Составитель Л. Е. Сикорская. М., 2016. С.318.

²⁹ Читатель моего фейсбучного журнала Ирина Лифшиц со слов отца, эвакуированного из Витебска в Яранск, рассказывала мне, что паспортистка, выдававшая ему новое свидетельство о рождении взамен оставленного в суматохе в Витебске, была очень удивлена и даже озадачена национальностью «еврей», о которой она до этого не слыхала.

– Евреи, евреи... – проворчала она. – Не знаем мы никаких ебреев. Из Белоруссии – значит белорусы.

И записала белорусом. Так ее папа и проходил до конца войны белорусом и только потом переделал документы.

²⁹ Конечно, я хотел написать оптимистический финал. Про тихую спокойную Ярань, про глубинный народ, про древний и вечно молодой Яранск, про светлое будущее, в которое яраничи смотрят в надежде на... Не получилось, хотя и старался изо всех сил.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

ПЕРЕЖИДАЯ ЧУМУ

Бурхан Сёнемез. Стамбул Стамбул: Роман. Перевод с турецкого Михаила Шарова. – М.: Азбука-Аттикус, Иностранка, 2018. – 320 с. – («Большой роман»).

Четверо арестантов сидят в подземной камере, развлекая друг друга притчами и рассказами, позволяющими преодолеть границы замкнутого пространства и вырваться на свободу. Иногда кого-то из этого квартета (Сёнемез дает классический расклад «представителей разных социальных слоев», четырех периодов человеческой жизни – студент, старик, зрелый парикмахер, умудренный доктор, а также четырех темпераментов и чего угодно еще) уводят на пытки, и тогда оставшиеся фантазируют уже вдвоем. Вдвоем. По одиночке.

Грезы узников постоянно уносятся в Стамбул, бесконечный и разнообразный город непреходящей харизмы – умозрительно арестанты гуляют по его улицам и мостам, пьют чай и раки на балконе докторской квартиры, выходящей на Босфор. Они пересказывают байки минувших времен с таким самозабвением и темпераментом, что город встает во всей своей красе сначала перед ними, а затем уже и перед изумленным читателем, смакующим длительное послевкусие.

Понятно же, что главный герой романа – тот самый Второй Рим, до сегодняшнего дня сохранивший чудесное своеобразие (кто не был и не проникался – тот обязательно там будет), и главная задача Бурхана Сёнемеза – найти форму и формулу его магическим амбивалентностям. Герои здесь вторичны и вызваны к жизни детально проработанной структурой: «Стамбул Стамбул» принадлежит к книгам, воспевающим великие города, после которых хочется сразу же броситься за покупкой авиабилета, чтобы как можно скорее оказаться в атмосфере, порождаемой вдохновенным автором.

И тут кроется некоторое противоречие, поскольку «хорошим» здесь оказывается только «внешний» Стамбул – верхний город, населенный страстными, вечно спешащими людьми, тогда как большая часть романа происходит в тюрьме, где людей, вообще-то, пытаются самими что ни на есть изуверскими способами и буквально до смерти.

Конечно, Сёнемез уводит все в демонстративную условность: скажем, нигде не обозначена эпоха действия его книги. Пленники, принадлежавшие к разным революционным группировкам, были выслежены и потом арестованы, а теперь из них выбиваются показания, правда, непонятно какого свойства. Логично предположить, что персонажами Бурхана Сёнемеза стали жертвы последнего неудачного государственного переворота, подавленного Реджепом Эрдоганом с преувеличенной жестокостью, однако «Стамбул Стамбул» написан раньше и намеренно создает такую суггестивную площадку в духе магического реализма, которую, вообще-то, можно пристроить к любой политической или ментальной ситуации. Главное в этой книге – ее намеренная условность, способная, при определенных обстоятельствах, претендовать на статус «правды жизни». А для этого писателю нужно сделать только одно – создать убедительную и гибкую конструкцию, как это и принято в тщательно плетеных-заплетённых текстах неокOLONиального тренда (национальная, богатая этнографией, выделка при четком и неукоснительном следовании европоцентричным жанрам), способную поворачиваться к читателю самыми разными гранями.

Авторская логика очевидна: Сёнемезу нужно остраниться от Стамбула и вывести своих повествователей за его границы для того, чтобы, во-первых, задать произведению дополнительные

внутренние рамы и степени отчуждения, а во-вторых, показать Стамбул глазами людей, от него зависящих и в него бесконечно влюблённых.

Известный и вполне распространенный прием, когда явление показывается не напрямую, но светом, отраженным в глазах людей, им зачарованных. Кажется, нет ничего слаще тяги желания, проступающей в описаниях возлюбленных, сделанных бесконечно в них влюбленными. Особенно в ситуации отсутствия прямой видимости объекта страсти.

С Турцией у нас в сознании происходит странная ментальная ситуация, раскладывающаяся на несколько будто бы непересекающихся полей. С одной стороны, есть Османская империя и Константинополь, существующие в хрестоматиях и учебниках по истории, в музеях и в археологических заповедниках. И это такая-то идеальная территория, Турция-на-небесах, соединяющая достижения культуры и литературы (заслуженный и вполне понятный нам культ Орхана Памука) густой грезой в духе прустовских «имен стран». Когда уже сама фонетика желанных топонимов едва ли не автоматически запускает интеллектуальное слюноотделение.

С другой стороны, есть вполне реальная Турция-на-земле, связанная с поточным туризмом и конкретикой, настигающей отдыхающих россиян (какое число из них знает о существовании великой турецкой литературы?) уже в аэропорту.

Эта Турция-на-земле тесно связана с новостями из информационных лент, существующих отдельно от Турции заоблачной и заочной, а также от Турции золотых пляжей и курортов. Именно здесь постоянно мелькает Реджеп Эрдоган со своими амбициями и авторитарным режимом, кто-то отравляется палёным алкоголем, а Орхана Памука преследуют за признание геноцида армян.

Эти реалии из теле- и радиопрограмм уже не помещаются в головах, забытых избыточной информацией, и мы (я, по крайней мере) воспринимаем такие новости словно бы сведенными к иероглифам: на перемотке, фоном. События в городах и странах, где мы когда-либо бывали, имеют «режим предпочтительного показа», они легче визуализируются личным отношениям к ним, из-за чего изредка даже и достигают нервных окончаний.

Книга Сёнтеза обобщает все эти три поля, связанных с соседским государством, поэтому интереснее всего понять, как это сделано и что на самом деле обозначает. Так как легкая отвлеченность (неконкретность, поэтичность) изложения, помноженная на некоторую высокопарность слога, превращает происходящее в тюремной камере в притчу, ну, например, о силе воображения, способного преодолеть расстояния.

Или же о скорости мысли, пробивающейся через любые преграды, делая людей свободными.

Апофеозом силы воображения и скорости мысли является литература. Люди, запертые в узилище, структурируют жизненное пространство устными рассказами – мы хорошо знаем, как чтение стихов или пропевание опер спасало разум арестантам ГУЛАГа. В «Тюрьмах и ссылках» Разумника Иванова-Разумника есть потрясающие душу описания ежедневных интеллектуальных практик советских заключенных – от чтения лекций лучших медиевистов страны до полного восстановления вслух текста «Евгения Онегина».

«Стамбул Стамбул» делится на десять глав одинакового объема, и это десять последних дней заключения четырех людей, ранее друг с другом не знакомых. Но теперь, силой обстоятельств, они сплелись в единое целое, в том числе и посредством быличек и анекдотов, суфийских легенд, напоминающих то метафизические пируэты Борхеса, а то и дзенские парадоксы Пелевина.

Современный текст должен быть многоукладен (особенно со стороны «страны происхождения»), несмотря на многие слои авторской рефлексии и редакторской полировки. Следуя за Памуком и соседями его по жанру в диапазоне от Маркеса до Рушди, автор «Стамбул Стамбул» складывает образцовый и многосоставный палимпсест, одновременно окликающий массу традиций и дискурсов.

Первая ассоциация, приходящая читателю, подававшемуся на восточный колорит, это, конечно же, «Тысяча и одна ночь», прообраз всех хитросплетенных и сложноустроенных повествований в духе магического реализма.

И совершенно неважно, что Шахерезада ткала свои дозволенные речи с вечера до утра, а арестанты развлекают себя рассказами в основном днем. Ведь сидят же они под землей (да, им все время холодно, они греются соседскими телами и жуют друг другу хлеб, если на пытках кому-то выбивают последние зубы), в крошечной тьме, гораздо важнее сказочный дух, до последнего внушающий надежду на счастливое разрешение сюжета, аранжированного практически ритмизованной прозой. Проводя излюбленные лейтмотивы и повторения (у него ведь всего, от стихий до сторон света, должно быть по четыре) на всех возможных текстуальных и тем более фабульных уровнях.

«Город был разорван на куски, жизнь оказалась бесплодной, люди – испорченными. Каждый день оказывался хуже предыдущего. Как все одинокие люди, она любила романы с хорошим концом. Целостность, утраченную дома, на работе и на улице, она находила в книгах, и противоречия в ее душе примирались. Одна часть ее души была сталь, другая – стекло; одна – слезы, другая – гнев...»

Судя по оговоркам, выстраивая композицию книги, Сёнмез действительно имел в виду сборник арабских сказок, хотя ему гораздо важнее ориентация на традиции европейской культуры. И, чтобы уже до самых рассеянных читателей дошло окончательно и бесповоротно, «Декамерон» Боккаччо упоминается здесь на протяжении практически всей описываемой декады. Повышенная авторефлексия оказывается непрямым условием интеллектуального сегмента *contemporary art*'a, к какому бы виду искусства артефакт не принадлежал.

В середине книги две основных литературных ассоциации (как и культуры, за ними стоящие), «Тысяча и одна ночь», а также «Декамерон», соединяются, подобно Стамбулу, стоящему на берегах двух материков, в единое целое. И окончательно вскрывают прием, подробно описывая собственный метод.

«– Да и сама книга странная. В одном городе началась эпидемия чумы, и несколько знакомых между собой мужчин и женщин решили уехать оттуда, переждать чуму на загородной вилле. Если способ избежать смерти – бегство, то способ убить время – беседа. Десять вечеров подряд, собираясь у камина, они рассказывали друг другу истории. “Декамерон” на древнем стамбульском языке означает “десять дней”, отсюда и название книги. Говорили они о любви и о плотском влечении, обсуждали слухи и сплетни и много смеялись. Заглушали страх перед чумой с помощью легкомысленных историй, среди которых был и рассказ о сбежавшей в пустыню принцессе.

– О сказках, которые рассказывали тысячу и одну ночь, я слышал, а об историях, рассказанных за десять дней, – нет. Почему отец мне о них не говорил? Наверное, просто других историй было много, до этих очередь не дошла?

– Может быть, он тебе их и рассказывал, но не уточнял, откуда они взяты.

– Кто его знает...»

Справедливости ради, нужно сказать, что между сборником «Декамерон» и романом «Стамбул Стамбул» есть пара принципиальных различий. Об одном из них я умолчу, чтобы не испортить впечатление от финала романа, другое заключается в принципиальной разномасштабности анекдотов и легенд, составивших содержание нынешней турецкой книги. Многие из них демонстративно фантастичны и украшены, например, участием животных, тогда как почти все новеллы из ренессансной коллекции можно посчитать, так или иначе, реалистичными.

За исключением одного, совершенно нереального, путешествия из Александрии в Павию, устроенного некромантом султана Саладина, когда мессир Торелло, заплутавший после Крестового похода, за секунду перенесся на родину, чтобы поспеть на повторное венчание своей супруги (предпоследняя новелла десятого дня). Повернув на пальце перстень с карбункулом, мессир Торелло мгновенно оказывается в знаменитой павийской базилике Сан Пьетро ин Чель д'Оро, помимо прочего, ценной для нас как место последнего успокоения блаженного Августина и навсегда утешившегося философией Бозция.

Про фантастику в Павии, впрочем, это совсем уже отдельная история: да, каждая страница «Стамбул Стамбул» набита подобными гипотетическими ответвлениями, способными увлечь читателя в какую-то особенно субъективную сторону. Каждый разворот текста здесь гарантирует крепкие формулировки, так и просящиеся в эпиграф или же в твиттер, настолько они энергичные, емкие и краткие.

Впрочем, куда важнее, что нынешний палимпсест оказывается намеренно разнородным и, что ли, более противоречивым. Среди протагонистов Боккаччо есть прохиндеи, жулики и воры, но нет откровенных злодеев. В трактовке Бурхана Сёнемеза нынешний мир чётко разделен на чистых арестантов со странными, тюркскими именами и нечистых, безымянных тюремщиков со стертыми, серыми лицами, выбивающих персонажам зубы и ломающих им пальцы. Парадоксальным образом, но именно их автор романа величает «настоящими людьми»:

«Человек сделал то, что недоступно другим живым существам, – осознал свое бытие. И возгордился, и возлюбил себя превыше всего остального, даже превыше Бога. Его он не предал забвению только потому, что хотел обрести жизнь после смерти. Собственное бытие стало для него мерой всех вещей. Он губил природу, убивал тварей живых. Придет время, он убьет и Бога. Я и мучителям моим это сказал. Шайтановы отродья. Они вкололи мне в ухо шприц невесть с чем. Голова горела в огне. Хотели добраться до моего мозга. Я боролся изо всех сил, чтобы не сойти с ума. Пытался вырваться из цепей. Бился головой о стену. Они хотели, чтобы я молил о пощаде, а я покрывал их отборной бранью. То стонал, то принимался хохотать. Вы люди, сказал я им, вы – настоящие люди. Никогда не думал, что смогу так страшно кричать. Они макнули меня головой в воду – хотели, чтобы я оставался в сознании, хорошенько чувствовал боль. Работали умело, как хирурги, как мясники. Отыскивали уязвимые места и отворяли врата боли. Делали то, что нужно, чтобы быть человеком...»

Боккаччо спасал своих современников от чумы, Сёнемез отчетливо понимает, что спасти никого невозможно. За века, разделяющие два литературных текста, человеческая природа изгваздалась до самой последней степени падения, и нет таких преступлений и грехов, на которые не был бы готов наш современник.

Ориентальные узоры прикрывают бездонный авторский пессимизм, украшают его, но не способны отменить горькой правды: революционеры «верят, будто человек по сути своей добр и его можно спасти от зла. Они полагают, что эгоизм и жестокость – следствие неблагоприятных условий жизни. Они не видят ада, что царит в душе человека, не замечают, что он жаждет превратить в ад весь мир. Революционеры ищут истину там, где ее нет, напрасно приносят себя в жертву. Человека нельзя исправить. Человека нельзя спасти. Можно только сбежать от него...»

Ну, а сбежать, если верить Бурхану Сёнемезу, можно лишь в мир литературных грез. Я никогда еще не читал такой парадоксальной апологетики изящной словесности, воспевающей книги не от хорошей жизни, но от плохой, когда хуже уже, казалось бы, не бывает.

«Благодаря его стихам я не увяз в болоте желаний. Желание – наш новый бог. Как и прежний, оно старается стать вездесущим и всевластным. Для него нет преград. Но старый бог был фальшивым. Желание, стало быть, – подделка под фальшивку. Если к этому прибавить фальшь, свойственную самим людям, жизнь становится просто невыносимой. Кто может сломать этот порочный круг, кроме поэта? Кто, кроме поэта, способен говорить на языке смерти и вместо безграничности желания обещать людям бесконечность реальности?»

Тюремщики отличаются от всех других тем, что у них нет имен и лиц, а читают они только доносы. И да, кстати, русскую литературу персонажи «Стамбул Стамбул» тоже ведь постоянно припоминают. Почему-то.

Наталья ЧЕРНЫХ

4 + I

В марте-апреле уже хорошо бы писать о новинках 2020, благо они уже есть и греют сердца и руки читателей. Но еще не разобран книжный развал 2019 года, а там есть о чем говорить и что читать. Судя по тому, какой улов принесли мои собственные сети, можно сделать аккуратный вывод: сейчас время негромких, но уникальных работ. Я расскажу о пяти книгах: пять элементов, пять сторон света; где, что и чему соответствует – не скажу. Из книг – четыре поэтических, одна – сборник эссе о поэте, исследование творчества, оформленное как драгоценная цепь превосходных эссе. Три из четырех поэтических книг принадлежат уже популярному «Стеклографу». Издательство продолжает ориентироваться на дебютные книги, хотя у него появились постоянные авторы. Одна книга принадлежит не сдающей позиций «Воймега», и это удивительное поэтическое приобретение. Я пишу намеренно комплиментарно, так как это лучший способ поговорить о поэтических книгах.

Татьяна Данильянц. В объятиях реки. – М.: Воймега, 2019. – 50 с.

Татьяна Данильянц – художник, который пустоты не любит нигде, ни во внешнем, ни во внутреннем пространстве. «Белое», книга стихотворений, вышедшая в ОГИ, в 2006, в очень престижной на то время серии, всплыло у меня в памяти при чтении – при нахождении «в объятиях реки». «Воймега», конечно, оценила в том числе и название (Воймега это река). «Белое» и в «В объятиях реки» рифмуются и по оформлению (по-моему, книга 2019 года выигрывает). О «Красном шуме» не упоминаю специально, так как для меня «Белое» и «В объятиях реки» представляют один гармоничный аккорд. В книге «Красный шум» поэтика все же другая.

Нестандартный формат, обложка белого цвета и пурпурно-фиалковый шрифт настраивают читателя как инструмент, пробуждают его темперамент. И книга того стоит; Владимир Гандельсман говорит о «совершенной гармонии», скрытой в этой книге. Для меня это – характерное для Татьяны Данильянц – поэтическое письмо «белым по белому»; трудное, с повторами-петлями, наброшенными на смыслы. «В стихах Данильянц присутствует именно та умная прозрачность, которая мне близка и нравится. Но вот свет, это искомое белое, он идёт откуда-то ещё, и автор сама подчёркивает это. Свет выявляет сущность слова» (Наталья Черных. Красота свободы. О книге «Белое». TextOnly № 21).

Моя знакомая поэтесса и богослов Ж.С. как-то в переписке употребила слово «евхаристичность». «Снег евхаристичен», – сказала она. Я подумала: а ведь это понятие – евхаристичность – таинственность, благодарность – очень объемное, его можно употребить и к поэзии. Поэзия по природе евхаристична, но в современности мало кто чувствует, что такое – евхаристичность. «В объятиях реки» – книга целиком евхаристичная. Она растет из земли, людей, обстоятельств, –

из чувств, питающих сердце, из его крови. И удивительным мановением в словах идет пресуществление нажитого житейского в текучее будущее. Осторожное и теплое послесловие Владимира Гандельсмана завершает путешествие по священной реке.

мне мешает солнце
обнимать тебя
занавески шторы
и до полной темноты
я и ты превращаемся
в целую величину
твердую скорлупу
в твердь обетованную
я и ты

Петр Лодыгин. Аннафилия. – М.: Стеклограф, 2019. – 60 с.

«Стеклограф» привлекает новинками, и особенно – дебютными. Среди богатой палитры, среди широкого спектра голосов в 2019 я отметила для себя один из нескольких. Новизну трудно объяснить просто (скорее тупо), но в случае поэзии Петра Лодыгина речь идет именно об осторожной и оправданной сложности его немногословных поэтических опытов. Этот свободный стих легко ложится в память, не тиранит когтями сердце, но наполнен особенным ядом, который заставляет читать книгу без отрыва.

Сначала немного о необычном названии. Анафилактический шок, как известно, мгновенная и острая реакция организма человека на определенные вещества, порой с летальным исходом. Если опозитизировать медицинское словосочетание, анафилия это нечувствие (есть такое слово в церковнославянском, оно под стать анафилии как термину); неспособность воспринимать и реагировать, отторжение самого бытия. И однако «филия» это склонность, любовь, почти зависимость. Добавив вторую «н» в первую часть слова и убрав конкретистское «шок», автор создал связь между медицинской, филологической и поэтической областями. Мой выбор этой книги во многом определило ее удачно-игровое название.

Для дебютного сборника шестьдесят страниц – объем оптимальный. У автора есть возможность при составлении показать все имеющиеся стороны своего таланта. В «Аннафилии» (правильно подумали, в основе – женское имя Анна) есть как рифмованные, так и нерифмованные тексты. Это свободный стих, парящий на восходящих токах, эстетично небрежный и довольно изысканный для дебютной книги. О промахах (особенно в области рифмовки) можно говорить долго, но я в начале обзора заявила комплиментарность. Почти все стихотворения посвящены А.Д., что и является «Аннафилией». Анна здесь – чистая витальная субстанция, к которой то восходит стихотворение, то медленно, паря, падает вниз, напитанное Анной. В предисловии Даниила Давыдова говорится о «печальной иронии» этой поэзии, и я в целом согласна. И добавила бы немного о «взрослых играх», которые посерьезнее Мегзита, а происходят с каждым.

быть неуместным значит
более чем не иметь своего места
быть нелюбимым значит
более чем просто быть одиноким

Игровой привкус (или привкус игры, чтобы звучало привычнее) здесь неслучаен; в «Анна-филии» звучит речь оживающего алгоритма; это и речь взрослого человека, почти свободного от иллюзий, и речь романтического юноши. Актеры ищут в характере персонажа конфликт. Критики (и я тоже, хотя я не критик) в чем-то на актеров похожи.

Обложка у «Стеклографа» всегда имеет особенное значение. «Аннафилия» показывает читателю море на заре (вечерней или утренней), полное светящегося планктона. Конфликт солнца и фосфора, жизни и чего-то неведомого после.

Евгений Таран. Распечатка. – М.: Стеклограф, 2019. – 50 с.

Евгений Таран – автор нескольких поэтических книг: «Зерна-звезды» (2001), «Книга улиц» («Воймега», 2014). Это поэт, пишущий скупое, ярко и легко. Иногда эта поэзия действительно тяготеет к «тихой лирике» (как назвала свое предисловие к «Распечатке» Анна Голубкова), иногда к неофольклору, в широком понимании (скорее сетевому). Однако при том, что проанализировать отдельное стихотворение Евгения Тарана (и всю книгу) для филолога особого труда не составит, в этой поэзии остается загадка. Я бы избегала слова «странный» при разговоре об этих стихотворениях. «Распечатка» – название очень точное. Оно выражает и тягу памяти, и сиюминутную нежность, и красоту новизны. Почти к каждому стихотворению в книге можно применить эти определения.

Несколько струн, забытых на старой даче,
Помогут нам в путешествии по крыжовнику.
Как единственный повод вернуться обратно
И по местам расставить бумажные пешки.
Главное помни – возвращаться нужно без спешки...

«Герой и хор. Герой и город. Это тоже единство. Символы прошлого и слова из прошлого (по большей части имеющие отношение к войне) возникают почти в каждом стихотворении. Для меня это яркий признак времени, а именно – середины девяностых. Хаос надежд и разочарований. Время беспечной гибельной свободы и жестокой культурной и интеллектуальной инфляции. Все это в стихах Евгения Тарана присутствует, хотя это стихи не о конкретном времени и даже не о Москве (или Берлине), а топонимы, конечно, есть. Эти стихи подобны эссенции, сильному концентрату, герметично запаянному в сосуд» (Наталья Черных. Пройти по городу. О «Книге улиц» Евгения Тарана. Литература, дек. 2014).

«Бумажные пешки» – это и есть искомая распечатка. Впрочем, тут скрыт красивый перевертыш. Распечатка – это то, что распечатали, с чего сняли печать. Обложка подсказывает: под печатью оказалось сердце города городов.

Ольга Аникина. Кулунда. – М.: Стеклограф, 2019. – 64 с.

Новая поэтическая книга оказалась фактурной (стихи здесь разнообразные по техникам, отчего поэтическая ткань книги словно бы покрыта объемным орнаментом), тихой (и по большей части лиричной), с присущей только Аникиной нервной строгой ностальгией. Если бы я писала исследование о том, как самые характерные качества ушедшей Атлантиды (под грифом СССР) отражаются в творчестве современных поэтов, Ольге Аникиной посвящена была бы не одна глава. Качества эти проявляются не в том, упоминаются или нет кодовые слова или, например, нечто,

указывающее на культурные коды. А в оптике (которая может быть самой современной), которая показывает еще сохранившуюся иерархию вещей.

Прости меня идалго, добрый дон,
мне достаются подвиги с трудом.
мне тяжелы доспехи и копье,
и каторжник, обряженный в тряпье
меня страшит, и у любого ветряка
размах таков, что не поднимется рука.

Композиция книги подчеркнута структурна. В ней три части: «Вместо исповеди», «Стекло» и «Гоморра». Невозможно представить, чтобы, например, последняя часть целиком, с ее настроенным настроением, с глубоко клокочущей яростью, оказалась первой частью книги. Внутри каждой из частей стихотворения расположены (на мой немного замыленный взгляд читателя) в определенном порядке, что автору очень важно. В целом композиция представляет собой цельное высказывание, жест отношения автора к окружающему.

Основной инструмент поэзии Ольги Аникиной для меня – медиумичность. Это голос-глаз, где «я» (четкое и активное) заключено в капсулу, наподобие зрачка, и оно почти не влияет на происходящее. Это не приглушенно-страстная позиция описателя или хроникера. Это холодноватая трансляция (преимущественно увиденного и пережитого, преимущественно с другими: «Петя словно живой ругается на латыни»).

В выборе ритмов и рифм Ольга Аникина (хотя книга включает и опыты свободного стиха, и смешанного, как титульное «Кулунда») именно в «Кулунде» раскрывает ту самую строгую и нервную ностальгию. Это привлекает, как привлекательны молодые ветви на старом дереве. Кстати, обложка этой книги показывает читателю снящийся, немного сумрачный лес.

Зима перебелила города,
Перемолола, перелицевала,
И снова снегом перецеловала
Своих недоцелованных...

Константин Кравцов. Заостриться острее смерти. – М.: Издательство «СТИХИ», 2018. – 150 с., илл. – (Praenomen).

Дата на книге – 2018, но читателю она стала доступна в самом конце 2019. Начиная рассказ об этой книге мне, как бывшему библиотекарю, интересно знать, какая буква будет в ББК (по старинке – в таблицах Хавкиной): К или Н? Константин Кравцов или Денис Новиков? Вот насколько важны для меня обе эти замечательные фигуры современной поэзии. Однако первенство в данном случае за автором, хотя второй код можно сделать и на букву Н, это возможно.

Константин Кравцов как поэт в современном литературном пространстве занимает небольшую, но очень заметную нишу; это поэт-священник, как и Сергей Круглов. Расстояние между их поэтиками космическое, но и сходство есть. Если поэту Константину Кравцову довелось вкусить и вечеров, и премий, и относительного литературного внимания (в смысле рецензий), но о Кравцове-эссеисте говорили настолько мало, что это почти незаметно.

Тем не менее Константин Кравцов – один из лучших современных эссеистов, и я рада, что теперь читатель сможет это увидеть на примере отдельно взятой книги, и о ком! О культовом авторе (как будто это какой-то Ян Кертис!), о печальном светиле восьмидесятых Денисе Новикове!

Что касается самого издания, то «Сибирский Тракт» сделал ход очень амбициозный: открыв новую серию «Граепомен», издательство показало, что намерено создать нишу критической литературы о современных поэтах, конца двадцатого века и нашего столетия.

«Заостриться острой смерти» – строчка из стихотворения Дениса Новикова. Таким образом автор дал прежде своих эссе слово поэту, с которым он на протяжении всех восьми эссе ведет неявную, но все же ощутимую слуху читателя беседу. Кравцов совершенно не стеснен христианской парадигмой, более того: стихотворения Дениса Новикова сами идут к этим эссе, как на встречу со старым другом. Каждое из восьми эссе (книга дополнена постскриптумом) имеет свой характер, свою цель и свой предмет. Разбирать подробно – дело большой рецензии, а не обзора. При чтении – нет ничего лучше, как следить за текучим, свежим, искристым слогом талантливого писателя и отмечать для себя моменты, на которых останавливаешься сам по себе, без всяких манипуляций, чтобы потом вновь броситься в погоню, и автора все же не догнать.

«Он родился в 1967 году от Р.Х. апреля 14 дня в Москве, в актерской семье, и помнил то, что предшествовало рождению: “я дышал в тебе, продышал пятно / и увиденным был прельщен”. Не вспомнил, а придумал по случаю? Можно сказать и так, это вопрос терминологии. Например, для древнего грека *придумать* означало *вспомнить*».

Несколько последних страниц книги на очень плотной крафтовой бумаге предлагает читателю избранные стихотворения Дениса Новикова.

В общем, люди вспомнили, что такое звезды и к ним потянулись. И это хорошо.

Владимир КОРКУНОВ

ТАМ НЕ СТРАШНО

Сергей Синоптик. Нужно зачеркнуть.
– Днепр: Герда, 2020. – 56 с. – («Тонкие линии»).

Когда вводишь в поисковик слова «тоска по мировой культуре», он выдаёт чуть более трёх миллионов результатов. «Стихи после Освенцима» выдают около полумиллиона. «Каждая семья несчастна по-своему» – на двести тысяч больше.

Эти слова больше не работают.

Сочувствие затуплено повторением, и репит травм – белый шум XXI века. Но. До тех пор, пока не взглядишься в почерневшего и, кажется, съёжившегося мальчика или девочку из сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово. Пока не встретишь человека, закрывшего глаза – и ослепшего.

Пока не разглядишь в человеке беженца, живущего в своей и чужой стране.

Я начал рецензию с этих слов, чтобы активировать клавишу stop в голове читателя, потому что книгу, о которой идёт речь, нельзя читать в фоновом режиме.

Она негромкая (и её легко не заметить) – Сергей Синоптик не ставит целью шокировать читателя. Он описывает мир вокруг себя и в себе. Растворяется в нём, расколотым понятно-каким-то (и в биографии приписывает к городу, в котором живёт, столицу одновременно этой и чужой страны).

Находится параллельно в мире до после личного Апокалипсиса (я говорю «личного», потому что нечестно равнять всех, когда хочешь понять одного). Апокалипсиса, возможного только после лобного места, смыслообразующего центра истории, воплощённого в конкретном месте и человеке, после которого история потекла в разные стороны¹.

Сборник «нужное зачеркнуть», как указано на обложке и в одноимённом тексте (он и воплощает расщепление истории, но об этом позже), или «Нужное зачеркнуть», как указано в аннотации, – первая книга Сергея Синоптика.

И первая в серии «Тонкие линии», созданной Станиславом Бельским при днепровском издательстве «Герда». Это билингвальный сборник – 14 из 41 стихотворений в нём (учтём и символику цифр) написаны на украинском языке, остальные – на русском.

Предчувствие распада накатывает (как волны, которых тут много) с первых текстов. Диафильм образов перескакивает от разьединившихся людей: «сколько вокруг таких с красивыми волосами <...> билеты в руках остались <...> прочерк на месте соседнего человека» – к личному расщеплению и резинке, не дающей сбежать: сколько бы ты не пытался, тебя притянет к тому же месту:

<...>

посмотреть на какой остановке
нужно выйти отсюда
закрыться руками от гранатомёта
добежать до бассейна нырнуть
там не страшно
<...>

Этим проникнуто всё. Мотив побега и его невозможность, желание уехать – и ставшие оседлыми перелётные птицы самолётов и поездов («трамвай не будет»), вода как символ усмирённого потопа. С множеством хорошо вооружённых ковчегов вокруг.

Война становится вечной оглядкой *сознания* персонажа. Напрямую её тут как бы и нет, но отголоски – повсюду: с экранов телевизоров, прилавков военторга, вывесок санаториев, путан на блокпостах внутри головы: «столицу блокируют автомойщики и путаны». Не всех, подчеркну, а человека, который болит

¹ Когда-то эту фразу, почти слово в слово, я употребил в рецензии на книгу Андрея Таврова «Дер-

жавин» (Новый мир. 2017. № 6). Но к текстам Сергея Синоптика она имеет куда более прямое отношение.

всеми словами этих текстов, – потому что этот мир одновременно несчастлив и наоборот (и это главный конфликт книги), и в зависимости от человека геометрически растут степени их аверса и реверса.

Кажется, Сергей Синоптик поднял в этой книге на новую высоту *личную*, но *социальную* поэзию. И сказал их так тихо, что невозможно было не услышать. Это даже не шамановская документальность – в текстах Синоптика нет приговоров (и потому они звучат громче нарочитых страданий), речь тут, скорее, как сказал Даниил Гранин о блокаде Ленинграда, – *о ненужных страданиях*.

А страдает всё – от утекающего под воду солнца до песен птиц, от бабушки, которая из нового мира не замечаемой заходит в тот и, кажется, умерла при жизни¹, – до рассвета («то-сливное жёлтое утро») и влажного бриза.

У этих стихов необычайная скрытая чуткость.

Можно ещё сказать про тихие, но яркие, остающиеся по ту сторону радужки глаз, метафоры и образы («ощущения <...> ускользают как жидкая рыба» или «такая зима как будто / прохлады скрипит на губах» и др.), про встроенные в организм поэзии диалоги (например, слова «мы поедem к раздетым оврагам» очевидно рифмуются с набоковским «и весь в черёмухе овраг»), опущенные звенья, резкие переходы и т.д.

Каждая страница распечатки сборника написана вдоль и поперёк.

Я не хочу говорить дальше о её темах, приёмах и сюжетах.

Дело не в спойлерах.

Тому, с кем совпал этот текст (и слова в объятиях цитат), лучше взять первоисточник, тем более он на расстоянии пары кликов: <https://polutona.ru/books/Sinoptik.pdf>

А кому нет, и уже сказанное – трата времени.

Но формат рецензии не приемлет опущенных звеньев, и я должен сказать.

Предчувствие распада, прошивающее две трети книги, неожиданно (вот искомый скачок) рвётся в конце.

Стихотворения из «времени ДО», например:

<...>
я включу радиоприёмник
без него всё как будто не то
без как будто не то
всё похоже на
правду –
и утро
и чистые чашки
<...>

в конце сборника перечёркнуты:

<...>
я включу радиоприёмник
без него всё как будто не то
без как будто не то
всё похоже на
правду –
и утро
и чистые чашки –
<...>

и встроены в другие тексты с надстройками новых словами; вычёркивая прошлое, как будто изымая воздух из воздуха и заменяя его другим воздухом, от которого кому-то становится легче дышать, а кого-то – душит.

<...>
после того как забыты любые слова
зарифованы собранные глаголы
недолгое ничего остаётся с любым из нас
и
запоминает моменты

без которых ничего не произойдёт
не вернётся домой иностранный язык
расцарапанный, как недоспелый

крыжовник

<...>

И человек стоит одной ногой на стираемом мире (это явный континуум), а другой – на за-

¹ «исчез прокишший бульон из холодильника / наверное пока нас не было/ бабушка приходила»

полняющем пустующее пространство. И когда они расходятся, его рвёт пополам.

Вот только.

Он не может выжить в мире энтропии¹.

И не может умереть.

И тогда цитата из Аверинцева обретает новый смысл.

Тут нет смысла пояснять – вы или почувствуете это, или нет.

Это зависит от того, в какую сторону потекла история лично для вас.

Денис ЛИПАТОВ

ОСЕНЬ НА ПАУЗЕ

Григорий Медведев. Нож-бабочка: Сборник стихотворений. – М: Воймега, 2019. – 48 с.

«Нож-бабочка», как сказано в аннотации, – дебютная книга Григория Медведева, хотя сам автор далеко не дебютант в свои тридцать шесть лет и хорошо известен читателю публикациями стихов в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Собственно эти стихи в основном и составили книгу. Всего в книге 37 стихотворений, и разделены они на три части: 11 в первой, 15 во второй и ещё 11 в третьей части. Нож-бабочка появляется в стихотворении «Лето оклеено смертью с изнанки...», завершающим первую часть. Для дальнейшего разговора процитируем его здесь полностью:

Лето оклеено смертью с изнанки.

Чем бы поддеть таким? Нож-бабочка бьётся, вертятся, о фаланги, кожу царапает сплошь.

Это без троек окончить девятый класс и гулять дотемна.

Бабочка, бабочка, как ты не прядай, будешь приручена.

Лязгают узкие крылья стальные, резво взлетают в зенит.

И, нарезая зигзаги шальные, лезвие воздух разит.

– Пересказать, – вопрошаю негромко, – заданной книжки сюжет?

– Незачем, – молвят Алёшка и Ромка, – там ничего про нас нет.

Библиотечный подклеен газетой ветхенький том, не беда.

Бабочка, бабочка, список на лето не дочитать никогда.

Смеем предположить, что это стихотворение является программным для Григория Медведева на данном этапе – ведь книга это, если можно так выразиться, «моментальный снимок» поэта, а поэт продолжает жить и развиваться, и, уверенны, в будущем у него выйдет ещё не одна книга стихов. И потом, не случайно же именно из этого стихотворения появилось и название настоящей книги. Из него, как из зерна, вырастает она вся: её интонация, её поэтика – а это поэтика ретроспекции – её словарь и оптика. Почти каждое стихотворение в книге – это стихотворение-воспоминание. Воспоминание о школьном или дворовом детстве. Поэтому нередки такие, например, обороты с глаголом помнить: «**Помнишь**, как радовались...», «**Помню** школьником был, шалопаем...», «Жил каждый день, но почти ничего **не помню**...», «**я помню**, как он шипел, как медленно он тёл...», «Блуждая в сумрачном лесу, / **я вспомню**, как смотрел с веранды...» и т.д. Или конструкции, обходящиеся без глагола «помнить», но напрямую отсылающие к неблизкому уже прошлому: «Ну да, плоховато жили...», «Я надевал в десятый / топорщившийся, мешковатый пиджак (надевал и залился, / всё ждал, когда дорасту), в котором отец женился / в восемьдесят третьем году...», «Это время уже прошло...», «Это даже не середина жизни...», «Выцветший снимок: школьники у стены...», «пока отгорожен от прочего малолетством...», «Это прабабка моя Наталья в саду...».

В девяти стихотворениях – так или иначе – упоминается школа, в шести – лирический

¹ В исконном значении – обращения, превращения (с греч.).

сюжет развивается из воспоминаний о дворовых, «пацанских» историях (разумеется, нередки случаи, как, например, в процитированном выше «Лето оклеено смертью с изнанки...», когда в одном и том же стихотворении эти «тропы» пересекаются), в четырёх случаях («Это прабабка моя Наталья в саду...», «Облетает с клёнов хохлома...», «Глянцевая бумага, блёкнущие цвета...», «вот уже нам позволено умирать...») сюжетобразующей является ситуация рассматривания старых фотографий. Прочитанные подряд, эти стихи и создают своеобразный монохромный эффект чередующихся черно-белых снимков или даже короткометражного фильма-хроники, а отдельные стихи – это стоп-кадры, попытка поставить фильм «на паузу», чтобы подумать, вспомнить, лучше рассмотреть детали. Стремление это заявлено уже в первых, открывающих книгу строчках:

Август стоит на Яузе,
На невеликой реке.
Осень стоит на паузе
Где-то невдалеке

(«Август стоит на Яузе...»)

Нетрудно заметить, что таким образом в книге развивается архетипический сюжет «изгнания из рая» или воспоминания об утраченном рае – читай минувшем детстве – и хотя сами картинки, сами истории, составляющие эти воспоминания, далеко не всегда идиллические – как, например, в стихотворении «Потому что беспалой ладони...», в котором отрафлексирована ситуация выбора между помощью третируемому одноклассниками товарищу, изгою класса, и заведомо негативной оценкой такого поступка со стороны «остальных пацанов», которые уже отказали ему, – уж таково свойство человеческой природы, что воспоминания эти наполнены сердечной грустью, сожалением об утрате и, в общем, окрашены в тёплые тона. На последнем упомянутом стихотворении хотелось бы остановиться подробнее, потому что история, рассказанная в нём, сообщает книге тот импульс, который делает её не просто механически составленным сборником хороших стихотворений, а именно книгой

с оригинальным замыслом. Сама по себе история, конечно, тривиальна: суть её конфликт личности и социума. Лирический герой отказывает в помощи изгою, потому что сам боится стать изгоем:

Потому что беспалой ладони
мало проку в перчатке, Кирилл
носит варежки, но никого не
допросится, кто б подсобил

из ребят их ловчее натянуть,
в коридорном толчётся тепле,
протирая культяпкой наледь
на стекле...

потому что ладонью беспалой
рукавиц не натянешь, Кирилл
со своей этой просьбой малой
и ко мне подходил.

Герой понимает, что помощь оказать необходимо и просьба-то малая, но он опасается, что «остальные пацаны», которые уже отказали, воспримут это как слабость с его стороны, и его статус в компании, или даже лучше сказать – «в стае», будет поставлен под сомнение. Подобный конфликт, подобный страх – самому стать изгоем – думаю, знаком каждому: ни одно взросление без такого конфликта невозможно. В принципе, желание быть своим среди своих, не отставать, «быть принятым в стаю» – психологически вполне понятно и даже абсолютно нормально. Трагизм ситуации заключается в том, что подчас для этого нужно, доказывая право быть «своим», совершить пусть маленькую, но подлость, отказаться поступить по-человечески. Личность начинается тогда, когда в подобной ситуации человек делает этически верный выбор, не боится идти против мнения «стаи». В стихотворении Медведева лирический герой трусит, делает этически неверный выбор, поступая как все:

Но ведь все пацаны отказали!
Как же мне? И действительно, как?
Оправданья там примут едва ли.
А пока, малолетний дурак,

я друзей на футбольной площадке
нагоняю, машу им рукой
в тёмно-синей китайской перчатке,
но с английской нашивкой «Best boy»

– выбор сделан неверный, но статус – «Best boy» – сохранён.

Сейчас, по прошествии времени, лирический герой осознаёт свою ошибку, и этим всё-таки поднимается над «стаей», становится личностью:

вот когда в смерть отправлюсь я, то в ней
и за тот с меня спросят грешок...

Замечательно то, что «остальных пацанов» герой не осуждает, не становится в позу резонёра, а осуждает, называя «малолетним дураком», он только себя. То есть как личность он вырастает на два порядка: освобождается от влияния «стаи» на свои поступки и при этом не считает себя вправе судить других.

Заметим попутно ещё и такой интересный нюанс: если бы лирический герой стихотворения сделал этически верный выбор и помог беспалому Кириллу натянуть рукавицы, то он стал бы уже не лирическим, а романтическим героем – пошёл против всех, не испугался. Он был бы, конечно, молодцом, но собственно материала для литературы, для прекрасного лирического стихотворения здесь уже не было бы. Такое развитие сюжета было бы интересно разве что для небольшого нравоучительного рассказа для младших школьников. А написать хорошее стихотворение о том, какой вот я молодец, все испугались, а я – нет, или даже пусть и не «я», а «он» – разумеется, невозможно. Выйдет смешно и фальшиво.

Кстати этот конфликт намечается ещё в стихотворении «Лето оклеено смертью с изнанки...» (оно в книге расположено за два стихотворения до «Потому что беспалой ладони...»). Помните, там, на исходе летних каникул, лирический герой, окончивший девятый класс без троек, спрашивает своих дворовых товарищей Алёшку и Ромку, не надо ли пересказать сюжет заданной на лето и, конечно, ими не прочитанной книжки? Но как он спрашивает? *Негромко*. То есть робко. Очевидно, что он ещё не до кон-

ца принят в компанию, не на равных правах с Алёшкой и Ромкой. Повысить свой статус не помогает даже «крутой», раскладывающийся во все стороны нож-бабочка, с которым герой ещё, судя по всему, не особо умеет обращаться, потому что он «кожу царапает сплошь». И тогда герой, чтобы быть хоть как-то полезным, *предлагает услуги*: пересказать сюжет заданной книжки. Замечателен высокомерный ответ Алёшки и Ромки: «незачем... там ничего про нас нет». Ага. Запомним. Мы уже говорили, что лирический герой Медведева, этически поднимаясь над своими жестокосердными товарищами, их не осуждает, не отвергает их. Он их жалеет. Их жизнь так же, как и его, хоть и «будет легка-легка, только с трещинкой посередине, / вроде первого на реке ледка, – / ненадёжна отныне», и может закончиться, в общем, так же легко, как и начиналась:

Из кафешного тёплого зальца
выйти как-нибудь ввечеру,
жизнь легко выпуская из пальцев,
словно пёрышко на ветру.
(«Жизнь будет легка-легка...»)

Собственно, конфликт так и разрешается: свой среди чужих – чужой среди своих – но от общего детства, от общих воспоминаний всё равно не отказаться. Это уже метафизическое родство, потому что роднит нечто совсем не материальное, даже эфемерное, как «опустевший воздух»:

Помнишь, как радовались каждому
кругляку

медному в окиси зеленоватой,
в чёрном налёте, с надписью по ободку
с ятиями и едва различимой датой.

<...>

Зябко в конце апреля, прозрачен сад,
неподвижны яблоня и рябина.
Двое мальчиков молча склонились над
тем, что время к берегу их прибило.

<...>

Что на эти оболочки купим? Вчерашний день.
Ни рябины, ни яблони, только воздух
опустевший, только косую тень
промелькнувших ласточек острохвостых.

В детстве, как известно, почти всё понарошку, всё игра, но ничто не зря. То есть всё урок. Два стихотворения о смерти следуют в книге подряд. Первое – «Жил каждый день, но почти ничего не помню...» – о смерти настоящей, но чужой, и потому вскоре забытой, урок о хрупкости и скоротечности жизни, преподаанный лирическому герою ещё во втором классе:

Жил каждый день, но почти ничего
не помню
Из того времени – только как после звонка
Вошла и, на нас не глядя, сказала: «Ночью
Миша наш умер», – учительница
Валентина
Егоровна – и закрыла лицо руками.
Неправда – второклассники не умирают.

Но оказывается – правда – и второклассники умирают, «не успев таблицу доучить умноженья, / ни Родную – учебник синий – речь до конца / освоить», не пережив самую долгую третью четверть. И хотя эта смерть производит серьёзное впечатление на героя, хотя он даже «наконец-то заплакал», понимая, что «неба и птиц – много, много» Миша больше не увидит, к концу весны она всё же забывается:

Долго я, до конца весны, всё думал о нём:
что за сны ему снятся, видит ли он меня?
Но стал забывать, когда наступило лето
с насекомым царством своим и
муравейным
братством, с крыжовником, с яблоками
такими,
каких у нас не случалось ни до, ни после.

Здесь и ещё один взрослый, если не сказать жестокий, урок – жизнь всё-таки продолжается, со своим «насекомым царством и муравейным братством», с крыжовником, с яблоками, весело идёт дальше, не оглядываясь, и ничья смерть, даже смерть второклассника, не производит на неё – жизнь – ровно никакого впечатления, смерть, оказывается, тоже её – жизни – закономерная составляющая.

Второе стихотворение о смерти – «Хорошо созревает рябина...» – о смерти своей, но случившейся понарошку, но всё равно неотступно

преследующей героя «посмертным мороком» с того самого и до сегодняшнего дня. Здесь всё случается во время игры:

Хорошо созревает рябина,
значит нужен рябинострел,
чтобы щёлкала резко резина
и снарядик нестрашный летел.
<...>
Дружным залпом в атаке последней
понарошку убили меня,
и всё тянется морок посмертный
до сих пор с того самого дня.

Замечательно, что автор использует здесь соединительный союз *и* («и всё тянется морок посмертный»), а не разделительный союз *но* (мог бы написать «**но** всё тянется морок посмертный», но не написал). То есть для лирического героя, применительно к себе, нет противопоставления смерти *понарошку* и смерти *взаправду*. Примеряя на себя эту игру, он переживает её почти как настоящую, конечно без слёз и вообще каких-либо внешних эмоций, как в случае с реальной смертью второклассника Миши, но зато дольше («до сих пор с того самого дня», а не «до конца весны») и болезненнее. Вся последующая жизнь теперь кажется ему «посмертным мороком», он как бы живёт теперь после смерти. Смерть в этой книге, как и осень, словно тоже поставлена «на паузу». Возможно, в такие минуты, благодаря таким переживаниям и появляется поэт со своим ощущением метафизического родства всему смертному. Это ощущение и привносит в книгу сдержанную и сердечную интонацию, тихий, негромкий голос автора, его бережное, даже осторожное, отношение к прошедшему. Нож-бабочка, он, конечно, нож, но всё-таки, как ни крути – ещё и бабочка – а бабочку так легко спугнуть. Этим ощущением обусловлена в книге оптика поэта. Она настроена так, чтобы увидеть, не пропустить любую мелочь: гвозди и черепки, раковины улиток, горстку медяшек, облетающую с клёнов «хохлому», кошку, шурящуюся от фотовспышки, беседку-грибок со скамейкой на школьном дворе и фанерного гнома, ржавую горку, песок, качели, турник на детской площадке, несохнувшие лужи во дворе

и т.д. и т.п. Потому что любая мелочь делает воспоминание вещественным, любая мелочь свидетельствует о том, что тот мир действительно был, и сейчас благодаря тому, что они сохранены, эти мелочи, к нему можно прикоснуться, даже словно переселиться в него на время и побыть там, среди осязаемых вещей, а не бродить в безвоздушном пространстве авторской фантазии. Нет, поэт совсем не просит нас верить ему на слово – он предъявляет вещественные доказательства. Это же ощущение метафизического родства всему смертному не позволяет, например, осудить своих же товарищей и отделять себя от них, а заставляет жалеть их, испытывать к ним нежность и попытаться спасти их от забвения вместе с миром своего школьного и дворового детства. И, например, про «Нож-бабочку» Алёшка и Ромка уже не смогли бы сказать так высокомерно: там ничего про нас нет. Здесь про них есть всё! Эта книга про них и написана.

Логика развития такого замысла, такого сюжета – изгнания из рая, воспоминаний о минувшем детстве – требует от автора ещё и смелости показать, а что же всё-таки выросло? К чему пришли и кем стали Алёшки и Ромки и сам лирический герой. Григорий Медведев не боится сказать и об этом. Вторую часть книги завершает такое стихотворение:

мы выросли и стали мудаками.
мир нас поймал со всеми потрохами,
перефразируя г.с. сквороду.
пришлось идти работать муравьями:*
нас подсчитали, уплотнили, уравнили
и взяли на полставки за еду,
где мы состарились и скоро миновали.
мир нас поймал, мы в мире мировали
и перед сном читали ерунду.

(*обратите внимание, как преобразилось «муравейное братство» из стихотворения «Жил каждый день, но почти ничего не помню...»)

Тут нельзя не заметить ещё и то, что в этом стихотворении поэт чувствует, что в прежней поэтике ему уже тесно. Задача выполнена, мир детства сохранён, книжка, где есть всё про

Алёшку и Ромку, написана. Поэт должен идти дальше. И третья часть книги и есть попытка вырваться за границы уже освоенной поэтики. И хотя и там встречаются прекрасные стихи-ретроспекции (например, такие: «а в сентябре вручную давили сок...», «Две дубовые балки держат над головой / потолок этот жалкий, уголок родовой...», «Яблоня плодоносит лет пятьдесят...»), но в них лирический герой уже смотрит в прошлое из сегодняшнего дня, не ассоциируя себя с тем школьником, которым когда-то был. А на странице 42 мы читаем стихотворение, в котором осень «с паузы снимается»:

Осень. Октябрь. **Торопливо** желтеет
листва. (Выделено мной – Д.Л.)

Время срезает меня незаметно, едва-едва.
И, опадая на землю, за слоем слой,
Я шепчу снегу: укрой, укрой.

В завершающем же книгу стихотворении эта задача преодоления уже освоенной поэтики и смены оптики декларируется поэтом прямым текстом:

Как будто выморгал соринку
И, с оптикой, другой от слёз,
Впервые поглядел всерьёз
Сюда. И всё тебе в новинку.
Уже, смотри-ка, дуб зазеленел,
И комариный князь Болконский зазеленел,
И братья муравейные сутулясь*
Шагают среди трав своих и улиц.
Оставь тяжеловесную печаль.
Она здесь устарела, как пицаль,**
И через раз грозит осечкой.
Не бойся: нас и так прикроют, защитят
Те, что в осоке медленно шуршат
И, легкокрылые, висят над речкой.

(* опять они!

**восхитимся изящной игрой слов: печаль – устарела, как пицаль, как здесь к месту, рядом с печалью эта «пицаль», которая тянет за собой, подразумевает глагол «пицать» и от которого она и взяла себе название.)

Что ж, от всей души пожелаем ему удачи и будем ждать новых книг.

Герман ВЛАСОВ

ВОЗДУШНЫЙ МОСТ ПОЭЗИИ

Игорь Вишневецкий. Видение. Поэма
// **Новый мир. 2020. № 2.**

Есть явления, прямо или косвенно обозначающие свою неслучайность. Кратность световых чисел музыкальным октавам, феномен рифмы – своего рода дежавю, подтверждение правоты поэта, а также иные способы нелинейного восприятия способны расширить диапазон чувствительности до невероятных пределов. Конечно, нужно еще обладать музыкальным слухом и – наверно, самое главное – желанием вслушиваться.

Я говорю это хотя бы затем, что для прочтения огромной (46 журнальных страниц) поэмы Игоря Вишневецкого качества эти читателю пригодятся. Сама рукопись (на ее прочтение, как и предрек автор, ушло три с половиной часа – время перелета) попала мне в руки накануне вылета из Москвы в Венецию, что тоже неслучайность!

Но ближе к делу. Еще в посвящении Сергею Завьялову, вместе с которым Вишневецкий отдал дань памяти теме блокадного Ленинграда, автор начинает выстраивать воздушные пути: «Прими сквозь расстояния, Сергей, / с гор на горах – нематерьяльный свиток...»

Прием воздушных связей, сшивания отдельных эпизодов во времени характерен для поэмы в целом, и если бы не наличие проводников (а их, как и у Данте, будет двое), мы могли бы затеряться в ее калейдоскопе, в зазеркалье Венецианской лагуны и её островов, в ее лакунах.

Уже строфика поэмы (терцины) и разбивка на песни (всего их – 12), а также упоминание о «лучшей, второй половине» жизни отсылают нас к Данте. У Вишневецкого есть свой Вергилий – покойный петербургский поэт Василий Кондратьев, литературной судьбе которого автором поэмы посвящено отдельное подробное

исследование¹. Не вдаваясь в его подробности, обозначу, на мой взгляд, те качества, которые делают его провожатым. Это «проективность», или действие на опережение, стремление говорить не о популярном сейчас, но о том, что, согласно Вишневецкому, было «чрезвычайно важно в прошлом и что будет важно в будущем», которое наступит, «если мы правильно настроим наше сознание»². Это максимализм, а не конформизм; а еще «апелляции к магии <...>, восторг перед непонятным и странным, романтизм и сюрреализм, а также эксперименты с сознанием»³. Для Кондратьева характерно размывание регулярного стиха и автоматическое письмо, зашифрованные аллюзии, одновременное существование героев в нескольких образах и временах. Способность балансировать на грани, а нередко и ступить за нее в конечном счете привела к тому, что Кондратьев, не желая вписываться в шаблоны, стоял в литературе особняком. Подводя итог, можно, вероятно, сказать, что Кондратьев стал звеном между экспериментальной поэзией и прозой 20–30-х гг. прошлого века и экспериментальной российской литературой двух последних его десятилетий, и, кроме того, «создал цельный и крайне своеобразный художественный мир, которому невозможно подражать, потому что такой мир требует предельного опыта в чтении, в писательстве и в жизни»⁴.

Есть в поэме и спутница Леонарда, с которой герой расстается в 75-й строке Песни первой, а затем (после отточия) разворачивается само видение, начало которого в деталях в чем-то схоже со сценой из поэмы «Форель разбивает лёд» М. Кузмина⁵ (особенно начало «Первого удара»): «...в двух километрах, в трех сухим огнем / прочерчивало тонкие зигзаги, / враз освещая сумрачный объем / как бы театра...» Видение – сон во сне: призрачная спутница и

¹ Игорь Вишневецкий. Литературная судьба Василия Кондратьева // Новое литературное обозрение. 2019. № 3 (157). С. 239–267.

² Там же. С. 240–241.

³ Там же. С. 241.

⁴ Там же. С. 240.

⁵ М. Кузмин. Форель разбивает лед: Стихи 1925–1928. – Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929.

Венеция, какую «не увидишь <...> ни при каком / стеченье обстоятельств», ночной вапоретто под синим вторым номером, идущий вразрез расписанию и привычному маршрута – не до Сан-Марко, а в сторону Лидо, но прочь от основных островов лагуны, к другой земле.

Отправная точка видения – остров Джу-декка (пояс 9-го круга Ада по Данте), двигаясь от которой, мы попадаем не в «сумрачный лес», но в воды лагуны – огромное мутное зеркало, всматриваясь в которое, мы переходим от одной сцены к другой. Здесь нет восхождений и нисхождений, нас окружает вода и темнота, что только высвечивает словесную ткань, живые слова и обращение к памяти. Пожалуй, объяснить существование героя в таком измерении под силу одному языку поэзии. «Представь, что грохот, звон / волнообразного происхожденья, / <...> наполнил слух, в иное измеренье / перепорхнул за самые края / того, что только уловенье звука, / и стал объемным, ну, как ты и я, / но не живым», – говорит повествователю Леонарда. Но чем явственнее «недовоплощенность» существования персонажей и «полувстречи» с ними – тем ярче эмоциональный накал изображаемого.

Не ставя себе задачей пересказать весь сюжет, замечу лишь, что сцены здесь подобны иррациональной мозаике: мы видим разбленный Ленинград с летающими страницами обожжённых книг; Энея, покидающего разоренную Трою, кабаре и многое-многое другое. Пожалуй, самая удачная в лирическом плане – сцена встречи с родителями (во второй половине поэмы) в летней беседке под зажженными фонарями: «А над стоящим над столом сосудом / чешуекрылые – они на свет / как будто к пище лакомой из тени / ночной рвались к тем жарким лампам, нет, / опархивали лампы тем мгновенней, / чем можно было запросто сгореть / при слишком близком лёте». Герой волен отпускать тени, завершая их скитания; он вступает в разговоры, отвечает на расспросы или уклонится. Интересный прием: герой должен отвечать на расспросы теней об известных современникам событиях истории – кратко давать свою правдивую оценку. С другой стороны, и персонажи эти часто поданы в окружении, подчас их разоблачающем.

Интрига поэмы еще и в том, что цель появления здесь героя становится понятной лишь к концу действия: ему предстоит – посредством поэзии и при поддержке появившегося Данте – построить мост над потоком кислотной грязи, аналогии невежества и лжи. Задача эта кажется невыполнимой хотя бы потому, что ставилась неоднократно – в потоке видны опоры других мостов, издающих ужасный негармонический скрежет. И такой мост – воздушный и без опор – построить удастся к утру. В финале поэмы герой и его спутники вместе с Данте проходят по мосту до другого берега, где на горе стоит город. Следом за ними, на расстоянии, по мосту уже движутся тысячи и тысячи, совершающие тот же переход. Вишневецкий обращается и к живописи – редкие просветы среди туч открывают небо, какое бывает на полотнах у Тинторетто, а завершается поэма упоминанием двух картин художника – «Тайной вечери» и «Сбора манны», написанных для собора Сан-Джорджо-Маджоре, на острове, соседствующим с Джудеккой. Круг, таким образом, замкнулся. Мы оказываемся в нашем времени, на набережной с видом на апрельскую лагуну.

Итак, мы имеем дело не с подобием незавершенного опыта Кольриджа¹, но с произведением религиозным, относящим нас к жанру «видений» или «хождений по мукам» – о тайнах загробного мира, характерному для литературы Средневековья. В один ряд с ними можно поставить и древнерусский апокриф «Хождение Богородицы по мукам», XII в., а также мусульманское сказание о видении пророка Магомета, видевшего во сне мучения грешников в аду и блаженство праведников. Произведения такого рода встречаются у мистиков в традиции суфизма (Ибн Араби, род. в 1165 году на территории современной Испании)². Как и у Данте, в поэме число строк делится на 3, и даже герой и его спутники со-

¹ «Кубла-хан, или Видение во сне» – поэма Сэмюэла Тейлора Кольриджа. См., например: Kubla Khan: or, A Vision in a Dream (a fragment) // The Poems of S. T. Coleridge, London: Bell and Daldy, 1864. – P. 295–298.

² Подробнее о нем см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ибн_Араби

вершают путешествие вдвоем, наконец, над беседкой-виноградником в степи горят три лампы, что явно восходит к христианской идее о Троице и ее мистическом значении.

Собственно, главная идея поэмы – способность поэтического слова побеждать зло (образ Змеборца неслучаен), преодолевать разделение, наводить мосты между прошлым и будущим без видимой опоры на рациональное. Настоящая поэзия, способная воскрешать мертвых, – под этим понимается не трансгуманизм Николая Федорова, но общехристианская концепция, запечатленная как в европейском, так и русском искусстве. Актуальна ли эта тема для современной поэзии? Пожалуй, что нет – за редкими исключениями она видится нам через закопченное стекло повседневности.

Отдельной удачей представляется выбранный размер (пятистопный ямб), который совсем не кажется архаичным, но напротив показывает свою жизнеспособность и яркость. Впрочем, это удавалось Вишневецкому и ранее – например, в силлабических сонетах и в стихах с использованием древнегреческих размеров.

Елена ЕЛИНА, Александра РАЕВА

ЖИЗНЬ И БИОГРАФИЯ ИСААКА БАБЕЛЯ

Е.И. Погорельская, С.Х. Левин. Исаак Бабель. Жизнеописание. – СПб.: Вита Нова, 2020. – 624 с., 175 ил. – («Жизнеописание»).

Исаак Бабель принадлежит к числу очень известных наших писателей. Любой читающий человек, подбирая ассоциации к этому имени, вспомнит и «Конармию», и Беню Крика, и пару-тройку бабелевских «одессизмов». Пожалуй, и все, если не считать старых анекдотов, в которых обыгрывалась колоритная фамилия. Из многих писателей, получивших известность в 1920-е годы, именно Бабель оказался в тени других литераторов. И несмотря на то, что произведения многих из них совре-

менный читатель узнал только в пору возвращения писательских имен, иные авторы куда более известны и популярны сегодня. Почему так произошло – сказать трудно. Возможно, потому, что Бабель (в отличие, например, от Булгакова) вошел в школьную программу среди тех, чьи произведения изучаются лишь «обзорно». Возможно, это случилось потому, что даже после посмертной реабилитации сочинения Бабея издавались неохотно и всегда недостаточными тиражами. Возможно, причиной ухода произведений Бабея на периферию читательского внимания стал слишком поздний интерес к писателю со стороны специалистов-литературоведов.

Между тем Исаак Бабель с его богатейшим литературным наследием (несмотря на постоянные разговоры о периодах его долгого молчания, разговоры, которые он и сам охотно поддерживал) – это потрясающе интересная, до конца не познанная, тающая в себе множество загадок и – главное – удивительно притягательная вселенная.

Только что вышедшая книга «Исаак Бабель. Жизнеописание» – это первая полная научная биография писателя. Авторы книги – Елена Погорельская и Стив Левин – многие годы занимаются творчеством Бабея. Они известны публикациями произведений Бабея и его писем, комментированием его дневника 1920 года, архивными изысканиями. Из наиболее значимых работ можно выделить составление Е. Погорельской книг «Бабель И. Письма другу: Из архива И. Л. Лившица» (М., 2007), «И. Бабель. Рассказы» (СПб., 2014) и подготовку ею в серии «Литературные памятники» «Конармии» И. Бабея (2018). Именно Е. Погорельская является инициатором и организатором Международной научной конференции «Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век», приуроченной к 120-летию со дня рождения писателя (2014), ответственным редактором одноименного сборника (М., 2016). Среди большого числа работ С. Левина о Бабеле следует особо выделить тему, которой он занимался долгое время: И. Бабель в Саратове; в частности, на страницах журнала «Волга» (1994, № 9-10)

была напечатана его статья «В ослепительном свете вымысла (И.Э. Бабель на Саратовской земле)», позднее наряду с другими работами о Бабеле она вошла в книгу Левина «С еврейской точки зрения... Избранные статьи и очерки» (Иерусалим, 2010). Надо назвать совместную статью соавторов, предшествовавшую рецензируемой книге: «“Во время кампании я написал дневник...” Пространственно-временные координаты в “Конармии” и конармейском дневнике Исаака Бабе́ля» (Вопросы литературы. 2013. № 5).

Попытки создать биографию И. Бабе́ля начались еще более полувека назад (Stora-Sandor J. Isaac Babel: L'homme et l'œuvre. Paris, 1968), однако эти труды либо затрагивают конкретный период творчества писателя (одесский – Р. Александров (А. Розенбойм), последние годы жизни – С. Поварцов), либо приближаются к жанру беллетризованного жизнеописания (Е. Помяновский, Ч. Андрушко, Р. Крумм).

В то же время публикации эпистолярного наследия писателя, мемуаров о нем (здесь не оценим вклад семьи Бабе́ля – его последней жены Антонины Пирожковой и внука Андрея Малаева-Бабе́ля), многолетние архивные разыскания и работы о поэтике Бабе́ля (среди исследователей стоит упомянуть И. Смирину, Л. Лившица, Г. Фрейдина, А. Жолковского, М. Вайскопфа, З. Бар-Селлу, Э. Зихера, А. Яворскую), создали почву для возникновения полной научной биографии, которой и является эта книга.

Огромный печатный труд, представленный Е. Погорельской и С. Левиным (более 600 страниц), – это текст, который не отпускает тебя и держит в поле высокого напряжения. Это происходит потому, что сам герой книги – непредсказуемо сложный автор блистательных литературных текстов и своей собственной судьбы, персонаж сплетен и вымыслов, любимец женщин и надежный товарищ, непревзойденный юморист, легко впадавший в депрессивное состояние, человек, плотно вписанный в контекст породившей его эпохи и принявший новый советский мир, мастер слова, тонко и точно сформулировавший свое отношение к происходящему в двух, порой параллельных плоскостях, – в публичном высказывании и

в текстах, не предназначенных для советской широкой общественности. Читательское напряжение и нетерпеливое ожидание того, что откроется на следующей странице «Жизнеописания», связано еще и с той сдерживаемой, но не сдержанной экспрессией, которую привносят в свое повествование авторы книги. Они не всегда могут оставаться беспристрастными исследователями и вести свой рассказ в манере, принятой для научной монографии. В результате рождается принципиально новое литературоведение с мощным гуманистическим посылом, с нескрываемой любовью к объекту размышлений, с отчаянной болью за него, с трагизмом осмысления последнего года жизни писателя.

Некоторые повороты судьбы Бабе́ля настолько невероятны, что если бы не обильное цитирование найденных и прокомментированных авторами архивных документов, в происходящее трудно было бы поверить. Уже в Предисловии Е. Погорельская и С. Левин формулируют основы своей концепции. Главной сложностью создания биографии Бабе́ля авторы считают склонность писателя к мистификациям, так как соединение факта и вымысла является основой не только его творческого метода, но и бытового поведения. Даже «Автобиография» писателя, как отмечают авторы, не исключение: она содержит ничем не подтверждаемые сведения о службе Бабе́ля солдатам на Румынском фронте, о его связях с ЧК. Прорисовывая узор жизни писателя, авторы определяют свою задачу так: «Мы стараемся также отделить действие в рассказах самого Бабе́ля от реальных биографических событий, в то же время пытаясь проследить, как подлинные события преломляются в прозе Бабе́ля». «Нестерпимой чертой» характера Бабе́ля И. Эренбург считал неистребимое писательское любопытство и скрытность, которые привели к тому, что сам писатель «не может распутать свою судьбу». Эти пророческие слова близкого друга Бабе́ля применимы по сути дела ко всем этапам биографии писателя, включая самый последний, предсмертный, период его жизни.

Ведущая идея авторов просматривается и в структуре книги. Жизнь и творчество Ба-

Бабеля предстают постоянно в сопоставлении с его современниками. Судьба сводила Бабеля с людьми разного круга и положения, с видными советскими деятелями и с русскими эмигрантами, с теми, кто у власти, и с теми, чьи родственники находятся под следствием, с военачальниками и политиками. Все они появляются в жизни Бабеля и оказываются на страницах книги. Их биографии, собранные под одной обложкой, дают объемное представление о сложной и противоречивой эпохе. На страницах книги появляются, говорят, пишут, вспоминают Олеша, Эренбург, Паустовский, Эрдман, Маяковский, Есенин. На документальной основе в книге показано, как Бабелю удавалось войти в жизнь своих собеседников и друзей, стать их любимцем. Отклики Паустовского, Воронского и Федина о значении творчества Бабеля, цитирование Маяковским фразочек из «Одесских рассказов», восприятие Бабелем гибели Маяковского – все это оживляет атмосферу литературного быта 1920-х годов, придает новые, не известные ранее, живые черточки тем, кто делал нашу литературу.

Появляются и постепенно на протяжении многих глав вырастают в центральные фигуры Горький, Воронский и Полонский. С ними Бабеля связывают не только сугубо литературные отношения – писателя и редактора, когда Бабель оказывается одновременно маститым автором и лукавым держателем неотработанных журнальных авансов, но и родство душ. Извилистые линии взаимоотношений Бабеля с людьми, определившими литературный процесс в 1920-е годы, представлены в книге очень ярко и талантливо. В книге показано, что Горького Бабель воспринимал как основного своего защитника и покровителя. Горький по отношению к Бабелю последовательно доброжелателен, нежен, заботлив. Отношение Бабеля к Горькому, как видно из приведенных в «Жизнеописании» документов, было в полной мере отношением сына к отцу: беспредельная любовь, уважение, благодарность за заступничество и... всплески обиды, ревности, неконтролируемого гнева, а потом снова любовь и выражение отчаяния от близкой потери. Значительна приведенная в книге фраза Бабеля,

сказанная им после смерти Горького: «Теперь мне жить не дадут».

Среди тех, кто сыграл важную роль в жизни Бабеля, авторы отмечают его французских друзей – А. Жида и А. Мальро, ставшего поистине близким для Бабеля человеком. Эпизоды их встреч в Париже и в Москве, дружеские ужины, легкое застольное общение – и последняя перед тюрьмой просьба, обращенная к жене, сообщить о случившемся Андрею (имелся в виду Андре Мальро) – по воле авторов книги трогательны и печальны.

Очень мощно прописан в книге Александр Воронский, критик и редактор, «центровой» литературной жизни послереволюционной эпохи. Воронский не только защищает Бабеля от нападок Буденного и тех, кто стряпал ему тексты, литературный критик дает по сути дела первую цельную и неотмененную до сих пор характеристику творчества Бабеля: «Конармия» не устроила оппонентов только потому, что она не укладывалась в легенду о Первой конной, а на самом деле произведение является эпохальным и с содержательной, и с эстетической стороны. Авторы приводят документы из архива «Красной нови», что позволяет восстановить историю создания некоторых рассказов из «Конармии». Вообще в «Жизнеописании» можно найти немало подробностей, связанных с историей создания отдельных произведений Бабеля, с работой над композицией, с причиной перестановки глав, с переименованием персонажей.

В первых главах книги, посвященных детству и юности Бабеля, его службе в Первой конной, сопоставление документов с художественными произведениями наглядно показывает причудливое сочетание предельной реалистичности и точности, свойственной писателю, со свободой художественного воображения. Здесь же авторы представляют удивительные архивные находки. Так, установить тот факт, что в Конармии Бабель был известен не только под своим псевдонимом К. Лютов, но и под настоящей фамилией, позволила справка, выписанная Реввоенсоветом Первой Конной армии о снятии с довольствия штаба армии Бабеля (Лютова). К ним также можно

отнести и копию инструкции по ведению журнала военных действий, в котором Бабель расписался псевдонимом – Лютов.

Глава «В конармии» необычайно интересна, поскольку дает ключ к пониманию характера Бабеля. Стержнем этой главы можно считать исследование дневниковых записей, которые вел писатель. Авторы справедливо полагают, что дневник интересен не только как прототипическая основа рассказов, но он представляет самостоятельную художественную ценность. Для авторов важно, что дневник уточняет принципиальные вопросы биографии писателя: да, он действительно был в гуще боя вопреки домыслам недоброжелателей, да, он действительно хорошо знал конармейскую массу и ее вожakov, да, он не понаслышке наблюдал за бытом конармейцев. И все это давало ему полное право писать свою «Конармию» так, как она написана, – честно и колоритно.

Особенно ценно, что в книге не просто дается текст документа, но нередко печатается его изображение. Семейные фотографии из архива Л. И. Бабеля и А. А. Малаева-Бабеля, документы, рукописи, письма, изображения мест, связанных с Бабелем, редкие фотографии его современников, газетные карикатуры, книжные обложки – все это складывается в уникальную фотохронику жизни писателя.

Стилистической доминантой книги можно назвать полифонизм: обильно представлен не только бабелевский текст (рассказы, письма, дневник, выступления и т.д.), но и воспоминания знавших его, свидетельства современников, щедро цитируются добытые авторами документы. Среди писем хочется отметить адресованные матери, жене Евгении, сестре Марии, и письма А. Г. и Л. И. Слонимам, у которых писатель жил в ранние годы в Петрограде, а в 1920-е нередко и в Москве.

Жизнеописание Бабеля – это биография писателя, «смыслом и способом» жизни которого «всегда <...> была литература». События жизни у него рано или поздно преломлялись в литературных сюжетах и образах. «Уязвленный жестокостью» еврейского погрома в Николаеве, Бабель через все творчество пронесет

сострадание к боли и ненависть к унижению. Отзываясь на потрясения эпохи – войну и коллективизацию, – писатель сохранит, как показывают авторы книги, жадное любопытство к жизни, к людям.

Примеров глубоких и точных наблюдений за творческим процессом Бабеля в книге множество, именно они, как кажется, становятся основой жизнеописания. Особенно хочется отметить два очень разных сюжета: впечатления от яркой пьянящей жизни Парижа, легшие в основу новеллы «Улица Данте», и наблюдения, почерпнутые во время продовольственной экспедиции С. Малышева, соединенные с более ранними, юношескими, впечатлениями от Саратова и немецких колоний на Волге, из рассказа «Иван-да-Марья».

10 месяцев (с октября 1915 до августа 1916 года) Бабель с эвакуированным Киевским коммерческим институтом провел в Саратове. Вместе с другими студентами будущий писатель спал на нарах, построенных в аудиториях Консерватории, где расположился институт. Как видно из текста книги, Бабель и в этих суровых условиях приобщался к культуре и постепенно накапливал писательские впечатления. Он ходил в театр, видел игру знаменитого Слонова, не пропускал встреч с приезжающими в Саратов писателями – Бальмонтом, Северяниным, Сологубом, слушал концерты Глазунова, Гречанинова, Рахманинова, не раз ездил в Покровск и Баронск, изучал жизнь немецких колонистов. В Саратове был написан рассказ «Детство. У бабушки», напечатанный только в 1965 году.

В книге Е. Погорельской и С. Левина можно найти интерпретацию фактов, мало известных современному читателю. Так, например, захватывает история редактирования и составления Бабелем трехтомника Мопассана, работа писателя с переводчиком, его собственные переводческие работы, его великолепное знание французского (достаточно вспомнить блестящую импровизированную речь Бабеля на заседании антифашистского конгресса в Париже). Выразительно написаны страницы, посвященные Бабелю-кинематографисту. Основываясь на мемуарах Г. Александрова, авторы

повествуют о роли Бабеля в создании сценария кинофильма «Цирк».

Отдельная тема книги – семейные дела Бабеля. Авторам удастся написать об этом тактично и строго, не давая воли домыслам и эмоциям. Приводя массу документов и свидетельств, авторы книги показывают душевный надрыв Бабеля, связанный с чувством непродоходящей вины перед сыном и невенчаной женой. Отчаянный по природе человек, Бабель здесь выглядит нерешительным, робким, страдающим.

Авторы книги создают замечательные портреты любимых бабелевских локаций: Одесса, Марсель, Париж, Киев... Это города, оставившие мощный след в жизни и творчестве писателя. Это города, с каждым из которых у Бабеля был свой роман и топография которых откликнулась в сердце писателя неповторимыми художественными открытиями. Запоминается признание Бабеля в своих чувствах к родной стране, приведенное в книге: «Здесь бедно, во многом грустно – но это мой материал, мой язык, мои интересы... Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь». И в другом месте: «Я отравлен Россией». Вот такого человека, сообщающего о своих патриотических чувствах не с высокой трибуны, а в письме к маме, обвинят в шпионаже и расстреляют.

Неожиданные черточки характера Бабеля приоткрывают авторы книги, когда пишут о новой волне шельмования «Конармии» со стороны бывшего руководства Первой конной. Вместо огорчения и попыток публично оправдываться Бабель высказывает удовлетворение происходящим, полагая, что скандал вокруг известного текста способствует читательской популярности. Во всем здесь видна неосмотрительность героя книги, его уверенность в завтрашнем дне, он не допускает мысли, что может оказаться среди отправленных в места не столь отдаленные. Он верит в свои связи с государственными чиновниками высокого ранга и дружбу с чекистами, он верит в свою популярность и международный авторитет. Моральные принципы писателя не позволяют ему прервать отношения с Воронским после исключения его из партии и снятия с поста

редактора. И эта вера в свою звезду делает его абсолютно беззащитным перед случившимся. Между тем, как следует из «Жизнеописания», Бабеля подвергают суровым проработкам, фабрикует его антисоветское интервью, заставляют оправдываться. Эти оправдательные выступления постепенно формируют Бабеля реноме образцового советского писателя, и это придает ему еще большую уверенность в том, что его-то точно не тронут!

Авторы книги подробно останавливаются на поездках Бабеля в украинские села «смотреть коллективизацию», на Донбасс, где он, несмотря на застарелую астму, спускается в шахту. Здесь масса подробностей, конечно же, основанных на архивных источниках и первых публикациях. Любопытно замечание Горького по поводу досужих разговоров и признаний самого Бабеля о долгих периодах его творческого молчания, приведенное в книге: «Бабелю – не верьте, выдумывает. Он – умница и отличный человек, его проницательный талант я люблю горячо... И никого он не боится, он – себя боится, вот что! Ему надобно сделать какой-то решительный шаг, вот он и покачивается, еще не решаясь. А – сделает, увидите». Что имел в виду Горький: долгие перерывы в публикации новых книг, сомнения самого Бабеля – а стоит ли написанное пускать в свет – кто знает. Известно, что Бабель не раз встречался с Горьким. В книге опубликованы факты, свидетельствующие о том, что Бабель подолгу гостил у Горького. Не исключено, что утверждение Горького о нерешительности Бабеля связаны с какими-то личными переживаниями писателя.

Противочувствия, одолеваящие Бабеля во второй половине 1930-х годов, выразительно прорисованы в книге. «Дух бодрости и успеха», который отмечает Бабель как главную черту жизни в советской стране на очередном историческом этапе, им же отрицается в множестве неофициальных высказываний, записанных за ним и друзьями в Париже, и недругами в Москве. Открытость Бабеля, его вера в узы товарищества постепенно губили его: то он иронически высказался по поводу излишней парадности Первого съезда советских писателей, то прошелся острым языком в связи

с разгулом массовых репрессий, то подпустил иронию в оценках Сталина. Авторы книги, уверенно ведя повествование, обращаясь все к новым и новым документальным свидетельствам, строят целостный образ писателя, попавшего, как и многие другие, между молотом и наковальней – ясность и непоколебимость его представлений о стране постоянно наталкивалась на чудовищную жестокость, цинизм, коварство, непоследовательность.

В последних главах книги, когда степень жалости к Бабелю достигает апогея, а осознание сложившейся ситуации перестает поддаваться человеческой логике, авторы иногда пользуются своим правом рассказчиков и интерпретаторов, позволяя себе чуть-чуть скорректировать ту или иную ситуацию. И это иногда выглядит спорно. Так, например, когда в одном контексте сталкиваются жесткие оценки, данные Бабелем проходящему съезду писателей, и яркая речь писателя на съезде, в которой нашлось место восхищению стилем Сталина, авторы замечают: «...нельзя не прочесть между строк о вещах, действительно волновавших его: насаждение метода социалистического реализма в советской литературе и возникающие в связи с этим проблемы в собственном творчестве» (с. 430). Такое утверждение кажется натяжкой, поскольку мы имеем дело с двумя разными типами высказывания – речь на публику и сугубо внутренняя, не предназначенная для чужих ушей, речь. «Между строк», конечно, многое можно прочесть, но в рецензируемой книге в абсолют возведен документ, и это единственно возможный путь для научного жизнеописания.

То же видим и по отношению к высказываниям Бабеля во время кампании против формализма. Как пишут авторы книги, Бабель в своих выступлениях уходит от политических вопросов, оставаясь в рамках сугубо эстетических. Но когда Бабель говорит, что советские люди только недавно овладели грамотой, и начинать чтение с Джойса или Пруста невозможно, разве это не была политика? Разве эти слова не воспринимались как полная поддержка власти в борьбе с формализмом? Собственно, борьба-то эта и велась строго в эстетических,

а не в политических рамках! Но что могло в 1930-е годы в советской стране не иметь политической подоплеки? И если бы всех или почти всех участников дискуссии спустя пару-тройку лет не арестовали, можно было бы говорить об эстетическом характере отдельных выступлений. Но это была политика, и только она.

Безусловно, еще одним главным героем «Жизнеописания» становится Антонина Пирожкова. Авторы книги подчеркивают удивительное обаяние этой красивой женщины, «технаря» по образованию и работе, при этом незаурядного литератора, публициста, мемуариста, публикатора. Страницы, касающиеся ареста Бабеля, долгих лет ожидания его из лагерей, переживания по поводу странной информации (Бабель жив, его видели, он работает счетоводом, пьет чай с начальником лагеря), которой очень хотелось верить, создают образ великой женщины, советской декабристки, несломленной, любящей, исполняющей трагическую миссию – быть женой и вдовой великого человека.

Именно мемуары А.Н. Пирожковой, а также материалы книги С.Н. Поварцова «Причина смерти – расстрел» и статьи В.С. Христофорова «Документы архивов органов безопасности об Исааке Бабеле» легли в основу последней главы «Жизнеописания» – «Не дали закончить». Не дали закончить Бабелю, судя по косвенным свидетельствам, его новую книгу рассказов. Однако в этой фразе, по существу последней из сказанных на воле, читается напластование множества метафор, рожденных в сознании писателя. В этих трех словах кроется не только подведение печального итога многолетнего писательского труда, но и крик души человека, за которого кто-то решил, и этот кто-то вторгся в святая святых – в творческий процесс, в область, окутанную тайной, в сферу, в которой писатель должен оставаться один. Авторы книги постоянно подчеркивают, что Бабель очень мучился в периоды творческого кризиса. Это был всякий раз род болезни, физического недомогания. Он настолько казнился «неписанием», что на первом же допросе причину своего ареста объяснил творческим бессилием. Эти факты, приведенные

в книге, поражают воображение. Писатель с такой блестящей и вполне успешной для советской страны творческой биографией, автор книг, изданных и переизданных в СССР и за рубежом, всерьез считает себя виноватым в том, что не выдает на-гора новые и новые сочинения. Вероятно, это было связано с общей тенденцией, сформировавшей отношение к писательскому труду и не раз провозглашенной с высоких трибун: писатель – тот же ударник советских пятилеток, тот же пролетарий, который обязан трудиться постоянно и без отдыха на благо советских читателей. Бесконечные встречи писателей с читателями, проходившие в формате писательских отчетов, распространение понятия «литературные спецы» указывало на то, что писательство – то же ремесло. Журналы и газеты охотно печатали письма читателей писателям, эти читательские обращения носили нередко панибратский характер и были написаны в развязном требовательном тоне. «Писатели (литература) в долгу перед народом» – идиома, рожденная и утвержденная в 1920-30-е годы. Вероятно, комплекс писателя, не выполняющего свои производственные обязательства, владел и Бабелем.

Читать последние разделы книги невозможно без боли и содрогания от той нелепицы, нагромождения случайностей, коварства, бескультурия, жестокости тех, кто решал судьбу большого писателя. Авторам «Жизнеописания» удалось достичь содержательного и стилового накала в изложении и интерпретации последних лет, месяцев и дней Бабеля. При всем своем умении мыслить аналитически, укладывать эпизодические факты в строгую систему, при всем своем глубоком понимании общей ситуации и характера вождя Бабель, как пишут авторы книги, оказался не готов к предстоящему аресту. Достаточно сослаться на текст «Жизнеописания», где названо огромное количество документов, обнаруженных дома и на даче у писателя. Записные книжки, рукописи, обширнейшая переписка – все это было арестовано вместе с хозяином. Судя по всему, Бабель не готовился к аресту, не уничтожил рукописи, не спрятал их у знакомых. И если тюремное дело Бабеля найдено и история по-

следних 9 месяцев его жизни полностью воспроизведена в книге, то судьба изъятого во время ареста архива писателя неизвестна.

Авторы с горечью констатируют, что сильные мира сего, на которых мог надеяться Бабель, один за другим либо впадали в немилость или сами оказывались репрессированы. Имя Бабеля все чаще мелькает в донесениях ОГПУ – НКВД. По этим доносам видно, что писатель недоумевал, откуда берется покорность тех, кто ожидает ареста и тех безвинных, кто признает свою вину, он с горечью говорил о массовых политических процессах, о нарастающем расхождении между словом и делом на уровне государственной власти. Тем не менее на фоне массовой поддержки писателями политических процессов и арестов Бабель тоже не остается в стороне и пишет «Ложь, предательство, смердяковщина» – заметку о справедливости возмездия. Кажется, текст этот мало чем отличается от других подобных текстов: тот же разоблачительный пафос, то же выполнение заказа, тот же дух эпохи. Между тем и здесь авторам «Жизнеописания» показалось важным вывести Бабеля из-под критики уже сегодняшнего читателя и сослаться на более, чем у коллег, спокойный, без истерии тон заметки. Представляется, что такая защита из будущего вряд ли нужна. Степень страданий, принятых Исааком Бабелем, безмерна, и это главное оправдание его человеческих слабостей или даже кажущейся неправоты.

Авторы книги вводят читателя в страшный мир последнего пристанища, в котором доживал и продолжал, как мог и как понимал это, бороться за свое человеческое достоинство замечательный русский писатель. Особенно впечатляет поведение Бабеля во время скорого и беспощадного, без вариантов приговора, суда. Он требует вызова свидетелей, допуска защиты, ознакомления с делом. Он отрицает свою вину и отказывается от показаний. Он ведет себя так, будто находится среди людей, имеющих представление об элементарном правопорядке. Кажется, что он верит в возможность торжества справедливости. Но Бабель, как и тысячи других невинно осужденных на казнь, не знает о новых правилах судопроизводства:

признания подсудимого и есть основное доказательство вины. Все это настолько ужасно и нелепо, настолько не вмещается в сознание масштабом абсурдности происходящего, что, зная ответ, мы до 541 страницы продолжаем надеяться... Но ровно 80 лет назад жизнь Бабе-ля была насильственно оборвана, «закончить» не дали.

Посмертная судьба писателя, как показывают авторы книги, тоже исполнена неясностей и мистификаций. Сплетни и слухи, которые сообщали семье писателя, давая надежду на скорое его возвращение, – часть той же самой безжалостной машины, которая уничтожила Бабе-ля. Нравственные силы А.Н. Пирожковой, терявшей мужа постепенно, на протяжении нескольких лет, вплоть до официального (тоже фальшивого) сообщения о его гибели, достойны восхищения и преклонения. После пережитого вдова писателя сделала неимоверно много для возвращения имени и произведений Бабе-ля в отечественную литературу. Она и потомки писателя фактически открыли новую страницу в публикациях и исследованиях творческого наследия Бабе-ля. Вот почему авторы с благодарностью посвящают свою книгу памяти Антонины Пирожковой.

Радостно сознавать, что и авторы рецензируемой книги – Е. Погорельская и С. Левин тоже немало потрудились на благо науки об Исааке Бабеле, прежде чем взялись за такую объемную работу, как «Жизнеописание». Кропотливый сбор документального материала в архивах многих городов, просмотр de visu тысяч журнальных и газетных страниц, научных изданий и мемуаров, дневников, писем, записок и заметок Бабе-ля и его современников – все это необходимо предшествовало разработке, проверке и изложению авторской концепции, стройной и убеждающей. Авторам книги удалось, облекая исследование в формы сдержанного и лапидарного изложения, «впустить» в текст некую толику экспрессии, позволившей представить героя книги человеком любящим, страдающим, остроумным, желчным, ехидным, нежным, влюбленным, разочарованным, испуганным, надеющимся и верящим – в общем живым. Е. Погорельская

и С. Левин, несмотря на стремление Бабе-ля «утаить правду», сместить жизненные факты и события, в общем запутать своего биографа, смогли создать полноценную и выверенную научную биографию одного из крупнейших писателей России.

«Исаак Бабель. Жизнеописание» на многие годы станет важнейшим импульсом к новым работам о писателе, источником сведений о литературной эпохе 1920–1930-х годов, ключом к пониманию драматически непредсказуемого и неимоверно сложного положения советского литератора. Прочитанная книга долго не отпускает, еще и еще раз переживаются подробности жизни и судьбы Исаака Эммануиловича Бабе-ля, хочется вернуться к страницам биографического повествования и увидеть молодого и озорного человека, врывающегося в новый литературный мир со своим самобытным языком и непревзойденным всегда узнаваемым стилем. Авторы рецензируемой книги подарили читателю вот такого, действительно живого Бабе-ля.

Сергей БОРОВИКОВ

ВЕСЁЛЫЕ ПОМИНКИ

Геннадий Красухин. Мрамор и глина. Из литературного календаря современных писателей. – М.: Зебра Е, Галактика, 2020. – 664 с.

Автор так предваряет книгу: «Почти пятьдесят лет я работал в печати. Кроме того, преподавал в Литературном институте и в Московском педагогическом государственном университете. В Союз писателей был принят в начале семидесятых. Многих литераторов знал лично. О них, своих современниках, я и рассказываю в этом своеобразном календаре.

Разумеется, мои персонажи не равноценны – ни художественно, ни нравственно. Одни, возможно, достойны мраморных памятников. А на некоторых я и глины бы пожалел».

А в конце книги есть именной указатель. Не знаю, считал ли сам Красухин число сво-

их персонажей, но я не поленился: 278! И это только писатели или авторы публикаций, а не просто упоминаемые в книге, скажем, Хрущёв или Брежнев.

Не всех писателей автор знал лично, есть в книге и Булгаков, и Эренбург, и Симонов, чьи даты пришлось на календарь, но большинство это те, с кем автор если и не дружил, так общался. Полвека в столичной литературной печати, а стало быть и тусовке, это вам не кот начхал.

Допускаю, что иной читатель, заметив, что известных литераторов Красухин независимо от их возраста часто именует Петями и Стасиками, и даже Леонид Генрихович Зорин для него – Лёня, может заподозрить моего друга в некотором фанфаронстве. Но ведь и сам он на пороге восьмидесятилетия остаётся для многих Геной, с которым я знаком с 1972 года.

Начну с замечания.

Вспоминая литературных должностителей, Красухин подытоживает: «была огромная жизнь». Не согласен: по моему убеждению, «огромная» приложимо лишь к жизни только яркой, замечательной, а не наполненной интригами, предательствами и доносами. Считаю, что не огромную, а просто долгую жизнь прожили (иду по Указателю) М. Алексеев, С. Бабаевский, М. Бубеннов, Н. Вирта, А. Иванов, Е. Исаев, Г. Климов, В. Кочетов, Ф. Кузнецов, А. и Г. Марковы, Н. Палькин, П. Проскурин, Р. Самарин, С. Сартаков, В. Смирнов, А. Софронов, А. Сурков, В. Федоров, Ф. Чуев.

Начинается книга энергично, с ресторана ЦДЛ, где поэт Анатолий Жигулин, много плохого от советской власти претерпевший, пытается побить любимца этой власти поэта Василия Фёдорова, за то что тот «пустил сплетню, что Жигулин сидел не по антисоветской, а по уголовной статье: был якобы заурядным карманником». Не успевает, потому что, «отодвинув Толю со словами: “Это тебе за моего друга, пада!»», друг Жигулина и тоже поэт Павлинов «ударил Фёдорова в лицо с такой силой, что тот покатился по залу и недвижно затих у чьих-то ног».

Подобных историй в книге немало, но не стоит думать, что вся она из них и состоит. А вот с юмором у Красухина всегда порядок.

Автор связан жанром календаря, отсюда и вполне нейтрально-справочные тексты к иным датам, что мне понятно, т.к. сам в 2001-2002 году заполнял аналогичную рубрику «Хронос» в журнале «Общественное мнение», которая доставляла немало забот. Готовится номер такого-то месяца, а подходящей круглой даты к нему нет, вот и изворачиваешься.

А часто Красухину удаётся из ничтожнейших фигур извлечь специфический союзписательский смысл. Поэт Игорь Ляпин находится в именном списке между Исидором Маклярским и Алексеем Лосевым, который пояснений не требует, а крупный чин НКВД Маклярский был автором сценариев культовых для своего времени фильмов «Подвиг разведчика» и «Ночной патруль». О заслугах Игоря Ляпина написал его идейный единомышленник старый литературный интриган А. Байгушев: «Ляпин – прекрасный русский человек. Он много успел сделать. Но один в поле не воин. Еврейское лобби его постоянно ело поедом, а поддержки сверху было ноль. Так мы не сумели “обрусить” еврейскую “Детскую литературу”».

Ну, и хрен бы с ним, с этим Ляпиным, которого я тоже знал – антисемит-стихоплёт, каких было много, но у Игоря была в биографии важная отметина – женитьба на дочери столь же бездарного, но секретаря правления СП СССР по издательствам Сергея Сартакова. А что это тогда значило, на живом примере показывает Красухин. Когда в ЛГ по его раз делу автор статьи о «Дне поэзии» с насмешкой отозвался о стихах сартаковского зятя, Чаковского «тут же позвонил Марков и устроил скандал». И газета вмиг поместила извиняющуюся реплику.

Вот ещё славный эпизодик.

«Не знаю, забыт или нет сейчас смоленский поэт Николай Иванович Рыленков, скончавшийся 23 июня 1969 года (родился 15 февраля 1909-го). Я не о читателях говорю. Наверняка большинство из них о нём даже не слышало. В апреле 1968 года я поехал в гостиницу “Россия”, где остановился Николай Рыленков. Дело шло о какой-то его статье: что-то в ней не удовлетворило начальство “Литгазеты”, и я её сильно переписал. Теперь требо-

валось согласие автора, который выразил желание прочитать гранки, но сказал, что слегка простужен, приехать не может и лучше, если я приеду к нему с лекарством.

– С каким лекарством? – не понял я. Рыленков хмыкнул:

– Плачу я. Просто не хочется переплачивать: в ресторане оно стоит дороже.

Я понял.

Явился к нему с двумя бутылками водки. Но на стол поставил только одну: поэт явно уже был разогрет.

Гранки Рыленков подписал, не читая.

Не успели мы закусить очередную порцию, как в дверь по стучали.

– Это Женя, – сказал, поднимаясь со стула, Рыленков, – входи, дорогой!»

(Это был любимый автор журнала «Волга» в пору редакторства Н. Палькина критик Евгений Осетров. – С.Б.).

За выпивкой заходит речь о поэме «Василий Тёркин».

«– Очень сильная, Коля, вещь, – убеждённо ответил Осетров, – выражающая душу русского крестьянина. А что сейчас?

– А сейчас, – сказал я, – “Из лирики этих лет”. Великая книга.

– Великая? – вскричал Осетров. – На уровне “Василия Тёркина”?

– По художественной силе – на уровне, – ответил я. – Помните “Памяти матери”? А “Перевозчик-водогребщик”?

– Неплохие стихи, – согласился Осетров. – Но на них лежит ответ нынешнего окружения Твардовского.

– Сионистского, – уточнил Рыленков.

– Да, – согласился Осетров. – Не поддайся Твардовский этим своим сионистам в “Новом мире”, ему бы и сейчас как поэту цены не было.

– Почему именно сионистам? – удивился я. – Кто именно в “Новом мире” сионисты?

– Вот так вопрос! – Осетров изумлённо развёл руками. – Да вы откройте справочник Союза писателей и проверьте имена-отчества авторов, допустим, критического раздела журнала Твардовского. Там давно уже сформировалось сионистское лобби.

– Крепкое, – подтвердил Рыленков, – сплошное, продвигающее друг дружку! Кстати,

вы недавно в “Литгазете”. Заметили, наверно, сколько там сионистов? Неудивительно, если во главе стоит Александр Борисович Чаковский. А он...

– Он не сионист, – сказал я, – он еврей».

Еврейская тема, естественно, постоянна в книге. И, как правило, даже в заигранных сюжетах вроде дискуссии о литературных псевдонимах, Красухин оригинален: «Меня всегда смешило, что Иосиф Яковлевич Сиркес взял себе псевдонимом знатную боярскую фамилию. Понятно, из чего исходят люди, когда берут себе псевдонимы: Горький, Голодный, Бедный, Приблудный. Даже Светлов и Жаров. Но Колычев – это чуть ли не объявить себя претендентом на русский трон».

Есть и о саратовских писателях.

«Густой едкий дым вранья поднимался от рассказов о себе хорошо прикормленных советской властью писателей» – так начинается рассказ о проделках Михаила Алексева. Вспоминает Красухин, с небольшими неточностями, и историю со снятием с «Волги» Николая Палькина.

Что до Григория Коновалова, то не стоило бы столь категорически утверждать, что тот был не писателем, а только членом Союза писателей. Нет, недаром некогда сам Бабель оценил талантливость молодого Коновалова. И ещё не стоило всерьёз относиться к воспоминаниям поэта Валентина Сорокина о рассказных Коновалова про его якобы встречи со Сталиным. «Это очень любопытно, потому что нигде в Интернете я не нашёл упоминания о том, что Коновалов работал в ЦК партии. Стесняются, что ли, указать работу Коновалова в ЦК его биографы?» Но саратовцы и не такое от выпившего Григория Ивановича слыхивали, например, как отбил невесту у Михаила Андреевича Суслова...

Литературный ландшафт тех лет мне, конечно, хорошо знаком, хотя и в несравнимо меньшем объёме, чем Красухину. Не буду более останавливаться на конкретных фигурах, замечу лишь, что с некоторыми оценками автора «Мрамора и глины», скажем, поздней прозы Валентина Катаева, я не согласен, В целом же Гена так же блажелателен в своем календаре,

как и в общении. Иногда чересчур. Мне не по душе его мнение о малоуважаемом мной критике Валентине Оскоцком, заметку о котором сам же Красухин начинает с убийственного примера. Оскоцкий напечатал в ЛГ рецензию, где было и такое: «– Ну как можно, – спрашивал Оскоцкий, – было приписать Лермонтову такие графоманские строчки:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остаётся жить!»

Никакой перестроечный прогрессизм этого критика не может искупить его абсолютной литературной глухоты.

Ещё позволю себе задержаться на литературном сюжете, который меня, как и Красухина, давно занимает. Он относится к великой поэме Сергея Есенина «Чёрный человек». Много лет ведётся спор вокруг утвердившегося ошибочного напечатания строки «Ей на шее ноЧи маяЧить больше невмоЧь...», когда правиль-

ным утверждается не «ноЧи», а «ноГи»: «на шее ноГи», как было в первой новомирской публикации 1926 года. Красухин рассказывает о своей борьбе за публикации на эту тему В. Вдовина, негодует на тупое упорство комментаторов академического собрания поэта.

В заключение поделюсь своими размышлениями над определением жанра книги Красухина.

Сперва склонялся к излюбленному жанру знаменитого саратовского писателя Арбитмана-Гурского: путеводитель, но у меня уже была статья о дневниках Корнея Чуковского – «Лукавый бедкер».

Затем возникло «Записки хроникера». Моё пристрастие к этому слову давнее, оно возникло из любви к «Бесам», где повествователь всё видит, всё знает, со всеми знаком, но сам в стороне, и всё же определять так моего друга – это чересчур. А поскольку его календарь то и дело оборачивается воспоминаниями, на ум пришла статья Виктора Ерофеева в ЛГ (1990) «Поминки по советской литературе». Вполне подходит книге Геннадия Красухина.

Алексей ГОЛИЦЫН

ПИСЬМО ТОЛСТОМУ КАК МЕТОД САМОУБИЙСТВА

В начале сентября 1941 года в редакцию центральной газеты «Правда» поступило письмо на имя писателя Алексея Толстого.

«Прочел Вашу статью “Лицо гитлеровской армии”¹. Вы возмущены, что Геб<б>ельс Вас оскорбил, как советского писателя. Вы, называя себя советским писателем, приобщаете себя к лику рабочего класса, потому что Советская Власть – классовая власть – власть рабочего класса. А давно-ли Вы поливали помоями и эту власть и рабочий класс, а потом на своем толстом брюхе, как змея вползли в Советский огород, ползая на брюхе, подлизываясь, под дифирамбы престолу – кучке прохвостов засевших в Кремле, добились орденов и премий и разопрев на рабочей крови (т.к. Вы пьете-то рабочую и крестьянскую кровь, как и в старину) начинаете лить помои на культурнейший народ Европы. Только такая стерва, такая сволочь, как Вы – сволочь потерявшая всякую совесть может осмелиться на такие гнусности. Писатель! Пачкун Вы, а не писатель! От Вашей пачкотни история отвернется, как от падали, как сейчас от Вас отворачивается русский народ.

Вы писатель – подняли Вы голос протеста, когда царствующая клика, загнав в ярмо “колхозного счастья” издевается над русским крестьянином, морит его голодом; когда русский рабочий за “<пайку?> сухарей” и будущий социальный рай (кот<орый> вот мы ждем 24 года) да за указы 1940 г., отдает последние силы, прикованный к станку, как раб? Вы – писатель – промышляли, что либо сказали? Нет. Вы зажали свой жирный рот. Вам можно молчать после 100 т. премий. Попробовали бы Вы пожить на 200-300 руб., когда к/г. хлеба стоит 5 руб., да на него Вам 5-6 чел. детей.

Знайте, что русский народ скажет большое спасибо немецкому народу, если с его помощью удастся выкинуть за пределы России кремлевскую сволочь и Вас вместе с ними. Прокомментируйте в “Правде” – отклики В<аших> русских читателей на В<ашу> пачкотню».

В конце текста были указаны инициалы «М. П.», а на конверте отчетливо читался штемпель саратовской почтовой конторы. Содержание письма требовало срочного поиска автора, из НКВД СССР письмо переправили в управление НКВД по Саратовской области. Органы справились с задачей менее чем за пять месяцев. В январе 1942 года личность клеветника была установлена. Еще две недели потребовалось на то, чтобы установить местонахождение преступника.

5 февраля саратовские чекисты направили телеграмму политруку – он же следователь НКВД – в 31-ю запасную стрелковую бригаду, базировавшуюся на станции Суслонгер Марийской АССР. От чекиста требовалось немедленно арестовать командира взвода Константина Частова.

Связист Частов так и не попал на фронт, его отправили спецконвоем в Саратов, где до призыва в армию он работал в Радищевском музее. Художником, экскурсоводом и, как ни странно, политруком. Была в штатном расписании культурного учреждения и такая должность.

К моменту ареста Частову было 27 лет, он закончил художественное училище, участвовал в выставках, отслужил срочную и был женат на учительнице Елене Кузьмич. У них было двое детей, старшему – 5 лет. Что немаловажно, в 1937 году отец Елены Степан Кузьмич был осужден

¹ Правда, №241, 31 августа 1941 г.

по политической статье. Первое военное лето Частов провел, оформляя агитокна в Саратове. Его плакаты выставлялись сначала в Доме книги, а затем и по всему городу.

Злополучное письмо Алексею Толстому Частов написал 4 сентября 1941 года, за три недели до призыва в действующую армию.

5 октября художник написал последнее письмо жене:

«Пятый день как мы прибыли в лагеря. Место хорошее – сосновый лес и озера. Живем в бараках. Место довольно глухое. Очень и очень сожалею что кое-что я не захватил с собой. Поэтому обращаюсь к тебе с убедительной просьбой пришли мне следующее: карандашей разных, конвертов, бумаги, открыток, ну и если можно папирос или махорки».

16 ноября Частов получил последнее письмо от жены:

«Милый Костя! Во-первых сообщаю, что Валечка в больнице заразился корью и умер дома. Умер 13 ноября в 10 ч. 30 м. утра. Союз сов<етских> худож<ников> помогли на похороны дали 150 р. денег. Л.С. Рабин<ович>¹ была все время со мной мне помогала и В.И. Никитин² дал мне в помощь девушек из худ<ожественного> училища. Схоронила 15 числа могилка отдельная на хорошем месте я заметила место, чтоб весной ее восстановить если буду сама жива».

23 января начальник 5-го отделения секретно-политического отдела УНКВД по Саратовской области Петр Дубровский подписал постановление об аресте Константина Частова. Художник обвинялся по статье 58-10, ч. 2 «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти». В военной обстановке Частову грозил расстрел.

Что происходило с арестованным до момента прибытия в Саратов, неизвестно. Доставить Частова к месту следствия, видимо, долгое время не было возможности. На первый допрос он попал лишь 20 мая. Обвинений не признал, добавив, что *«антисоветской деятельности никакой не вел и всегда являлся сторонником Советской власти»*. Частов считал нужным уточнить, что *«в музее им. Радищева я работал не в качестве художника, а в качестве научного сотрудника – зав. политпросветчастью музея»*.

Арестованный упорствовал и после того, как ему было предъявлено письмо Алексею Толстому. *«Я повторяю, что против советской власти преступлений не совершал»*, – записано в протоколе допроса Частова 30 мая.

19 июня эксперты Саратовского юридического института Зицер, Волосевич и Кристаллов признали идентичность почерков письма в «Правду» Толстому и изъятых при обыске описаний картин в Радищевском музее, выполненных рукой Константина Частова. Экспертиза была настолько тщательной, что к делу пытались приобщить карандаш, найденный у жены художника, но затея провалилась. Химический состав карандаша из дома на улице Беговой не полностью совпадал с тем, который был использован для составления клеветнических измышлений. *«Письмо написано или приложенным химическим карандашом, или карандашом того же сорта»*, – заключили два профессора и один доцент химического факультета СГУ.

Частов не сдавался и после результатов экспертизы. *«После ознакомления с материалами исследования почерка, проведенного графологическими экспертами, я опять заявляю, что никаких писем в адрес писателя Толстого я не писал»*, – зафиксировал следователь в присутствии прокурора.

Отметим, что Константин Частов попал в поле зрения чекистов в 1942-м году, когда пытки и прочие «нарушения социалистической законности» уже не практиковались или, по крайней мере, не носили тот массовый характер, который пришелся на пик репрессий в 1937–1938 годах. Так, несколько особо отличившихся работников Саратовского управления НКВД уже были уволены или

¹ Рабинович Любовь Семеновна (1907–2001) – преподаватель Саратовского художественного училища (1937–1943), организатор и художественный руководитель саратовских «Агитокон» (1941–1943), председатель правления саратовского Союза художников (1939–1943).

² Никитин Владимир Иванович – с 1923 г. педагог, с 1928 г. – завуч Саратовского художественного училища.

осуждены за фальсификации протоколов допросов и за «незаконные методы следствия». На допросы Частова (правда, не на все) приглашали прокурора, а на суде даже присутствовал адвокат.

Однако на допросе художника 1-го июля что-то произошло. В протоколе указано время начала и окончания следственных действий: 16:30 и 17:50. То есть в течение почти полутора часов Частов давал какую-то информацию старшему лейтенанту Дубровскому и его помощнику младшему лейтенанту Будникову.

Но в итоговый протокол вошло всего несколько фраз:

«Вопрос: Вами сделано устное заявление с просьбой вызвать Вас к следователю. Скажите, что Вы хотели заявить?»

Ответ: Мною на протяжении всего следствия отрицалось обвинение, выдвинутое против меня. Сейчас я решил откровенно признать свою вину. Автором анонимного письма антисоветского содержания, адресованного в редакцию газеты “Правда” писателю Алексею Толстому, являюсь я.

Вопрос: Расскажите, при каких обстоятельствах вами было написано указанное письмо?»

Ответ: Обстоятельства написания мною анонимного письма в адрес Толстого я постараюсь вспомнить, после чего дам подробные показания».

Частова увели в камеру, но в тот же вечер, в 21:15 снова вызвали на допрос, который длился более трех часов. На этот раз следователям удалось получить не только подробности антисоветского преступления, но и услышать фамилии потенциальных соучастников Частова:

«Да, я признаю себя виновным в написании анонимного письма антисоветского содержания в адрес писателя Алексея Толстого, которое мне ранее предъявлялось следствием. <...>

Написал я анонимное письмо писателю Толстому в первых числах сентября 1941 года, до призыва меня в армию, под влиянием антисоветских настроений, вызванных моим общением с Карановым Александром, работает литработником в г. Саратове и Салтыковым Константином Макаровичем¹, работавшим художником в артели “Художник”. Последние двое в беседах со мною при встречах иногда высказывали свои антисоветские взгляды по отдельным мероприятиям ВКП(б) и советского правительства. <...>

С Карановым и Салтыковым я знаком приблизительно: с первым с 1938 года, со вторым по совместной учебе в Художественном училище. Более или менее близкое общение я с ними стал поддерживать с начала 1941 года, посещал их на квартире и иногда вместе выпивали. На этих выпивках мы вели беседы о <нрзб>, высказывая недовольство материальным положением трудящихся и отдельными мероприятиями Советской Власти. С Салтыковым я имел общение до призыва его в армию в июле или августе 1941 г., с Карановым до сентября 1941 г., до момента призыва меня в армию».

Что-то скрывать и дальше Частову, видимо, уже не имело смысла. Последующие его допросы лишь проясняли картину для следователей:

«Общаясь с Карановым Александром и Салтыковым Константином Макаровичем, я из бесед с ними вывел заключение, что они настроены антисоветски. Еще до начала войны Германии против Советского Союза, я – Частов, Каранов и Салтыков, бывая вместе, в беседах выражали иногда свое отрицательное отношение к проводимым отдельным мероприятиям Советской власти. Эти беседы у нас происходили обычно в квартире Каранова, у которого одно время жил и Салтыков, за выпивкой, а также на улице после выпивки. Привести сейчас темы наших бесед в то время и конкретные факты наших антисоветских высказываний, я за давностью сейчас затрудняюсь, но могу сказать, что обычно они были связаны с тем или иным указом правительства. С началом войны с Германией т.е. с лета 1941 года я с Салтыковым почти перестал встречаться, а с Карановым стал встречаться часто, так как мы с ним работали вместе в “Агитокно”, он в качестве поэта, а я в качестве художника. В первые дни войны в одной из встреч на квартире у Каранова, он в разговоре со

¹ Салтыков Константин Макарович (1914 – после 1951) – художник, работал в саратовском товариществе «Художник».

мною заявил: «Как ни лизали ... Гитлеру, а все же он против Советского Союза выступил, а теперь нашим же хлебом будет нас бить». К сводкам информбюро Каранов относился весьма недоверчиво, говоря, что нет объективности в этих сообщениях. В августе 1941 года мы находились с ним на площадке Водников, где в беседе о положении на фронте, Каранов заявил: "Мы уже много зазнавались, надо было меньше шуметь и кричать, а строить больше самолетов и танков". Примерно в августе 1941 года в квартире Каранова, между нами возник разговор, сводившийся к тому, что если тебя не удовлетворяет место работы, все же уйти нельзя. По этому поводу Каранов сказал: «Рабочих зажали в кулак и пикнуть не дают». <...>

Другие факты антисоветских высказываний со стороны Каранова я вспомнить затрудняюсь, тем более после сентября 1941 года т.е. после мобилизации меня в армию я с Карановым не виделся. <...>

Если я мог с кем-либо делиться по поводу того, что мною изложено в анонимном письме на имя писателя Толстого, то только с Карановым, но действительно ли я с ним делился, об этом я сейчас не помню».

Следствие, повторяюсь, к 1942 году уже имело все формальные признаки законности, к делу была приобщена даже характеристика Частова, написанная директором Радищевского музея И.А. Фоминой¹:

«Частов Константин Дмитриевич 1915 г. рождения работал в Саратовском художественном музее им. А.Н. Радищева с 28/XI 38 г. до 1/VIII 41 г. в качестве экскурсовода и Зав. полит. просвет. частью музея.

За время своей работы в музее Частов К.Д. проявил себя в значительной мере инициативным сотрудником и активным общественником (был членом редколлегии стен. газеты и пред. М.К. <месткома> музея).

Отрицательным моментом в работе Частова являются в то же время его недостаточная активность в деле организации мас<сового> зрителя музея и недостаточная подготовка (культурный уровень) для звания старшего научного работника музея, которое ему было дано».

А следствие своим чередом продолжало работу, раскрывая «преступную группу». 22 июля 1942 г. был арестован один из указанных Частовым товарищей Александр Каранов. Молодой поэт к этому времени числился бухгалтером оперучета совхоза «Сталь» Петровского района Саратовской области. От Каранова остались считанные стихотворения в местной печати. Круг его интересов можно составить из их названий: «На катке», «Песня лыжников», «Конюх». За год до войны Каранов сочинил «Простую песенку»²:

Я осталась одинокой
без дружка.
Редки письма из далекого
полка.

Словно веточка осенним
серым днем,
Сердце стыло в опасении
о нем.

Нес ли службу боевую
хорошо?

¹ Фомина Инна Александровна (1910–2004) – научный сотрудник, с 1939 по 1966 г. работала на различных должностях в Радищевском музее.

² Литературный Саратов: Сб. Саратов. обл. отд-ния Союза сов. Писателей. – Саратов: Саратов. обл. изд., 1940.

Как бы милую другую
не нашел.

Но и осенью нам дарят дни
тепло –
Мне письмо из Красной армии
пришло.

Я взяла, я развернула
письмецо –
Словно веснушка пахнула
мне в лицо.

Что читала – не скажу я
никогда,
Только вещи уложу я
в чемодан,

Чтоб колхоз наш проводил
еще одну
Боевую командировку
жену.

Что вскоре произойдет в семье его друга Константина Частова и «командировой жены» Елены Кузьмич, Каранов, разумеется, предвидеть не мог.

18 июля 1942 г. Каранова арестовали. Вину он признал сразу и на последующих допросах стал называть новые фамилии.

«Моя вина перед Советской властью состоит в том, что я <в> беседах на политические темы в кругу близких знакомых высказывал свое враждебное отношение к Советской власти, допускал антисоветские суждения по отдельным вопросам политики ВКП(б) и Советской власти. Знал об антисоветских высказываниях лиц, с которыми мне приходилось общаться, и не сообщал об этом органам НКВД. <...>

Я к лицам антисоветски настроенным, допускавшим антисоветские суждения, отношу: Долгачева Михаила быв. студента Саратовского педагогического училища с литературного факультета, Частова Константина экскурсовода музея им. Радищева, Салтыкова Константина Макаровича. <...> Я их отношу к числу антисоветски настроенных лиц исходя из того, что они в разное <время?> в беседах со мной на политические темы высказывали антисоветские суждения. <...> Всех фактов контрреволюционных высказываний со стороны вышеперечисленных лиц я <удержать?> в памяти не могу. Но наиболее характерные их высказывания я приведу.

После окончания педучилища я неоднократно встречался с Долгачевым М.¹ В квартире моей в присутствии меня, Будникова Александра² и Салтыкова зимой с <1940 на> 1941 г. (числа и м-ца я не помню) Долгачев высказывая свою враждебность к Советской власти заявил: “У меня отца расстреляли красные и я Советской власти буду мстить за него до конца своей жизни”.

Когда я спросил его, за что расстрелян отец, он ответил, что его отец был с белой армией в период Гражданской войны. После этого разговора в одной <из> бесед Будников А. мне сказал, что

¹ Сведений обнаружить не удалось.

² Будников Александр Гаврилович (1914–1982) – член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств УССР (1968).

отец Долгачева крупный кулак в период Гражданской войны служил в белой армии в чине полковника.

Частов Константин в кабинете Агитокна ТАСС в ноябре м-це 1941 г. числа точно не помню в присутствии меня, Заборовского Франца¹ клеветнически отзывался о сообщениях Советского Информбюро, заявляя, что сводкам Информбюро о положении на фронте и потерях Красной Армии верить нельзя. Истинное положение на фронте и о потерях Красной Армии можно узнать только из заграничной прессы и из тех цифр Германского Информбюро о потерях Красной Армии, которые опровергаются Советским Информбюро».

Также в Агитокне ТАСС Частов К. в разговоре по поводу получения им повестки о призыве в Красную Армию сказал: "Вот получил повестку о явке в военкомат. Командный состав немцы перебили. Стали наши добираться до интендантников". Этот разговор имел место в присутствии меня и Заборовского <зимой?> 1941 г.

В беседах со мной на литературные темы и о Советских писателях Частов К. во время одной из выпивок в сентябре м-це 1941 г. (где я сейчас не помню) выражал свое отрицательное отношение к А. Толстому как к Советскому писателю. Смысл его высказываний сводился к тому в отношении А. Толстого, что он подмалзлся к Советской власти, пишет по заказу произведения, за которые он хорошо получает. Помню его такое дословное выражение: "А. Толстой заработал хлеб своим "Хлебом" и больше ничего" и далее Частов стал говорить, что произведение А. Толстого "Хлеб" стоит на низком идейном уровне, это не художественное произведение, а сборник речей, приказов и инструкций».

В отношении Салтыкова я могу только вспомнить то, что он высказывал недовольство условиями жизни при советской власти, брюзжал часто на <нрзб>, но конкретных высказываний с его стороны не помню. <...>

Частов К. и Салтыков, как мне известно, <оба в> 1941 г. были мобилизованы в Красную армию, где они находятся в настоящее время, не знаю. <...>

Я антисоветские высказывания Частова К. <нрзб> и сам допускал аналогичные антисоветские суждения. У себя на квартире в беседе с Частовым летом 1941 г. <в разговоре?> о военных действиях между Германией и Советским Союзом <нрзб>, что наши сообщения с фронтов войны необъективны?>. Сообщения Советского информбюро не отражают действительного положения дел на фронте. Короче говоря, я также высказывал недоверие к Советской информации.

Второй раз в беседе с Частовым Константином о Советской литературе и Советских писателях (где сейчас не помню беседа происходила) я заявлял: Советская действительность ставит писателей и поэтов в ограниченные рамки, писать приходится то, что отвечает запросам дня, что является тормозом к полному развитию и расцвету таланта.

Осенью 1941 года я в отношении положения дел на фронтах с кем-то из своих товарищей вел беседу. В этой беседе заявил: нам на протяжении ряда лет внушали мысль о непобедимости Красной Армии, о мощи Советского Союза много шумели, а несколько м-цев войны с Германией показали, что Советскому правительству меньше надо было заниматься шумихой о своей мощи и непобедимости и больше готовиться к войне. Других фактов антисоветских высказываний я со своей стороны больше не помню. <...>

Кроме других, о которых я уже рассказывал, я могу показать как о лице, враждебно относящимся к Советской власти, это о Ленском Ефиме Сергеевиче (Евгении)². Какой-либо дружбы или близкого знакомства я с ним не поддерживал, а встречался в Союзе писателей иногда, куда он изредка приходил, и я там бывал.

¹ Заборовский Франц Эдуардович (1915–1987) – член Союза художников СССР. О нем см.: Алексей Голицын. История репрессий: Художник Заборовский и откушенное ухо донощика (<https://fn-volga.ru/news/view/id/104439>).

² Ленский Ефим Сергеевич (1900 – после 1960) – писатель. О нем см.: Алексей Голицын. История репрессий. Террорист Ленский и стакан крови Сталина // ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» (<https://fn-volga.ru/news/view/id/104613>).

О том, что он настроен антисоветски, я вывел заключение из отдельных его высказываний в среде писателей.

Зимой 1940 года однажды в присутствии меня, Земного, Дальнего, Прозоровского¹ и других писателей, Ленский заявил, что "сейчас в условиях нашего времени в нашей литературе не может появиться второй Шедрин, такого подлинного сатирика, потому что критика может повлечь за собою репрессии". Здесь же он вообще распространялся, что сейчас "непригодное время для критики. Нет сейчас никакой критики".

В ночь с 29 на 30 июля 1942 г. между Частовым и Карановым устроили очную ставку.

Частов топил Каранова:

«Как я уже показал ранее, общаясь с Карановым и Салтыковым, мы при встречах вели иногда антисоветские суждения. Мне памятли следующие факты антисоветских высказываний со стороны Каранова: в первые дни войны в одной из встреч на квартире у Каранова, он в разговоре со мною по поводу сложившейся военной обстановки заявил: "Как ни лизали Гитлеру, а все же он против Советского Союза выступил, и теперь нашим же хлебом будет нас бить".

Примерно в августе месяце я находился на квартире у Каранова, где он стал говорить по поводу своего намерения поступить на работу не по своей специальности. В связи с этим он свел разговор к тому, что если тебя и не удовлетворяет работа, все же уйти с работы нельзя. По этому поводу Каранов сказал: "Рабочих зажали в кулак и пикнуть не дают".

В тот же период времени в одной из бесед на площадке водников, Каранов заявил: "Мы уже много зазнались, надо было меньше шуметь и кричать, а строить больше танков и самолетов, чего в действительности оказалось у нас теперь мало".

К сводкам информбюро Каранов относился весьма недоверчиво, говоря, что нет объективности в сообщениях.

Должен заявить следствию, что все наши с Карановым обоюдные суждения на антисоветские темы частично имели влияние такое, что привело к написанию мною анонимного письма антисоветского содержания в адрес писателя Алексея Толстого».

Каранов топил Частова:

«Антисоветские суждения между мною, Частовым и Салтыковым как я уже показал были взаимными. Из отдельных фактов антисоветских высказываний со стороны Частова я могу привести следующие:

Во время работы в агитокне, осенью 1941 года Частов, придя на работу, в присутствии меня и ряда других лиц сказал, что он получил повестку о явке в военкомат, что много командного состава немцы уничтожили и теперь у нас стали добираться до интендантов, каким он, Частов является.

Также, как и я, Частов с недоверием относился к сообщениям информбюро. Так в сентябре м-це 1941 г. в помещении агитокна, Частов в клеветнической форме отзывался о сообщениях Совинформбюро, заявив, что сводкам Совинформбюро о положении на фронте верить нельзя. Истинное положение на фронте можно только узнать из опровержений (помещений) помещенных в нашей печати по поводу заграничных сообщений. В беседе на литературные темы Частов во время одной из встреч со мною в сентябре 1941 г. выражал отрицательное отношение к писателю Толстому. По смыслу его разговор сводился к тому, что Толстой подмазался к советской власти. Его, Частова было такое выражение: "Толстой А. заработал на хлеб своим "Хлебом". Он, по его словам, считает, что произведение Толстого "Хлеб" написано на низком уровне, что оно не художественное произведение, а является сборником речей, приказов и тому подобное».

Все сказанное художником Частовым и поэтом Карановым позволило чекистам 1 августа составить обвинительное заключение. Обоим вменялась статья 58 п. 10 ч. II УК РСФСР.

¹ Прозоровский Лев Владимирович (1914–1988) – писатель, фронтовой журналист. Вадим Земной (Иван Павлович Глухота) (1902–1980?) – писатель. Степан Дальний (Дмитрий Александрович Самсонов, 1895 – ?) – писатель, журналист. Был арестован во время войны за антисоветскую агитацию и умер в заключении.

«Произведенным расследованием установлено, что обвиняемые ЧАСТОВ и КАРАНОВ будучи антисоветски настроенными среди своего окружения занимались антисоветской агитацией.

В августе 1941 года ЧАСТОВ и КАРАНОВ высказывали недоверие сообщениям советского информбюро, считая, что оно не объективно отражает положение на фронте. <...>

Тогда же КАРАНОВ в беседе по поводу Указа Правительства о дисциплине высказывал клевету в отношении положения рабочих в Советском Союзе. <...>

В первые же дни войны Германии против Советского Союза КАРАНОВ в связи с военными событиями в клеветнической форме отзывался по поводу существовавшего до войны договора между СССР и Германией, допуская в связи с этим оскорбительные выражения по адресу советского правительства. <...>

В сентябре 1941 года ЧАСТОВ в беседе с КАРАНОВЫМ о советском писателе ТОЛСТОМ А. выражал свое отрицательное отношение к нему, считая, что ТОЛСТОЙ подмазался к советской власти. <...>

В это же время ЧАСТОВ написал и направил по почте анонимное письмо в адрес редакции газеты "Правда" писателю А. Толстому, в котором в резкой антисоветской форме выражал злобу и клеветал на руководителей ВКП(б) и Советского правительства, опошлял жизненные условия трудящихся и наряду с этим восхвалял фашистскую Германию, выражая желание прихода в СССР немецкой армии».

Из приведенного документа следует, что «отрицательное отношение» к писателю саратовские чекисты тоже считали уголовным преступлением.

26 сентября 1942 г. прошло закрытое заседание Саратовского областного суда. Пресловутые тройки канули в прошлое, это был полноценный судебный процесс с участием сторон и соблюдением формальностей. Учитывая военное время, правосудие вершили женщины: председательствующая Трибунская, народные заседатели Виноградова и Варенова, адвокат Иванова и секретарь Петрова. За исключением конвоиров и подсудимых, единственным мужчиной на процессе был прокурор Осипов.

Частов виновным себя признал и пояснил: «В силу материальных затруднений у меня иногда проявлялось брюзжание на существующий порядок. <...> В силу материального затруднения в 1941 г. у меня произошла нездоровая реакция; под влиянием нетрезвого состояния, прочитав статью А. Толстого в газете я написал анонимное письмо писателю Алексею Толстому, в котором я отразил в резко <онтр>революционной форме свое отношение к Советскому правительству. Письмо не отражает моих истинных взглядов и отношений к Советскому правительству и существующему строю, т.к. оно было написано под влиянием нетрезвого состояния и потому первое время на допросах предварительного следствия я отрицал, что являюсь его автором, но увидев свой почерк я вынужден был его признать. <...> Каранов мне говорил, что указы Правительства советскому человеку не дают возможности переходить с одной работы на другую, когда захочешь. Наши разговоры происходили всегда вдвоем. Теперь я понял, что совершил преступление. Письмо я написал один и никому о нем не говорил».

Каранов также признал себя виновным: «Я в разговоре с Частовым допускал высказывания анти-советского содержания, так например об указе о трудовой дисциплине я сказал, что он стесняет человека, т.к. не дает возможности уходить с работы, когда захочешь. О вооружении Красной Армии я говорил, что вооружались мы недостаточно. <...> Я не говорил, что рабочим в СССР живется плохо. Отец и мать мои живут в Петровске. О договоре СССР с Германией я говорил, что зря в таком количестве посылали хлеб в Германию, т.к. она его использовала для подготовки к войне с нами же. Всем своим разговорам я не хотел придавать анти-советского смысла. Велась они в присутствии одного Частова. Это были случайные высказывания, всех их я не помню, но данные показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю».

Прокурор Осипов запросил Частову – 10 лет и Каранову – 7 лет, с последующим поражением в правах каждому на 3 года. Адвокат Иванова ссылаясь на то, что «разговоры и письмо

были результатом минутных вспышек, которые приводили к нездоровым разговорам». Защитница указывала на работу подсудимых до ареста, а также на «правильное» происхождение и просила направить их в РККА. И Каранов, и Частов также просили отправить их на фронт.

Отметим, что с точки зрения власти оба подсудимых имели бесспорные заслуги перед Родиной: «В организации «агит-окна» активное участие приняли председатель союза художников тов. Рабинович, молодые художники Заборовский, Елькович, Бобров и поэт Прозоровский. В дальнейшем в коллектив влились художники Можаяев, Частов, поэты Юрин, Каранов. <...> «Война – это я», – изрек как-то Гитлер. Под таким заголовком на рисунке художника Заборовского изображен чудовищный выродок с тусклым взглядом безумца, фигурой дегенерата и кровавыми лапами убийцы, стоящий по колено в море человеческой крови. Невольно напрашивается вывод, что нельзя быть спокойным, пока это чудовище существует на свете.

На рисунке художника Частова изображено последнее «достижение» прогнившей фашистской «науки», последнее «откровение» смрадной фашистской мысли – «брачный пункт». Рисунок Частова очень убедительно вскрывает это неслыханное глумление над достоинством женщины и человека, над естественным правом человека на любовь и семью, показывает всю глубину идейного разложения и дикости германского фашизма, который даже в отношении собственного народа совершает такую гнусность»¹. – писал заведомо пропаганды и агитации Саратовского горкома ВКП(б).

Однако суд посчитал, что художник и поэт своими разговорами «проводили контрреволюционную агитацию, направленную на подрыв мощи Советского Союза и на разложение Советского тыла». Требования прокурора судом были удовлетворены. Каранову дали 7 лет лишения свободы, Частову – 10 лет, однако срок поражения в правах последнему увеличили до пяти лет.

Ходатайства о направлении подсудимых в действующую армию удовлетворены не были, документы о дальнейших перемещениях заключенных в деле отсутствуют. Удалось ли им полностью отбыть срок или они погибли в заключении – неизвестно.

Журналиста и писателя Ефима Ленского, о котором сообщил следователям Каранов, арестовали 26 августа 1942 г. Его обвинили в том, что он проводил «зловонную антисоветскую агитацию», распространял «антисоветские клеветнические измышления», пропагандировал «идею создания русской национальной партии» и говорил о необходимости «насильственного устранения от власти руководства ВКП(б)». Ленский тоже просился на фронт, но его приговорили к расстрелу, однако затем учли, что на фронте находился его сын, и в результате Ленскому дали 10 лет. Он отсидел срок полностью, дважды подавал заявления о реабилитации, но был реабилитирован только в 1960 году.

Александр Каранов и Константин Частов были реабилитированы 3 сентября 1992 года. Их родственники не нашли, отправлять справки о реабилитации было некому, и бумаги подшили к делу. Дата реабилитации косвенно свидетельствует о том, что осужденных не было в живых еще в 1950-х годах.

От Александра Каранова осталось несколько стихотворений в саратовской периодике. Ни одно произведение Константина Частова, за исключением десятка антифашистских плакатов, не сохранилось.

В качестве курьеза отметим, что традиция отправлять нетрезвые обличительные письма в Москву в среде саратовских художников сохранилась. Так, в 1950 году Иван Щеглов написал открытку в адрес «Детгиза», издавшего книгу Тургенева «Муму». Художник утверждал, что «у нас свирепствует диктатура Сталина. У нас не писатели, а холуи». За это 70-летнего Щеглова приговорили к 10 годам лагерей, но ему удалось выжить и выйти на свободу после смерти Сталина².

¹ В. Кондратьев. «Агит-окно» // Коммунист, 21 сентября 1941 г.

² См.: Алексей Голицын. История ареста художника Ивана Щеглова // Волга. 2018. №7 (<https://magazines.gorky.media/volga/2018/7/istoriya-aresta-hudozhnika-ivana-shheglova.html>).

К счастью, по неизвестным причинам уголовного преследования избежал художник Константин Салтыков, который, по словам Частова и Каранова, также «имел антисоветские настроения». Его призвали в армию в сентябре 1941 г., одновременно с Частовым. А с 15 декабря он уже участвовал в боях в должности командира топографического взвода.

На риторические вопросы о соразмерности вины и наказания «антисоветчиков», о допустимости их отправки на фронт красноречивее всего отвечает рапорт о награждении Константина Салтыкова в июле 1944 года:

«В боях с прорвавшей Бобруйской группировкой старший лейтенант Салтыков находился на наблюдательном посту, где организовал окружающих бойцов и принял бой с большими группами немецкой пехоты, наседающей со всех сторон. Выйдя с полуокружения просочившейся немецкой пехоты, т. Салтыков с группой бойцов занял оборону на промежуточном рубеже, где опять принял бой. В этом неравном бою ст. л-нт Салтыков тяжело ранен и был вынесен с поля боя.

В боях с просочившейся немецкой пехотой ст. л-нт Салтыков уничтожил до 10 немецких солдат.

За проявленное мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками достоин правительственной награды ордена “Красной Звезды”».

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 14 апреля 2020 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.